МОСТЫ

5

1960

BRÜCKEN

Hefte für Literatur, Kunst und Politik

Verlag ZOPE, München

BRIDGES

Literary-artistic and social-political almanach

ZOPE Publishing House, Munich

PRINTED IN GERMANY. GEORG BUTOW, MÜNCHEN 5, KOHLSTRASSE 3 b, TELEFON 29 51 36.

МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

5

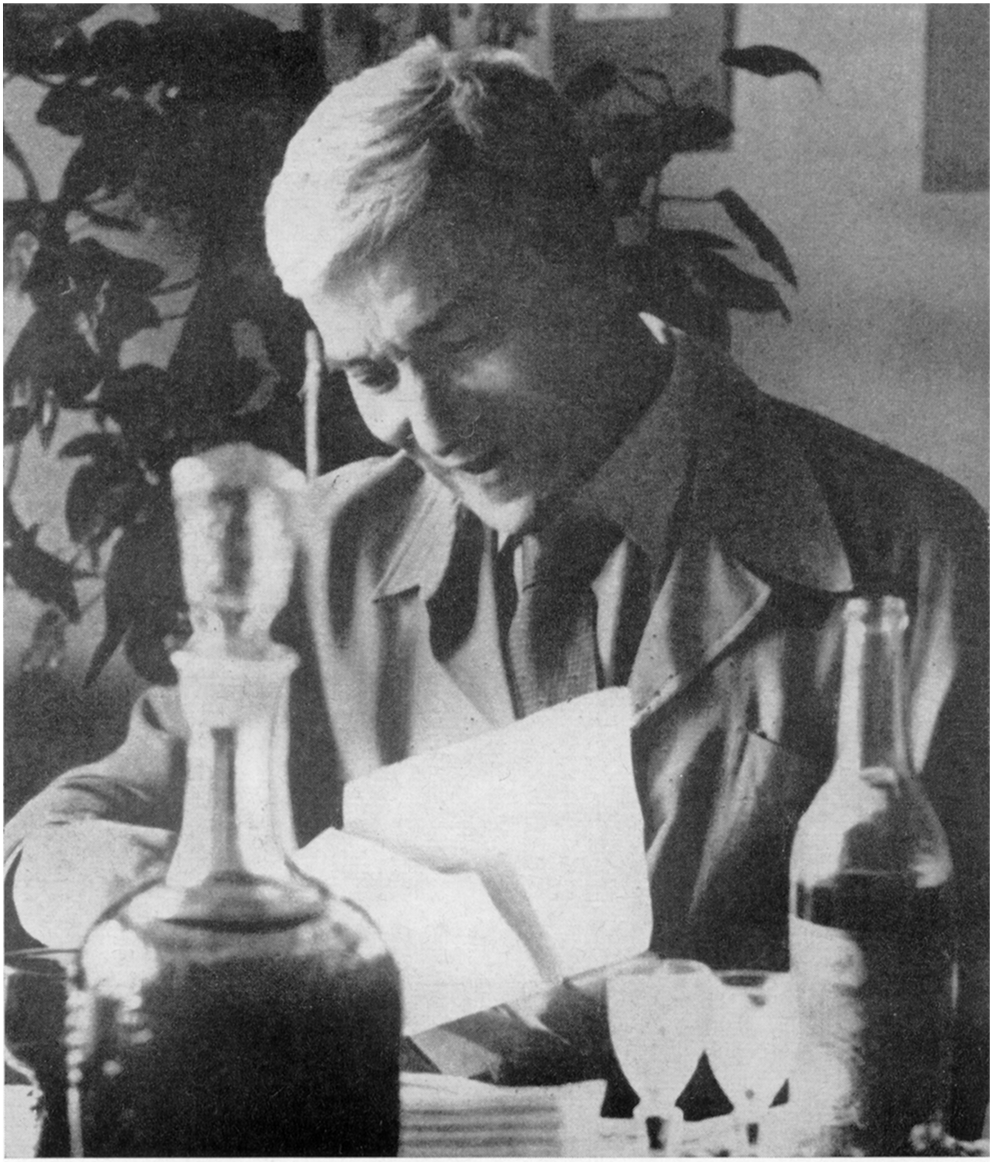
1960

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

† Б. Л. ПАСТЕРНАК

1890—1960

ПОРТРЕТ РАБОТЫ Ю. П. АННЕНКОВА, 1921 ГОД



ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ СНИМКОВ

ВЫНОС ГРОБА

ПОХОРОННОЕ ШЕСТВИЕ

БОРИС ЗАЙЦЕВ

УХОД ПАСТЕРНАКА

В конце 1959 года Пастернак задумал писать пьесу. «Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным занятием или делом страсти». В февральском (60-го г.) последнем письме он пишет об этом новом своем замысле: «Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки».

Работа наверно и закипела, а судьба вела свою линию. Не знаю, успел ли он написать эту пьесу, но жизнь катилась к концу с той же стремительностью, с какой летят строки его писем, с какой всегда летела его душа. Есть жизни медленные, спокойно развивающиеся, есть катастрофические. К Пастернаку не шла никакая медленность и плавность. Весь он был полет и стремление, и изменение, и молодость. Ахматова давно и правильно о нем сказала, что он до конца пребудет юным. Да, он и остался, несмотря на возраст.

Я в Москве мало его знал. Однажды, в 22 году, он принес мне отрывок своей прозы. Мне его проза понравилась и тогда (и сам он понравился): написано было крепко, мужественно, никаких вычурностей, но вполне своеобразно, крупнозернисто и ни на кого не похоже. Это тем более странно, что в те времена, по пылкости своего характера и влечению к «новому», он увлекался даже футуризмом и дружил еще с Маяковским.

Потом надолго я потерял его из вида. Настоящая встреча — заочно — произошла только теперь, в эпоху «Доктора Живаго». Тут обнаружилось: не только бурность, но и глубина оказалась в нем. Долгий, скрытый, тайный внутренний путь проделал он за годы революции. «Царство Божие внутрь вас есть», и произрастает, как зерно горчичное. Будто бы незаметно, а меняет. Этот Пастернак был уже другой. Этому Маяковский уж никак не подходил. Со свойственной ему страстностью он даже ужаснулся — его ранние метания показались ему теперь чуть не преступными. «Я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». «Грех» у бывшего приятеля Маяковского! Но вот оказывается — чуть не самобичевание (какой возврат к золотому веку русской литературы!).

Теперь не мир крикунов, а Христов мир приоткрылся ему. Чтобы написать «Доктора Живаго», надо было много пережить и перестрадать. То, что накоплялось в душе, излилось в этом замечательном произведении, романе поэта, а не объективного романиста, бытописателя эпохи. Пастернак неизменно присутствует в нем лично, иногда заставляет героев своих говорить явно по-пастернаковски, но сам он настолько крупен, горяч, заразителен, что покоряет вполне (я вторично прочел весь роман вслух — он выдерживает, не тускнеет и не умаляется).

Не думаю, чтобы мировой успех романа зависел только от политики. Даже сквозь переводы нечто дошло до иностранной интеллигенции, покорило, а потом уже повело за собой массу (восторженные статьи, радио, и т. п.).

Сам Пастернак назвал в письме ко мне год Нобелевской премии «баснословным». Это и было так, конечно. И отвечало доброму вулканизму его натуры. Ему суждено было в жизни лететь, и он летел, со всем своим творчеством, планами, надеждами. Были, конечно, надежды сказать что-то в иной форме — пьесы, драмы. И казались надежды эти вполне осуществимыми. Его видели этой зимой в Переделкине, передавали, что он был бодр, очень оживлен, всем интересовался, произвел самое лучшее впечатление. («Только в движениях его была некоторая осторожность, точно он боялся за свое сердце»). А в общем очень, очень подходил к пейзажу русскому: лес, белочка, прыгавшая по соснам, стряхивая снег, простор.

И вот оказалось все столь быстролетным. Как бы «расплата» за гром мировой славы в этот «баснословный» год. «Расплата»... — но он ничем не провинился, напротив, вознес русскую литературу, имя русского писателя.

Не нам понять тайны судеб, но к полету Пастернака все же идет и уход внезапный, в самом расцвете.

Лицо его в гробу прекрасно. Да и весь путь открытого гроба из дому, на руках близких, мимо родных русских лесов, в сопровождении толпы молодых, простых русских лиц, и русский мостик деревянный над ручьем — по нему медленно движется процессия — все это превосходно и трогательно. Все говорит о глубокой связи с родной землей, родным народом.

Уход Пастернака горестен. Еще одиноче становится. Но и еще ясней, что не все укладывается в повседневную трехмерность. Есть нечто, выводящее в вечность и в высший мир света. Быть может, смерть, особенно такого, как вот он, особенно приоткрывает окно: само лицо Пастернака в гробу говорит о нетленном, вечном.

Б. ПАСТЕРНАК

РАССВЕТ

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

ПОЭЗИЯ
ПРОЗА

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* *
*

Стала жизнь, что сон перед рассветом,
Этот чуткий, этот хрупкий сон.
Спишь еще, но знаешь: мягким светом
Занялся далекий небосклон.

И тяжелых век не подымая
Чувствуешь: он в комнату вошел,
По предметам, их не задевая,
Расстелил свой сероватый шелк.

Подождать — и неизбывным светом
Озарится узкая кровать,
И досадно только, что об этом
Не успею никому сказать.

Вот за дверью кто-то шевельнулся...
Постучат, откроют и войдут...
Но того, что я уже проснулся,
По глазам закрытым не поймут.

1960

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* *
*

На Каменноостровском — тишина
И бледность белой петербургской ночи.
Уже как будто в воздухе весна,
Но щедрой стать она еще не хочет.

Лишь изредка, чем ближе тем звончей,
Сухих торцов проснется говор ломкий,
Когда на франтоватом лихаче
Промчится Блок с влюбленной незнакомкой.

Да тротуар уснувший оживет
Под торопливым шагом пешехода.
И снова — тишина. И снова — год
Из тех, что до семнадцатого года.

Зачем я вот не этот пешеход,
Не кучер, что везет на Стрелку Блока,
Не дворник, задремавший у ворот,
Не проститутка, что домой бредет —
Вернулось бы лишь то, что так далеко!

Тот Петербург, куда возврата нет,
Где в мае ночь бледнее, чем Татьяна,
Где Гумилева затерялся след,
Где пушкинский упавший пистолет
Еще не поднят для ответной раны.

1960

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* *
*

Не потому, что мне когда-то
О нем рассказывала мать,
Не потому, что Фра Беато
Меня учил ему внимать,

Не потому! — а просто где-то,
В той изначальной тишине,
На грани вспыхнувшего света
Он сам приблизился ко мне.

С тех пор прошли земные сроки,
Которых не произнести.
Я иссушил свои истоки
И расточил свои пути.

И только ты, воспоминанье
О той дожизненной стране
Вернее веры, ярче знанья
Меня ведешь и светишь мне!

Я помню, помню! Этим словом
Все решено в моей судьбе!
Мой ангел, спутник мой суровый,
На всех путях, под всяким кровом
Я буду помнить о тебе!

1960

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* * *

Я умер. И часы мои
С руки похолодевшей сняли.
Они еще идут. Они
Еще дышать не перестали.

Они заканчивают бег
Так дружно связанный со мною.
А завтра кто-то их себе
Возьмет, связав с судьбой иною.

И вот не знаю почему,
Но померещилось мне будто
Они не захотят ему,
Как мне, одалживать минуты.

Они соскучатся по мне,
По вены близкому биенью,
Что, строчкою окаменев,
Становится стихотвореньем.

По тесной дружбе тех ночей,
Когда они со мной не спали,
С цезурой спорили моей
И мой анапест обгоняли.

И вот, чтоб как-то избежать
Непрошенного новоселья,
Они начнут спешить, бежать,
На день опережать неделю;

Соскальзывать с чужой руки,
В обивке прятаться диванной,
С собою наконец с тоски
Покончат, захлебнувшись в ванной.

И будет их в руках вертеть
С досадой часовщик сердитый...
Но никому не разглядеть,
Какая тайна в них сокрыта!

1960

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* * *

Как в море камешек простой
И свеж, и чист, и ярок!
Но ты несешь его домой —
И блекнет твой подарок.

И ты ему уже не рад,
И отшвырнул... — Послушай:
Ну он-то разве виноват,
Что ты живешь на суше!

1960

Д. КЛЕНОВСКИЙ

* * *

Перерастем ли мы когда-нибудь
Свои тела? Сумеем ли без тела
Поцеловать, заплакать, протянуть
Друг другу руку (хоть и неумело . . .)?

Конечно это все прийти должно,
Но сколько ждать? Но сколько возвращаться
На землю, чтоб узнать всегда одно:
Что и на этот раз с ней не расстаться.

О, долгое цветенье бытия,
Его ненаступающая осень!
Тысячелетья мне нужны, чтоб я
Свой лишний лист и опознал и сбросил.

И миллионы лет, чтоб отмерла
Моих ветвей — моих касаний — жесткость
И чтобы плоти — моего ствола —
Истлела неуклюжая громоздкость.

Скорей бы от меня остался мне
Лишь смутный абрис, что бледнеет!
Взгляни на тень платана на стене!
В ней все легко! Как хорошо быть ею!

1960

ЮРИЙ БОЛЬШУХИН

МАЙОР ИВАНОВ

ИЗ РОМАНА

1. ПОСЛЕ МАНЕВРОВ

Полковник Дымба-Закоржельский, выйдя с другими из огромного дощато-фанерного помещения, временного зала для собраний, построенного на скорую руку, остановился, стал в сторонку и принялся искать глазами майора Иванова. Полковнику, с высоты его роста и при его дальнозоркости, легко удалось заметить в толпе выходивших офицеров — искомого. Майор торопился, вежливо и ловко пробираясь из общего потока к боковой дорожке, ведущей сквозь квартал соснового массива к лагерю третьего полка Синих.

По другую сторону дощатого корпуса, вмещавшего, кроме зала для собраний, две офицерских столовых и клубный уголок, уже слышались шумы отходивших автомобилей — уезжало высокое начальство, присутствовавшее на разборе маневров. Полковнику было жаль, что он отсутствует при отбытии начальствующих лиц — он никогда не упускал случая показаться и лишний раз напомнить о себе. Но нужно было переговорить с Ивановым, и полковник, высокий, стройный и легко двигающийся пятидесятилетний молодец, неспешно пересек лесную лужайку и, хрустя по утрамбованной, чуть размытой недавно прошедшим дождем мелкой гальке, догнал Иванова. Тот, услыхав за собой шаги, оглянулся и подождал.

— Сидорыч, здравствуйте, — сказал полковник, — вы торопитесь, я вижу.

— Ничего, надо присмотреть, как люди устраиваются.

— Я не задержу, в двух словах. Стойте, давайте закурим. А воздух!

Полковник закрыл глаза, поднял голову и несколько раз нюхнул воздух.

— Воздух стоющий, — сказал Иванов, — я его и не замечал, пока вы не сказали.

Он снял фуражку, под фуражкой оказались желто-рыжие редкие волосы и начинающаяся плешь. Потом, по примеру полковника, вдохнул воздух, полный смолистой свежести, и нечаянно позевнул, поспешив прикрыть ладонью рот, где блестели среди крепких квадратных зубов один золотой и два нержавеющей стали.

— Простите, устал.

— Да уж! Вам сейчас бы залечь часов на шестнадцать, вместо того, чтоб хлопотать. Ну вот, слушайте, что скажу, а потом отправляйтесь почивать. Завтра в шестнадцать... да, ровно в шестнадцать приходите ко мне и поедем в город. Командующий приглашает вас — лично вас — к себе на чашку чая.

— Слушаюсь.

— Говорить никому не надо , а то станут завидовать. Понимаете?

— Нет, не понимаю.

— Ох-х... Беда мне с вами, Сидорыч, истинная беда. Еще одно: командующий приглашает вас в совершенно частном порядке, как частный человек, в частный дом. Пожалуйста не вздумайте тянуться.

— Ох!..

Иванов козырнул полковнику и пошел по дорожке в глубь леса. Начинало вечереть. Еще между колоннадой высоких, не близко одна от другой стоявших сосен просматривалось светлое веселое голубое небо. Но уже с запада, где плотной полуподковой лежала густая, зелено-синяя, местами белая паутинная глушь еловых кварталов, шло пламенеющее медное сияние заката. Оно проникало сквозь чащу только отдельными змейками, ручейками и острыми лучиками жидкого багреца. К сплошному могучему запаху бора, которым всклень было налито все его пространство, вдруг присоединилась острая и нежная струя любки — «ночной красавицы».

Дымба-Закоржельский и Иванов были давние товарищи по ученью и по службе; люди очень разные, соединяемые только обстановкой, но друг к другу относящиеся благожелательно и просто. Полковник, знающий, способный и храбрый офицер, заботился о своей карьере. Майор к карьере был вполне равнодушен и, собственно, вплоть до нынешних, только что окончившихся маневров, совершенно не выделялся среди сослуживцев. Были у него, как и у полковника, боевые ордена, честно заслуженные. Но во время маневров обнаружилось, что майор Иванов обладает исключительным полководческим талантом, и более того: дерзанием применить этот талант, властно пренебрегая риском, чтобы найти кратчайший путь от неминуемого поражения к блистательной победе.

Положение Синих было безнадежным. В этом огромном районе, изобилующем лесами, озерами, болотами, но и плоскими, то возвышенными и сухими, то низинными луговыми пространствами, армия

Синих изображала ударную группу вторженцев, чьим заданием было — опрокинув пограничные заслоны Красных, хозяев территории, проникнуть в глубь страны на две сотни километров и удержаться здесь не менее двух суток. Предполагалось, что к моменту начала наземных операций уже произошел обмен рядом сокрушительных термоядерных ударов по жизненным центрам и глубоким тылам воюющих сторон.

Закрепившись на местности, Синие должны были, не ожидая подкреплений (им неоткуда было взяться), сковывать значительные силы Красных. Тем временем, на исходе первых суток, должна была осуществиться грандиозная воздушнодесантная операция у самой столицы. В принятом за тему маневров варианте «блицкрига» отсутствовало то, что называется линией фронта; фронт был повсеместно в пределах громадного географического района, а за его пределами, в других районах, предполагалось наличие таких же районных «фронтов»-очагов, в которых пылала жестокая битва, невиданное доселе сочетание методов технически-материальной войны с усовершенствованной партизанщиной.

В ходе маневроз оказалось, что вторгнувшаяся группа, натолкнувшись с первых же шагов на убийственный отпор, действительно была смята, оттиснута в вековые топи и здесь подвергалась систематическому уничтожению с воздуха и с земли... до той однако поры, когда батальон вторженцев под командой майора Иванова, просочившись через сжимающее кольцо Красных, произвел молниеносный рейд, появился там, где его невозможно было ожидать, обрушился сконцентрированной техникой на слабую в этом месте позицию Красных и в совершенстве спутал все расчеты их командования. Ситуация изменилась. Синие сделали перегруппировку, и в то время, как артиллерия Красных вовсю громила своих же, предполагая по данным разведки, что в этом месте находится недобитая группа Синих, Синие стали господами положения. А так как и воздушный десант Синих был проведен точно, как разыгран по нотам, столица очутилась под ударом, маловероятный вариант явно удавался, и маршал, настаивавший на реальной возможности этого варианта, радовался своему искусству военного предвидения. Ему возражали, указывая, что удача обусловлена исключительно тем, что у Синих в критический момент нашелся гениальный офицер, то есть произошла чистая случайность.

— Случайность в кавычках, — отвечал маршал. — Она сродни суворовской удаче, тоже в кавычках. Хэ! Случайность. Военная наука обязана предусматривать случайности, а не то, что — «ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт»! Расскажите своей бабушке! Ближе к жизни надо стоять, дорогие товарищи. А этого гения позовите на чашку этого самого, как его, чаю! Будем посмотреть.

*

В батальоне все было в порядке. Майор прошел по расположению батальона, перекинулся словом-другим с солдатами — это получалось у него просто, естественно и без тени наигранного суворовства — и пошел принять душ. Душевая помещалась в брезентовой загороже; лагерь был импровизированный, со вчерашнего дня. Недавно здесь начали строить комбинат искусственного волокна, а по другим сведениям — урано-обогатительную фабрику. Внезапно работы были свернуты и Энская дивизия, изображавшая во время маневров одну из дивизий Синих, получила приказ не возвращаться в свой постоянный летний лагерь, а обосноваться на новом месте.

Майор стоял под такими горячими струями, что вытерпеть никому другому невозможно — был приверженцем японской гигиены. Два года провел он на Курильских островах, участвовал в корейской войне, командуя «добровольцами». Горячая вода смывала вместе с потом и пылью усталость и лишние, ненужные мысли, застоявшиеся в мозговых закоулках. Тело майора было совершенно белое, как белая бумага, без того неопределенного оттенка, который свойствен больным и слабым — совершенно здоровое бело-тело северянина. Майор очень явственно ощущал свою плоть. В правой ноге, в голени, сидел неизгоняемый ревматизм — в ненастье ногу мучительно ломило, но сейчас был сухой длительный зной — славно! Из левого бока в войну вырвало изрядный клок мяса; вырезана часть ребра. У основания шеи след пулевого ранения, прочно, но безобразно заросшего; аккуратный рубец от шва на животе, похожий на рубец после операции аппендицита. Но то был не аппендицит, а осколок, удаленный полевым хирургом вместе с метром тонких кишок. Добавить отсутствие указательного пальца на левой руке и ограниченную подвижность прочих пальцев, да мелкие желтоватые рябинки на лице и обеих кистях — отмета, оставшаяся после того, как воздушная волна контузила майора и втиснула в его кожу множество песчинок — вот и весь счет телесных повреждений. Не так мало, не так много.

Растираясь коротеньким, не впитывающим влагу полотенцем и радостно ощущая освеженной кожей вкрадчивые струйки ветерка, Петр Сидорович зажмурился и, сладко улыбнувшись, замотал головой. Ему представилось, как он лежит на рядне на убогонькой дощатой терраске, увитой диким виноградом, и бездумно следит за игрой света и тени, трепещущей везде — в серых балясинах, на сверкающей под полуденным солнцем сушащейся простыне, в серебряной ряби ледяной воды, наполняющей огромный — одному еле поднять — эмалированный таз. А Ольга, по-козьи вытаращив вишнево-карие глаза, угрожающе наставив гладкий смуглый лоб с тонкими, как нарисованными, дужками бровей, вытянула в розовую

дудочку губы (над верхней сквозит плотный темный пушок) и дует ему то в лицо, то в ухо, то в затылок. Петр Сидорович увертывается, прячет голову, и тогда острое, прохладное, щекотное дуновение прочерчивается по его груди, спине, животу и голым ногам. Он передергивает плечами, перекатывается с боку на бок, как нежащийся кот, потом садится и — цап Ольгу! Сарпинковый сарафанчик, еще ни разу не стиранный, пахнет фабричной краской, под тканью скользит крепкое неспокойное тело, пахнущее парным молоком и яблоновым цветом. Где она? Лучше не думать, — но как не думать?

Если бы майора Иванова спросили, кто лучший воин в его батальоне, он не колеблясь ответил бы: ефрейтор Юзеф Кивейша, и еще добавил бы, что — не только в его батальоне, но и в целом полку, а, может быть, и в дивизии. Майор умел ценить людей объективно и без малейшего лицеприятия.

Конечно, у Кивейши были немалые недостатки, он, например, где-то в глубине своей натуры был своеволен и анархичен, хотя эти невоинские качества скрывались под твердой корой дисциплины. Но, может быть, именно эти качества и способствовали тому, что Кивейша был идеальным солдатом того нового, рождающегося в новых условиях и сообразно новым требованиям рода оружия, которому отдал свой военный талант сам майор: механизированной кавалерии.

ТКД, хотя это сокращенное название и расшифровывалось, как Танк Комбинированного Действия, по сути не были танками в обычном смысле этого слова. ТКД были бронированные скоростные вездеходные машины, ходившие на нуклеарном горючем, несущие легкое по весу, но тяжелое по смертоносному и разрушительному действию термоядерное оружие, перед которым не могли устоять никакие полевые укрепления и никакая живая сила. Минные поля для ТКД не существовали — машина посылала мощный пучок лучей, от которого взрывались мины на пути ее следования. ТКД обладал высокой маневренностью, малой уязвимостью, мог действовать в строю и в одиночку, и был равно пригоден к наступлению и к обороне в любых условиях местности, вплоть до водных пространств и даже гор. Единственным недостатком этого оружия была его крайняя дороговизна, поэтому ТКД было мало. В министерстве обороны боролись два течения: за и против ТКД. Среди доводов консервативного течения был и тот, что ТКД требует особого типа бойца-индивидуалиста, способного самостоятельно решать тактические задачи, принимать молниеносные решения и столь же молниеносно их осуществлять. Между тем, такой психологический тип солдата, к тому же обязательно интеллигентного, был нежелателен для армии, добивающейся нивелировки личности, наличия покорной нерассуждающей безликой массы, живущей массовой психологией.

Компромиссное положение: ТКД, как специальный род оружия, придается большим соединениям и используется командованием по усмотрению, в особом порядке. Но маневры показали, что ТКД, введенные в бой, немедленно становятся хозяином положения и проходят сквозь зоны, насыщенные войсками противника, как раскаленный нож проходит сквозь глыбу масла.

Министерству и генштабу было известно, что ни один из мыслимых противников Советского Союза ТКД или равного ему оружия не имеет. Но так же хорошо было известно, что перевес, обусловленный наличием секретного оружия — фактор не слишком надежный: все тайное рано или поздно становится явным, и достаточно одному ТКД попасть в руки противника, чтобы он поспешил сам сконструировать такие же машины, и тогда прощай перевес. Вот, на случай пропажи перевеса и были устроены маневры, в которых условный противник обладал некоторым числом ТКД, приблизительно равным числу этих машин у Красных. Однако, на стороне Красных они действовали далеко не так успешно, как на стороне Синих, и это потому, что у последних был майор Иванов, оказавшийся идеальным командиром нового рода оружия.

А у Иванова был Кивейша, и этот Кивейша, волею судеб, послужил поводом к событиям, о которых ни он сам, ни его начальник, и никто в мире не мог думать, как о чем-то реальном и близком, — до той поры, когда они произошли.

Юзеф Кивейша, белорус-колхозник, окончивший кое-как деревенскую семилетку, невзрачный голубоглазый парень с льняным чубом (с некоторого времени в советской армии отменили обязательную стрижку наголо, отчего солдаты утратили вид арестантов), был идеальным «всадником» ТКД. Потому сказано «всадником», что, во-первых, одноместная машина имела седло и род стремян-педалей, а, во-вторых, требовавшиеся от водителя ТКД качества во многом были схожи с качествами удалого кавалериста былых лет, но, конечно, требования были гораздо сложней. Кивейша чувствовал свою машину каждым нервом, он сливался с ней и владел ею в совершенстве — механизированный кентавр. Зализанные стремительные формы машины были как-то по-конски благородны и красивы, в них не было ничего от неуклюжего танка. ТКД на ходу не громыхали и не пыхтели, двигались плавно и почти бесшумно, только издавая очень низкий басовитый, мелодичный звук. Построены они были из легких сверхпрочных пластических масс и небольшого количества металла. Им были доступны все виды движения, кроме полета; впрочем, они могли совершать большие, до двадцати метров прыжки в длину и до трех — в высоту; приземлялись мягко, с помощью тормозов и амортизаторов.

Далеко не каждый мог управлять такой машиной — Кивейша,

как и его товарищи, прошел длинный ряд психотехнических испытаний и тренировок, прежде чем сел в седло ТКД.

Накануне маневров он получил письмо из дому. Писала сестра-близнец, которую Юзеф не то, что любил по-братски (вообще братская любовь вещь сомнительная и недаром один умный французский писатель заметил об одном персонаже: «он относился к нему как к брату, не лучше»), но с которой был связан таинственным единством двойного существа. Ева была для него равноценной частью его самого — это относилось и к телу и к душе. В детстве близнецы одновременно хотели есть, спать, играть, обоим одновременно бывало весело или грустно; если у одного болел живот (других болезней крепкие ребятишки не знали), болел он и у другого, и дело доходило до того, что в случае, если Ева порежет пальчик, то и в неповрежденном пальчике Юзефа появлялась острая боль. Похожи брат и сестра были чрезвычайно, но, по странной игре природы, у Евы, в отличие от брата, были зеленые, а не голубые глаза, и рыжевато-каштановые, а не платиновые волосы.

Тоску и беспокойство Юзеф ощутил приблизительно недели за две до получения письма: он знал, что одновременно тоскует и беспокоится Ева. Он даже догадывался о причине: бригадир Бяроза, герой социалистического труда, партизан во время войны, — единственный из партизан, оставшийся в их деревне (остальные были кто расстрелян, кто сослан), — упорно приставал к Еве и за ее неподатливость стал преследовать семью Кивейшей. А так как, кроме близнецов, семья состояла только из немолодой уже матери, старой немощной бабки да восьмилетнего братишки (отец, раненный и обмороженный во время войны, прокашлял несколько лет и отдал Богу душу), то было нелегко управляться и с колхозной барщиной, и с приусадебным хозяйством; трудодней семья выработала немного, хотя и не так уж мало. Бяроза поставил вопрос о лишении Кивейшей приусадебного участка. Это было равносильно обречению на голод. Председатель колхоза, сведущий хозяин, но молодой коммунист, перечить заслуженному Бярозе не смел, из колхозников не нашлось охочих ссориться с начальством, хотя на собрании слегка и пошумели. Решение было вынесено, Кивейши остались без приусадебного участка.

Об этом и написала брату Ева. Юзеф доложил по команде, прося отпустить его на побывку для устройства домашних дел, ему пообещали отпуск после маневров, а пока — успокоили, сказав, что будет послана в район бумага из полка. Но или бумага не была послана, или не подействовала, только во втором письме Ева сообщала, что мать слегла с горя, а сама она, Ева, отчаялась и собирается порвать со своим женихом, Кастусем, чтобы связать свою жизнь с постылым Бярозой. Юзеф, скорый на решения, сначала подался бы-

ло к майору Иванову, который сделал бы все, что только мог, лишь бы вызволить Кивейшу. Но во время маневров майору было не до личных дел своих бойцов. Юзеф, в самом начале рейдовой операции, соблазнившись близостью своей деревни Залещики от района маневров, никому не сказавшись, отлучился, да не просто, а на своей машине. Залетел в деревню поздним вечером, выволок бригадира Бярозу на улицу, нещадно его искровянил и, пригрозив, что в случае чего убьет, умчался. На все это потребовалось менее двух часов; сорвав сердце, «всадник» повеселел и все маневры работал отлично.

О нем говорили на разборе, его ожидало производство в младшие сержанты (а в подразделениях ТКД сержантский состав очень прилично оплачивался), получил он благодарность и значок...

Но неожиданно Юзефа забрали: побитый бригадир не умолчал и пожаловался по инстанциям, упомянув и о виденной им странной машине, на которой явился в деревню ефрейтор Кивейша. Самовольная отлучка во время маневров в обстановке, приближенной к боевой — уже не проступок, а воинское преступление. Но было еще покушение на жизнь должностного лица, ветерана-орденоносца, героя соцтруда. И, наконец, самое страшное — рассекречение ТКД. Если уж очень повезет Кивейше, ему обеспечено 25 лет режимных лагерей, но всего вернее — «вышка».

Крупные неприятности грозили и майору Иванову, хотя в преступлении Кивейши был он неповинен ни сном, ни духом. Впрочем, Иванов был, так сказать, именинником, в высших военных кругах имя его гремело, о чем он, однако, узнал только от полковника Дымбы. Ему не было сообщено первому об аресте Кивейши. Послужной список Иванова сверкал: служил беспорочно, в высшей степени исполнителен, отменно дисциплинирован, образцовый член партии, исправный общественник, волевой командир, достаточно инициативен, а в общем — создание серенькое, ничем не выдающееся, абсолютно надежное и высокополезное. То, что именно такой офицер внезапно проявил себя, как выдающийся стратег и превосходный мастер нового способа войны, было очень хорошо, замечательно. Военный талант есть драгоценность, но если талант принадлежит личности, выделяющейся из общего круга, это опасно. А Иванов серенький, простенький, послушный, — и вместе с тем он сила. Что может быть приятней абсолютно послушной силы? Такого хоть завтра сделай маршалом — он будет совершать военные чудеса, а во всем прочем останется верным и преданным, вполне безличным ивановым с маленькой буквы.

Майора ожидала замечательная карьера, и сам он это хорошо знал. Знал и то, как ему следует себя вести, хотя, по его прямодушию, ему было противно дипломатничать. Он не опасался, что исто-

рия с Кивейшей плохо отразится на нем, Иванове. Но как спасти Кивейшу — вот вопрос.

Сидя с полковником в автомобиле, он молчал, размышляя.

— Ну, что вы нахохлились? — спросил полковник. — Сукина сына тихонько уберут, никакого шума не будет, и все. Хотя, по правде сказать, вы маху дали, я полагал, вы знаете наизусть, чем дышит каждый солдат у вас.

— М-м? Конечно, знаю. Ччерт-ти-што... Ясно, что знаю, и лично просил этого идиота Васюлина обеспечить письмо в райком. У Кивейши в башке есть порядочный заяц, это мне тоже известно. Но чтоб отмочить такую штуку — это просто не могло мне прийти в голову. И ведь как ловко управился: слетал, набил морду и вернулся к исполнению воинских обязанностей, стервец.

— М-да, управился... Уж лучше бы он окончательно укоскал этого прохвоста-бригадира, дело ведь было без нескромных свидетелей. А теперь, конечно, копец, как говорили наши солдатишки в войну.

— Да, копец. Только я вот все думаю, надо вызволить парня.

— Глупости, Сидорыч. И не помышляйте впутываться.

— Я ведь хитер, товарищ полковник, а? У вас в органах есть же свои человечки?

— Ну?

— Викторов... или этот художник от слова худо, как его, Леон, Лилиан? Вот и замолвите словечко.

— Глупости, глупости. Лоллий, а не Лилиан. Сволочь первостатейная, хоть и друг мне.

— Хо-хо! Меня вы тоже считаете другом?

— Конечно. Но вас я люблю и вы порядочный человек. А слушайте, Сидорыч, это между прочим: как вам кажется, я — военный человек? По внутренней сути, в душе?

— Вы блестящий душка военный, товарищ полковник. Вы преуспевающий офицер и даже талантливый офицер. Строевик, вояка и так далее.

— Ага... ну так...

— Позвольте! Но это все чепуха, если хотите знать. Я — да, я военный, я профессионал, как и вы, но с той разницей, что я солдат душой, а вы — великолепный актер, великолепно играющий роль полковника и, Бог даст, генерала. В глубине души вы именно актер, артист, человек искусства, Станиславский. И воюете отлично, и других учите, и меня в чинах обскакали (говорю смело, потому что дружески и знаю, что не обидитесь), но...

— Стойте! Знаете что, Сидорыч? Преклоняюсь. Вы сердцевед, все тютелька в тютельку так, как вы сказали, вы первый и единст-

венный, даже Алевтина Сергеевна меня не постигла. Положите мне в рот папиросу.

— Я лучше сяду за баранку. Давайте, свернем в сторонку, пересядем.

Полковник притормозил, заслуженный опель свернул на обочину. Было еще около пяти часов пополудни, а ехать оставалось не более двадцати минут. На месте надо было быть к шести. Офицеры вышли из машины, размялись, покурили.

— Да, Сидорыч, вы в самом деле того... Пожалуй, вам удастся дурака вашего вызволить. С таким знанием людей... и ведь на вас глядя, честное слово, никак не предположишь, что в вас скрывается. Честное слово, вы меня сейчас больше удивили, чем даже во время маневров. Дорогой мой, я не то что не обижаюсь, а просто ликую, ибо мне мучительно надоела моя роль и моя игра. Что толку играть, когда нет зрителей, могущих игру оценить? Вы единственный. И главное, карьера! Бросить службу, пойти на сцену для меня невозможно, в отставку не пустят, да и генералом сделаться отчасти охота... Ах, Сидорыч, Сидорыч... Ну, давайте ехать дальше.

Майор сел за руль, они покатили.

2. ЧАШКА ЧАЮ

Паркуя машину по указанию щеголеватого и беспрестанно козырявшего милиционера, майор Иванов ощутил, как полковник побарабанил пальцами по его рукаву.

— На ваше счастье...

— Что такое?

— Да вон чертушка-то стоит, видите? У крылечка.

Майор вылез и, взглянув на подъезд большого каменного приплюснутого особняка, выкрашенного в желтое, с пузатыми белыми колоннами, издали различил фигуру крупного и полного человека в темном костюме. Место для машины милиционер указал далекое; перед ними стояло три автомобиля, а ближе к подъезду было пусто — резервировалось для гостей поважнее и чтоб было попросторней.

— Кто? — спросил майор.

— Скопин. Лоллий Борисович, запомните. Лоллий — откопали же имечко! Может помочь вашему болвану, это вы неглупо придумали. Захочет вам сделать приятное. Лоллий, Лоллий, а не Лилиан!

— Вы думаете, это дворянское гнездо стоит здесь с александровских времен? Ничего подобного, это уже наши идиоты состряпали, представьте себе, после войны! А ордерок-то каков, а?

Майор Иванов поискал глазами, кому говорит Лоллий. Но во-

круг, кроме милиционера и его с полковником, никого не было. Полковник элегантно отдал честь, майор автоматически сделал то же, хотя и без элегантности. Лоллий взмахнул согнутыми в локтях руками и дружески и ласково пожал обеими руку полковника, потом, таким же манером, майора.

— Это вы и есть легендарный майор Иванов, как хорошо! Верьте, я действительно, действительно рад познакомиться с вами. Скопин моя фамилия, а имя отчество, не обессудьте, Лоллий Борисович, бывает такое. Впрочем, дикие имена как раз лучше и запоминаются.

В голосе Скопина была некоторая актерская бархатность, но он вовсе не ломался; бархатность, очевидно, природная.

— А его зовут совсем стильно, — сказал полковник, — Петр Сидорович Иванов, честное слово, как нарочно: Иванов Петр Сидорович. Здание, в самом деле, того... Самоварный ампирчик.

— Вампирчик, черт бы его подрал, у меня от него в животе делаются спазмы. Ну, идите, дорогие, сначала во-он туда, в комнатку, там есть всякие умывальники и щетки, а потом — наверх, да входите просто, без всяких, как к знакомым в гости, понимаете? Это тоже стиль — в отличие от эпохи «отца народов».

Майор, которому до сей поры было несколько не по себе, — его смущала именно эта, заранее оговоренная неофициальность и как бы семейность приема у командующего, — после встречи с Лоллием почувствовал себя успокоенным. Они привели себя в порядок и поднялись во второй этаж по широкой деревянной лестнице. Двустворчатые белые двери были раскрыты, по ту сторону была просторная комната, в ней по стенам стояли красивые светлые стулья; большие, вверху закругленные окна были растворены настежь, и за ними виднелись темнозеленые кроны деревьев, отражавшиеся в простеночных зеркалах. Девушка в затейливом передничке и беленьком плоеном чепчике, стоя на стуле, что-то делала с циферблатом высоких торжественных часов — ни дать ни взять, горничная из «Горя от ума».

Пройдя по ковровой дорожке, как по мостику, перекинутому через озерцо паркета, офицеры переступили порог (и в самом деле был низенький порог) второй комнаты, и только очутились там, как к ним, поднявшись с кресел, направился пожилой военный в летней, превосходно и намеренно просторно, как бы мешковато сшитой форме, с мягкими, заделанными в швы маршальскими погонами. У него было широкое и худое желтовато-бледное лицо, заметно конопатое, с несколькими крупными слившимися веснушками, с небольшим хрящеватым носом пипкой и тонкогубым ртом. Низенький, светлый, без сединки, бобрик, выцветшие узенькие брови, а под ними светло-голубенькие холодные глаза.

— Ну, чудесно, вот спасибо, что пришли! — сказал командующий, пожимая маленькой, сильной и сухо-горячей рукой руки вошедшим. — Идемте, познакомлю со всеми — а всех-то шестеро душ, валяный сапог со скрипом! Зато народ, понимаете: сплошь начальство, — говорил он, ловко направляя полковника и майора к поднявшимся с мест и стоящим гостям.

— Полковник Дымба-Закоржельский, майор Иванов, товарищи, это вы запомните все сразу. А это генерал Новиков, Семен Семенович, лицо вам, без сомнения, известное.

— Известное, — отозвался тонким голосом сухонький лысый генерал, — я ему, Роману Григорьевичу, раз уже давал головомойку, за что думаете? В преферанс не хочет играть, низкопоклонничает перед капиталистическим бриджем. А вы... Петр Сидорович, вообще для меня не существуете, потому что не картежник. Вот вам!

— Э, — отозвался маршал, — с начальством в карты играть последнее дело. Сейчас расскажу... Сергей Кузьмич Паневин... Яков Абрамович Кащенко... Флоровский Демьян Иваныч, очень хороший человек, ка-ге-бе... Николай Николаевич Вяземцев. Замечателен тем, что в нашем обществе единственный практикующий пролетарий.

— Я наборщик, — кратко пояснил головастый приземистый человек в сильнейших очках старинного фасона, похожих на грибоедовские.

— Вот, пока что все, еще кто-нибудь забредет. А хозяйка занята хозяйством и появится своевременно или немного позже, как говаривала моя теща. Вы, товарищи, усаживайтесь по собственному усмотрению... Так, значит, насчет игры. У нас в эскадроне был такой помкомвзвода, по фамилии Бурундучек, службист, но дурень, однако не без дипломатии. Любил играть в пятьсот одно, на деньги, и мнил себя великим игроком, валяный сапог со скрипом! Ему надо было проигрывать, ну, а я новый, по комсомольской мобилизации, тонкостей не знал, да и обхлопал этого самого Бурундучка, что-то миллионов на триста (двадцать второй, кажись, год). Он посмотрел мне этак в переносицу, уголки рта у него под усами поднялись, усы натопорщились скобкой, и скрипит: еслиф (он так и выговаривал «еслиф», нигде я потом такого не слыхал), еслиф у твоей Соньки спросить, что она за тебя думает, то таковая бессомненно скажет, что ты дурак. А я осведомляюсь: это почему же? А потому, он говорит, что хотя она, бессомненно, и кобыла, ну только своим верным кавалерийским чутьем она чует твою хамлетскую бескорректность и так и далее!

Так хорошо, тонко и точно показал маршал этого помкомвзвода, что все грохнули дружным смехом, каждый на свой лад. Толстый председатель совнархоза, Паневин, клохтал, сбиваясь на кашель и

махал кистями рук, как бы отстраняя от себя что-то; первый секретарь обкома Кащенко, бледный черноволосый мужчина, похожий на грека или румына, раскатисто выкидывал отчетливые «ха-ха-ха», мотая при этом головой, а генерал как-то скис и в изнеможении склонился на толстую боковую стенку кожаного клубного кресла.

— Ой, я не могу! — простонал он тоненько, — уморил Гаврило Федорович... И так и далее... это же... это же бабелевский тип живой... Ох, я сдохну! Неувядаемый тип!

— И верно, — заметил полковник, — по лошадиной части был профессор.

— О! Второй Буденный, знаток коня. Похож был скорей на Чапаева, знаете, в исполнении Бабочкина, быстрый, легкий, и клинком владел — будьте уверены, только беда, глуп, а то бы далеко пошел.

— Случалось, и глупые далеко хаживали, — отозвался наборщик. — Возьмем Бела Куна — ведь дуб заветный.

— Что же, что дуб, — сказал маршал, — в его время и на его месте и нужен был дуб. Вообще, ум и способности для карьеры — еще не самое главное. Что вы на меня воззрились, Петр Сидорович?

— Не согласен. Вот вы сами...

— Гаврило Федорович, — подсказал маршал.

— ...Гаврило Федорович, сделали карьеру умом и способностями... Кажется, я по-медвежьи польстил, простите! Но ведь правду говорю?

Майору казалось, что все на него глядят, что, впрочем, так и было, хотя никто не заподозрел его в грубой лести.

— Спасибо, это приятно слышать, и это отчасти верно, но...

— Да чего там «но», просто верно, — отозвался генерал Новиков, — Петр Сидорович прав, и вы на себя пожалуйста не клеплите, хозяин, а то я уже предчувствую, какую вы разовьете теорийку.

— Не теорийка, друже, а печальная практика. Ну, я, или вы, или вот каждый из здесь сидящих (кроме Николая) вышли в люди, чего-то достигли. Без ума и знаний, без дарований нельзя этого достичь. Но и без партии — тоже нельзя... погодите, дослушайте. Однако, сколько коммунистов — низовички, рядовички? И тоже есть умные, талантливые и знающие. В чем же дело? А дело — в уменьи себя п о д а т ь, себя поставить. Люди есть люди, с ними надо уметь обращаться. И вам, Петр Сидорович, на комплимент отвечу комплиментом: о вас говорят: гениальный офицер (могу сказать об этом в тесном кругу), и — пожалуй, судя по вашим действиям, может быть и гениальный. Однако, почему вы майор?

— По скромности, — вставил полковник, — единственно по скромности. Мы с ним однокашники, и я не гениальный, а он у меня в подчинении!

— А, бросьте! — сконфуженно отмахнулся Иванов, и все невольно улыбнулись.

— Бросим, бросим! — сказал хозяин ласково. — Эх, чего уж там, пошли чай пить! А куда девался Скопин-Шуйский? Вот этот — учитесь, друзья — между прочим, себя подать умеет!

— Ситро подам, как шампанское, говаривал один ресторатор.

— А уж это, Коля, дело вкуса. Другому-то, знаешь, шампанское — как цуцыку мыло. Хватил сивухи, рукав понюхал, ситром прохладился — и порядок!

Вошел Лоллий.

— Вот он, — сказал маршал. — Речь идет о вашей репрезентативности, мистер Твистер.

— А что ж, без этого нельзя. В порядке, Гаврило Федорович, — сказал Лоллий с небольшим ударением.

— Ага? Роскошно. Друзья, — обратился он ко всем, — посидите две минуты, очень прошу меня извинить.

Он прошел в глубь комнаты, туда, где стоял огромный, до потолка, темный библиотечный шкаф, обогнул его и скрылся из вида. Лоллий подошел к Иванову, разглядывавшему картины на стенах.

— Чудный человек Гаврило Федорович, заметили?

— Да, понравился. Как умеет установить тон! Ведь я понимаю, человеку в его положении и ранге нужно держаться по-разному, в зависимости от окружения, от обстановки. Я бы не смог.

— Пустое, отлично бы смогли. Но у него все получается особенно элегантно. А ведь — рабочий. Не маргариновый, самый настоящий, слесарь-водопроводчик. Конечно, академия генштаба и прочее, но ведь образование еще не делает человека. И — добрый, по-настоящему.

Иванов испытующе поглядел Лоллию в глаза.

— Скажите, Лоллий Борисович, если попросить маршала об одном... погибшем... как бы получилось?

— О погибшем? — Лоллий дотронулся до майорской пуговицы. — Можно вам посоветовать? Не хлопочите о других. Какой бы вы ни были удачник и умница — не хлопочите, потому что ваши протеже вас в благодарность и погубят.

— Это уж как водится. Но мой погибший — особенный. Дезертир и изменник.

— О! Это интересно. Изменник, говорите? Если настоящий изменник, то спасти можно. Вы меня понимаете? Настоящий изменник или, например, шпион, это — товар.

— В этом смысле не настоящий. Все зависит от окраски, какую придать этому делу.

— А расскажите вкратце.

Иванов рассказал.

— Но человек ценный?

— Драгоценный. Вы не специалист, но поймете. Уникальный талант владения машиной, а ведь появятся следующие марки этих

машин — надо будет учить людей их осваивать. «Всадники» сегодня исчисляются только десятками — остальное вспомогательные команды, обслуга. Бой ведет одиночка.

— Да. Вы сейчас Гавриле Федоровичу не говорите, а я сделаю разведку, и если что — он сам вас спросит.

— Ну, разумеется! Частная обстановка, ганц приват, как немцы говорят.

— Приват-то приват, но в этой частной обстановке делается дело, дорогой Петр Сидорович. Картинки-то нравятся? Понимаете в картинках?

— Больше по части передвижников.

— Ничего, это бывает. Дело в таланте, не в школе. Гаврило Федорович возит картины с собой. В этом доме все казенное, до столового белья, а картинки привезены. Пестроватый подбор, но плохих вещей нет. Вот голландцы, фламандцы, а на той стене — Шагал и кое-что из «Голубого всадника». А вот эти — совсем новое.

— Что вот это может значить? — спросил майор о маленьком полотне, полном разноцветных линий и бликов.

— Вы хотите знать название этой картины?

— Я хочу знать, что она изображает.

— Художник назвал ее просто «Композиция 14». На мой взгляд, это радостная картинка, гм... очень радостная. Хорошо на нее смотреть. Что изображает вот это, Петр Сидорович?

Лоллий насвистал чистый, светло-грустный мотив.

— Я не знаю, — сказал Иванов. — А что? Ах, вот что! — догадался он. — Вы хотите сказать, что линия и цвет, как музыка, могут ничего конкретного не означать, а действовать непосредственно на чувство. Как это называется течение: беспредметничество? Ничевоки?

— Абстрактное искусство.

— Да, абстрактное. Ну, а куда девать Рембрандта? Пушкина?

— Никуда их не надо девать, они остаются. А вот передвижники и наши соцреалисты имеют только историческое значение: были, мол, и такие. Кое-что, впрочем, останется. Пять, ну шесть полотен.

— Вы же сами художник. Ваш «Бой на Курской дуге» — чудесный.

Лоллий махнул рукой.

— Давайте не будем...

— Как не будем? Сталинскую премию вам за нее дали, за эту картину. Орден...

— У меня есть ордена и не за картины. Вот у Флоровского тоже есть ордена, и повыше ваших, а он фронта и не нюхал. Вывод, Петр Сидорович, тот, что можно получать боевые ордена, не будучи вои-

ном, и получать премии по искусству за вещи, которые не имеют ничего общего с искусством.

Иванов недоверчиво покосился на Лоллия.

*

Сидевшие гости поднялись, а кто бродил, как Лоллий с Ивановым, по залу, выпрямились и обернулись лицом к двери.

— Виктория пришла, маршальша, смотрите! Бывает же на свете такая прелесть! Да, у нашего Гаврилы губа не дура. Идемте, я вас представлю.

Возле дверей стояла довольно высокая, стройная женщина неопределимого возраста, скорей некрасивая. Никакой прелести в ней Иванов поначалу не приметил. В женщинах он вообще, по собственному признанию, «мало разбирался».

— Которые тут гости, — сказала Виктория, и, услышав первые звуки ее голоса, Иванов встрепенулся; голос был особенный, очень высокий, на грани пискливости, однако звонкий и вместе с тем мягкий, проскальзывающий в душу. — Которые тут гости, дак нехай идут чай пить, понятно? — В голосе слышался смех и ласковость, и задор, и еще что-то бесконечно милое и приятное, такое, чего годами не встретишь, а встретив, тотчас же начнешь бояться, как бы не утерять. Маршальша разила наповал, не целясь. Все уже столпились возле нее, как куча иголок возле магнита. Лоллий однако без малейшего напора, чудодейственно, как только он умел, проник сквозь толщу гостей и прибуксировал майора.

— Виктория Федоровна, это майор Иванов.

— О! — как-то не по-русски произнесла хозяйка дома и протянула майору голую до плеча руку. Занятый решением труднейшей проблемы, поцеловать или не поцеловать, Петр Сидорович все же успел заметить, что рука маршальши замечательно красива — век бы любовался, — что на сгибе у локтя сидят две коричневые черточки, похожие на зернышки льна, что в спокойном широком и глубоком вырезе платья из пестрой, но гармонично-приглушенной материи виднеются полные и нежные груди с таинственной тенью углубления между ними, что алые с поднятыми в усмешке уголками губы очерчены твердой и прихотливо-самоуверенной линией и что широко расставленные светло-серые глаза смотрят внимательно и дружески. И, как всегда, решение пришло само собой: он принял и по-хорошему, ласково поцеловал не маленькую свежую, полновесно-мягкую, но не бескостную руку, а она не выскользнула, осталась в его руке для пожатия. Пожатие было восхитительное — это майор немедленно оценил, а оценив, тут же осудил себя «за кобеляж». И то сказать, за всю жизнь Петра Сидоровича он впервые целовал чужой женщине руку.

— О! (Оу!) Я рада! Верите? А! Это хорошо, что вы здесь. Я вам

что-то скажу, военный секрет. Пожалуйста, подальше, подальше, — сказала Виктория, отстраняя козой из указательного и среднего пальцев шутливо протянувшего к ней голову генерала Новикова. — Вы все равно секрета не оцените, потому что у вас консервативный склад ума.

Все засмеялись — вероятно слова о консервативном складе ума напомнили присутствовавшим, кроме майора, что-то знакомое и смешное.

В столовой, зелено-коричневой комнате, где был только большой круглый стол, маленький столик на колесиках, стулья да сервант, и где в прохладном, кристально-чистом воздухе плавали невидимые островки запаха метеолы (их доносило сквозь распахнутые огромные окна с газона), клокотал серебряный самовар. Цветистая чайная скатерть, тоже зеленая с коричневым, круглая, юбочкой, вмещала мейсеновский сервиз и множество вкусных вещей, однако, без кремлевско-хамского сверхизобилия, просторно и элегантно, на западный, но все же русский лад.

Никто не спрашивал, где хозяин. Виктория Федоровна села у самовара, девушка в наколке, похожая на горничную из «Горя от ума», ловко разносила чашки и тарелочки, внятно, но тихо, не мешая разговору, угощая.

— Скушайте бутерброд с мясом, товарищ майор, — предложила она Иванову, — чудный ростбиф, не пожалеете! Можно вам коньяку капельку?

Майор не отказалася ни от ростбифа, ни от коньяка — и в самом деле не пожалел. В этом доме, видно, умели удобно жить.

— Дусенька, — спросил генерал, — а того лучку не осталось?

— Как не остаться!

Дуся проворно принесла маленькую глубокую хрустальную вазочку, наполненную полупрозрачными золотистыми луковками чуть крупнее горошины. Генерал наколол луковку на вилку, медленно съел и поучительно поднял палец:

— Премудрость! Постижение сути вещей. О, друзья мои! Могло ли все это иметь место тогда, когда... и так далее?

— Лучок? — осведомился Флоровский. — Лучок имел место и тогда, когда и так далее. Все имело место... кроме чистого воздуха.

— Как вы правы, Демьян Иванович! — с чувством проговорил полковник Дымба. — Штука в том, что тот же лучок или даже обыкновенный кусок хлеба среднего качества требует воздуха.

— ИванЫ, положим, воздухом обеспечены на все сто, — заметил Вяземцев.

— Ты прав, практикующий пролетарий, — сказал генерал. — Воздухом и — социализмом ИванЫ действительно обеспечены, и тогда, и теперь. Не станем входить в детальные оценки, но мне ка-

жется, что величайшая мудрость столетия была высказана одним простым и умным человеком пару лет тому назад: социализм лучше воспринимается, если его сопровождает хороший кусок сала.

— Где он, этот кусок?

— Ну, не скажи! Пускай он невелик, но он существует.

— «Курица в супе каждого крестьянина», — сказал Флоровский. — Хорошо было французскому королю декламировать о курице — в его эпоху не было совнархозов. Так что, может, хоть по большим праздникам ели его мужички курицу. Как ты смотришь, Сергей Кузьмич?

— Да что нашему колхознику курица, — пожал плечами толстый Паневин. — Мы, слава Богу, не французы, нам давай — попроще да посущественней...

— Возьмите ветчины, Сергей Кузьмич, — невинно вставила Виктория.

Смешливый генерал фыркнул и прикрылся салфеткой.

— Кусок сала, который мы даем... дадим нашему народу, реально существует! — начинал горячиться предсовнархоза. — Очень внушительный кусок... для него есть все предпосылки, да! Только не хватает пустячка.

— Сала, — пискнул генерал.

— Какого пустячка? — деловито осведомился Флоровский.

— Какого? А вот какого! Пфа-а! Все есть: техника, организация, люди, и априорное признание того, что социалистическое хозяйство должно вестись передовыми, революционными методами, да? Но какие к черту, простите, революционные методы могут быть, если они — только на словах? Почему на словах? Потому что мы мужика задергали: вчера «делай так», сегодня: «делай этак», а завтра — ходи вперед пятками. Это несерьезно.

— При отце народов было серьезно, — заметил, кажется, впервые подавший голос Кащенко, первый секретарь обкома, темнолицый чернобородый человек в ослепительно белом полотняном костюме, похожий на индуса.

Стало тихо, звякнула ложечка.

— А нынче несерьезно, так что ли?

— Я не о том, Яков Абрамыч... — начал было Паневин, но Кащенко, отрицательно мотнув головой, говорил дальше.

— Было бы дешевкой, Сергей Кузьмич, если бы я тебе заявил: «так будь любезен, раз ты руководишь хозяйством, применять революционные методы». Революционные методы хозяйства в наших, советских, условиях требуют, если хочешь знать, не только немедленного разгона колхозов, но и совхозов, передачи земли в индивидуальное пользование и — широкого, основательного кооперирования крестьян — раз. И потока товаров в деревню. И перестройки системы оплаты труда в промышленности — два. И пересмотра пар-

тийной программы — три. Это говорю я, секретарь обкома партии и член ЦК, говорю в тесном кругу своих людей. Вы все с головами и прекрасно понимаете, что я говорю правду. Но на это мы пойти не смо-жем и не хо-тим! Стало быть, по одежке протягивай ножки. Мы своему народу зла не желаем, а добра дать...

— Не можем, — всунул реплику либеральствующий чекист.

— Можем, но только понемножку.

— Ну, вот! — торжествовал Паневин. — Вот, это оно самое и есть, а почему, спрашивается? Потому что у нас консервативный способ мышления...

— Валяный сапог со скрипом, — внушительно произнесла Виктория. Раздался благодарный, облегченный хохот, и майор Иванов восхищенно посмотрел на хозяйку. Теперь он понял вот эти шаловливые передразнивания и живую искреннюю веселость, раскрывающие полноту свойств жены маршала: изящество тела и души. «Ну и баба!» — подумалось майору.

— А кроме того, — добавил, помолчав и устремляя прямо перед собой долгий, угрюмый и неподвижный взгляд, Кащенко, — революционность, революционные методы — это достояние архивов. Революция после революции есть контрреволюция. То, что есть — есть, и возможно, оно не очень хорошо, что поделать. Могло быть и хуже. Вот, говорили о французах — французы сделали одну великую революцию, а потом полтора столетия живут якобы на проценты с нее. А на самом деле не то, что процентов, а и самого капитала-то не осталось ни полушки. Нет, нет, потише с революционностью. Т а к о й революции, как у них, у нас не было — говорю не в социологическом смысле, а в смысле характера движений души народа. И очень хорошо знаю, что не было. Мы знаем: так называемые ошибки, слишком много крови, ну, да. Только все-таки мы крови всегда стыдились, даже Ежов или Вик...

Кащенко оборвал на полуслове, но не сделал ни малейшего движения, только закрыл на секунду глаза, и потом продолжал:

— Не то хотел сказать. А вот что: заметили вы, что у нас не было ни одной, решительно ни одной фигуры, которую, разумеется, с поправками на эпоху и национальность, можно было бы поставить параллельно с фигурами французской революции? Ни одной! Мирабо? Не было. Дантон? Марат? Робеспьер? Да что там, даже Барраса не было, Фуше не было. Иные пыжились, старались подражать классическим образцам — скажем, Троцкий — непохоже и даже маленько смешновато, потому что Троцкий совсем не мелкая фигура, но и совсем в другом плане. Я уж молчу о небольшевиках, там были вполне крупные люди, например Керенский...

— Что-о? — крикнуло сразу несколько голосов.

— ...которого наша пристрастная историография выставляет в жалком виде, и совершенно напрасно. Керенский человек монолит-

ной убежденности, огромного темперамента и обаяния и далеко не робкий политик. Но — не сумел в нужный момент покривить душой. За ним была закономерность истории, за нами голенькая случайность, а вот подите! Теперь-то легко острить насчет душки и жен-премьера, да ведь это все натяжка и дешевка... Или — Врангель. Какая личность! Между прочим, будь мы поумней, мы бы его реабилитировали, дескать, произошло трагическое недоразумение... Да. Красные, белые, множество самобытных, очень интересных фигур, миром потрясли, и потрясаем, но все это серо и скучно, как-то стыдливо, что ли... Ни пафоса, ни романтики — их пришлось выдумывать «инженерам душ», уже задним числом.

— Вы говорите: много самобытных фигур, и все. А вот Ленин — это побольше, чем «самобытная фигура».

— Очень хорошо. Ленин есть Ленин, о нем нет спора. Но Ленин вне созданной им же партии — просто немыслим. А кроме того, Ленин тип директора, тип государственного мужа, тип главы государства и, заметьте, это очень важно: тип как бы историка, взявшегося писать историю не прошедшего, но будущего...

Виктория захлопала в ладоши, все, как будто ждали сигнала, громко и часто зааплодировали.

— Сказано! — воскликнул полковник Дымба. — Вот это сказано! Заметки последнего периода жизни, а?! О кооперации, об РКИ...

— Ну-ну, разумеется, — отозвался секретарь обкома. — У него мысль отточилась тогда необыкновенно. Проживи он еще десяток лет... Эх, что толковать! Но он — не тип революционного трибуна, товарищи переплетчики!

— Стало быть, революция у нас была, но как бы и не было ее, — резюмировал генерал Новиков. — Не было Марата, не было Робеспьера, не будет и Наполеона.

— А это, — растягивая слова и наставив на вечереющее окно протертые очки, молвил «практикующий пролетарий», — это, почтенные хозяева, бабушка еще надвое ворожила, да и на печь положила.

Вошла Дуся, приблизилась к Кащенко и сказала, что его просят к телефону. Кащенко кивнул головой, вышел. Больше он не возвращался. Но место за столом не осталось пустовать — появился сам хозяин, свежеумытый, с влажным еще бобриком. Вид у него был усталый. Дуся принесла ему творога со сметаной, черного хлеба, морковку. Маршал был вегетарианцем.

— К мясцу не тянет? — осведомился Лоллий, владевший способностью появляться и исчезать совершенно незаметно. Полковник Дымба-Закоржельский, положивший себе наблюдать за исчезновениями и появлениями Лоллия, так и не мог, к досаде своей, заметить, как тот вошел. Вот только что его не было — глядь, сидит напротив и с таким видом, точно корни пустил.

— Нисколько, — ответил маршал. — Не люблю. Вот водки выпью, принеси мне, Дуся, маленькую. Петр Сидорович, за компанию, а?

— За компанию — с удовольствием.

— Дуся, две! — крикнул вдогонку девушке Гаврило Федорович. — Остальным не предлагаю: кто предпочитает коньяк, кто совсем не пьющий, кто... слишком пьющий.

— Ладно уж, — сказал наборщик. — Маленькую можно бы.

— А вот: коньячок, напареули, ликер апельсинный — выбор хороший, битте-дритте.

Наборщик досадливо отмахнулся.

— Не хватает человеку целого военного округа, так он еще хочет командовать несчастным товарищем. Ты знаешь, я могу пить только водку.

— Я вам чаю, Николай Николаевич, — предложила Виктория.

— В самом деле, Витенька, дайте мне чаю. Чай у вас необыкновенный.

— Конечно необыкновенный, — подтвердила хозяйка. — У нас в семье культ чая, то есть в моей семье, откуда я происхожу.

— А помните, в Берлине я у вас был, — сказал Лоллий. — Каким вы тогда меня ошарашили чаишкой! И трубочки, Сергея Федоровича подарок, неукоснительно сохраняю. Как он сейчас?

— В полном порядке, в Истпарте работает. Как заново родился, — а ведь какой был страшный.

— Да, Витя, — молвил задумчиво маршал. — Был он страшный.

— Я не в том смысле сказала, что страшный, Ганя. Тогда он держался только алкоголем, непостижимо много пил, и страшно было видеть. Что он пьян, можно было заметить не сразу, только присмотревшись. А в другом смысле — вот давеча Кащенко назвал его имя и осекся на полуслове... Поставил Сергея рядом с Ежовым. Ежов был палачом просто по ходу карьеры, кровавая кукла. А Сергей идеалист. Вы знаете что?

Она вскинулась, подняла обе прекрасные руки над головой и соединила их, крепко сжав пальцы.

— Я в жизни своей не убила никого, кроме моли. Но если бы нужно было, если бы я верила, что во имя идеала нужно уничтожить половину человечества, я бы это сделала.

— А есть такой идеал? — спросил чекист.

— Не знаю, Демьян Иванович. Вы — знаете?

— А ну, Демьян Иванович, раскинь-ка умом, — поощрил маршал.

— Ни половину, ни четверть. Одну восьмую или около этого. Желательно — не больше одной шестнадцатой.

— Во имя коммунизма? — осведомился маршал.

— Во имя коммунизма. И то — лишь тогда, когда крепко веришь, что коммунизм, как научная система, неопровержим. Я — верю. Не верил бы — убежал бы в эмиграцию, как Растворов, как другие.

— Да, бухгалтерия... — сказал маршал. — А я все-таки рад, что в Будапеште орудовал не я...

Он достал огромную толстую папиросу и, постукивая ею об стол, внимательно глядел на нее.

— Товарищи...

Маршал сказал это слово очень просто и без нажима, но все сразу поняли, что разговор отныне будет вестись в другом ключе.

— То, что я сейчас скажу, находится в компетенции партийных органов и в обычной обстановке не должно обсуждаться в частном порядке, как вот мы беседовали здесь. Но обстановка, как некоторым из присутствующих известно, к сожалению, далеко не обычная создалась. Секретарь обкома и член ЦК Яков Абрамович Кащенко и... другие члены центрального партийного руководства поручили мне, как кандидату в члены ЦК и члену областного комитета, информировать именно в частном, дружеском порядке нескольких достойных людей... преданных сынов родины. Как гражданских, так и военных работников.

Не секрет (по крайней мере для нас с вами), что единства в верховном руководстве страны нет. Есть групповщина, корни которой уходят очень глубоко... С этим надо считаться — с наличием групповщины. Покойный Сталин крепко, хотя и недостойными методами, но крепко держал вожжи в руках и аргументировал весьма убедительно. Но — диалектика! — именно поэтому возвращаться к сталинской аргументации уже невозможно. История назад не ходит, а если повторяется, то, по словам Маркса, «как фарс»... и очень скверный. При Сталине, видите ли, бывало всяко, сами знаете: и «освобождали», и «братскую руку протягивали», и определенными методами утверждали колхозный строй... однако, такого не было, чтоб в чужой стране мы расстреливали рабочих и малых ребят за то, что они вышли на улицу требовать свободы. Говорю не в осуждение, а констатирую факт. Да и нельзя не осуждать. А с другой стороны — либерализация приведет прямым путем к учредилке. Потому что, идя путем уступок дальше известного предела, уже нельзя остановиться. И скажу вам откровенно: то, что мы сделали за сорок лет в стране, может быть, далеко не идеально, а местами просто отвратительно, однако в капиталистическом мире — не луч-

ше. Не стоит менять шило на швайку. Наша пропаганда врет о Западе, но, положа руку на сердце, тамошние гнойнички, возможно, похлеще нашинских.

И вот, создалось положение: ни туды, ни сюды. Есть лозунг: с Лениным, по ленинскому пути. Хороший лозунг. Плохо только то, что ни одна душа не знает, что сие значит. Мы и находимся на ленинском пути — на каком же еще? Я ничего не замазываю, говорю то, что есть. Спасибо, капиталисты ничего в наших делах не понимают, а то ведь скажи они по радио всем-всем-всем: начинайте, гарантируем фактическую поддержку — и готово, все!

Вот в такой обстановочке единственное спасение — пускать вспышечки то там, то сям, а внутри страны ковать единство партии сверху до самого низового звена. Но мы вспышечки-то пускаем, а насчет единства, как говорится, совсем наоборот. На сегодняшний день положение обострилось настолько, что глава руководства, борясь против ревизионистов и против догматиков, на последнем заседании президиума ЦК оказался в меньшинстве. Вы понимаете, что это значит, люди взрослые. Интересы родины властно диктуют нам, связавшим свою судьбу с судьбой партии, реально поддержать ленинское руководство.

В нашем военном округе только что закончились маневры, которые я смело могу назвать историческими. На них подтвердились исключительные качества нового рода оружия — ТКД. Если в области стратегического и ультимативного нуклеарного оружия наши и капиталистов силы приблизительно уравновешены — так сказать, ничейное положение, то в области тактического оружия произошла подлинная революция. Здесь перевес на нашей стороне. Но вы знаете, что капиталисты на нас ни при каких обстоятельствах первые не нападут. Может случиться, что мы на них нападем — если безответственная групповщина внутри нашей партии толкнет страну на путь авантюры. Не дай Бог, не дай Бог! Тогда мы с нашими ТКД пройдем довольно далеко, но назад не воротимся. Другое дело — спровоцировать их на нападение. Шансов на это мало. В этом переплетении политических и военных факторов несомненно одно: тот, на чьей стороне армия, вооруженная ТКД, есть хозяин в нашей стране. Эти силы сосредоточены исключительно в нашем военном округе. И не как командующий, не как маршал, даже не как кандидат ЦК партии, а как патриот, как рядовой человек, я спрашиваю вас, товарищи военные и гражданские коммунисты: хотите ли вы (не только повинуясь приказу или решению партийной инстанции, а — в глубине сердца и рассудка), хотите ли вы поддержать вождя?

3. СОН И ПРОБУЖДЕНИЕ

Солдат дымом греется, шилом бреется. Майор Иванов за свою солдатскую жизнь привык не особенно заботиться об удобствах ночлега и давно утерял портящее жизнь свойство штатского человека чувствовать себя покойно и естественно только в привычной, примелькавшейся обстановке. Но теперь, видя, как грибоедовская горничная носит вороха постельных принадлежностей — тонкий волосяной матрасик, хрусткие белейшие простыни и ласковые мохнатые одеяла; как она, сняв и поставив в угол один из мутаков — цилиндрических перил-подушек низкой широкой тахты, застилает ее, тщательно разравнивая простыни, как взбивает подушки (одну плосковатую, потверже, другую, верхнюю, упруго-пуховую), предварительно надев на них свежие, со складками от глажения, наволочки, — а надевала она ловко и быстро, как-то ухватив подушку за уши, — Петр Сидорович вспомнил давно забытое детское ощущение. Маленьким он любил ночевать в гостях, а подростком, бывало, приезжая к замужней сестре отдохнуть и подкормиться, тоже чувствовал себя гостем, о котором хорошо заботятся, — и это приготовление постели, иной раз поздней ночью (поезд приходил после полуночи, а от вокзала нужно было еще переть пешком до химкомбината километров пять), предвкушение свежей чистоты и мягкой ровности, было великолепно.

Хлопнув последний раз по подушке, Дуся оглянулась и приветливо сказала:

— Вот, товарищ майор, будет вам хорошо, а вы же наверно наморились?

— Спасибо, дорогая. Нет, ничего. Я уже после маневров отоспался здорово. Нет, не надо, — добавил он, видя, как девушка закрывает окно. — Спасибо, в порядке.

— Ночи свежие нынче, — сказала Дуся. — Ах, вот что! Если проснетесь в пять тридцать, можете Спутника посмотреть. Хотите, я вам бинокль? Сегодня Спутник будет виден, вот так пройдет. — Она обвела рукой широкую дугу и засмеялась. — Я-то прошлый год обмишулилась, сижу, жду, летит Спутник. За ним второй, третий — и все не по тому направлению... а то вовсе не Спутники, а Леониды были... метеорный дождь, это бывает поздней осенью, в ноябре.

— О, Дуся, вы что же? В астрономы готовитесь?

— Нет, я на литературном... заочница, конечно. Но, знаете, надо всем интересоваться. Ой, простите, я вам мешаю. Покойной ночи! Я уже исчезла!

— Славная какая девочка, — сказал тихонько Петр Сидорович. Он присел в кресло, стянул сапоги и, притянув ногой стоящие у

тахты мягкие ночные туфли («Культура! Надо себе завести, а то я — безобразие — мыться хожу в старых калошах, черт знает, откуда они взялись...»), сунул ноги в туфли и пошел в ванную комнату, «наводить марафет», как выражалась одна знакомая актриса о туалете.

«Да, — думал он, по привычке одиноких, полувслух, — вот так они и живут. А Дымба тоже исчез, как Дуся. Ах, до чего приятная девчонка, впору бы влюбиться. На сестру Вальку чем-то похожа, только Валентина толстая. Полковник мне, вроде, друг, но, конечно, ухаживает за мной не только из дружбы, а как это бывает, что льнут люди к богатству или удаче. Умгу, к удаче. Какая вода мягкая, все кажется, мыло на коже осталось. Исчез по дипломатическим соображениям, чтоб не мешать. Но никакого разговора с маршалом не было, кроме как за чаем. Собеседование странноватое. Едят вкусно, живут опрятно, но беспокоятся, видимо, денно и нощно. А, это у них такие замечательные полотенца, чудные полотенца. Что это значит: помочь вождю? Сталин, помнится, не просил себя помогать. Чекист необыкновенный либерал, и морда даже симпатичная, но, конечно, натуральная сволочь. Откуда у меня это слово? Что-то гоголевское. А не побриться ли с ночи, чтоб сэкономить утренний ритуал? Как это я буду помогать вождю, интересно... Я заметил, что люди из коммунистов, постарше меня — у них есть что-то... гм... общее, как бы принадлежность к какому-то обществу, ордену что ли. Дурака валяю: ну, принадлежность к партии, ясное дело, но ведь и у молодых то же самое, хоть бы взять и меня самого. Но мы себя не ощущаем кастой. Впрочем, какой я коммунист? Это же формальность, как в ремесленном был пионером, потом комсомольцем. И все моего возраста такие же, кроме карьеристов, торбохватов. А у тех — совсем иначе: общая лавочка, шарашкина артель, товарищество с ограниченной ответственностью. Номенклатура, аппаратчики. Верят они в коммунизм? Вряд ли... может быть, этот практикующий пролетарий. Или он просто алкоголик и поэтому не может быть на ответственной работе? Тот, положим, толстый, предсовнархоза, кажись, искренний. Замечательное лезвие, конечно, заграничное. Так и есть. Воспользуюсь уж и маршальским одеколоном. Нужен я им, нужен... Батюшки, наверно хозяину тоже надо сюда, а я тут телюсь полчаса!»

Он подтер линолеум чистой, сухой, отлично впитывающей влагу тряпкой, повесил ее на трубу, с которой снял, сполоснул руки и вышел в комнату, где предстояло ему ночевать. Не сразу заметил маршала, стоявшего возле окна.

— Да, Петр Сидорович, дорогой, — сказал маршал отражению своего гостя в темном стекле, — я вам немного помешаю спать ложиться. То есть, вы себе ложитесь пожалуйста, безо всякого стеснения. Я вам принес бинокль, по поручению Дуси.

— Спасибо, — ответил майор, — я...

— Но вы не обращайте внимания, соврите ей, что видели Спутника, и дело с концом. Насчет того парня. В порядке, я вам это твердо обещаю. Его еще подержат пару дней, и вы его получите в сохранности, дурака. Представьте, доказывает свою правоту со страшной силой. Но дело, конечно, не в правоте. У нас, понимаете ли, майор, нет нормальных законов. Есть законность — так называемая. А настоящих законов, как были царские, нет. Царские законы были очень хорошие, а судебное дело — того лучше. К сожалению, это все в наших условиях совершенно не годится. «Правда и милость да царствуют в судах». Сбилась матушка Расея с панталыку. Ничего не поделаешь, валяный сапог... Кивейшу я вам — в обход законности. По нужде, сказал Петр, и закону премена бывает. Ничего. Ну, спите себе, раздевайтесь, ложитесь и спите. Со вставаньем не торопитесь, вы никого не стесняете. Слышите?

Он щелчком послал далеко в глубь темноты докуренную папиросу, прочертившую огненную дугу, и пошел к выходу.

— Спасибо, Гаврило Федорович! — поспешно сказал майор. — От души спасибо за Кивейшу.

Маршал, не оборачиваясь, помахал рукой, дескать, не стоит благодарности, сделано ради служебной пользы. Петр Сидорович быстренько снял с себя все — он спал обязательно нагишом, кроме как в полевой обстановке — потом, сообразив, что надо погасить свет, а выключатель далеко у двери, натянул трусики, чтобы не увидел какой-нибудь запоздалый прохожий бегающего в маршальском жилище голого человека, пересек комнату, поддел рыльце выключателя и в совершенной темноте безошибочно добрался до постели.

Трижды перекрестился, что делал неукоснительно, если никто не видел. Постель была хороша, Кивейша в безопасности, командующий умный человек и с тактом, не чета иным высокопоставленным болванам, вождь... ладно, все сие уяснится и утрясется. Спон, как говаривала когда-то Ольга, в шутку сокращая на советский лад «спокойной ночи». Ах, Ольга, я тебя любил, тебе единой по...

Майор уснул, не додумав своей еженощной, перед засыпанием, мысли о том, тяжко ли было Ольге умирать, если она умерла, или, если Бог сохранил ее в живых, то что с нею?

«В ночь перед баталией в обоих лагерях спало только двое: тот, кто обрежет другому брови и тот, чьи брови будут обрезаны». Какая чепуха!

Подушка выскользнула из-под головы, она лежала тут же, на розовато-сером в цветочных гирляндах ковре, гладкая, как восковая. «А когда же я включил свет?» — спросил себя Петр Сидорович, и тут только заметил, что стоит возле выключателя и смотрит на

свою почти не смятую постель. «А который же это час?» Он погасил свет, пожимаясь от холода, вернулся на тахту, по дороге прикрыв распахнутое окно, откуда лились упругие волны холодного воздуха, пахнущего свежей соломой и как будто чуточку — начинающими вянуть листьями. Было еще далеко до рассвета, на светящемся циферблате наручных часов стрелки показывали без четверти два. «Здорово выспался, я давно заметил, что иногда могу выспаться часа за три. Откуда это взялась такая фраза? Не то это я сам ее сказал, не то кто-то другой во сне. Как это? В ночь перед баталией... почему — перед баталией? — в обоих лагерях... тот, кто обрежет другому брови... Надо понимать, речь идет о полководцах, а обрезать брови, да, не обрить, а обрезать означает победить, оскандалить, оконфузить. Не могу припомнить, что́ снилось, а от этой глупой фразы я кажется проснулся. Ну-ка, обрежу я кому-нибудь брови, или мои будут обрезаны? Закурить.

Закурим, что ль, товарищ Джип...

А это еще что такое? Тоже приснилось?»

Но это было услышанное от Лоллия стихотворение эмигрантского поэта, возвращенца Феди Подгорного, длинное, вроде поэмы.

Закурим что ль, товарищ Джип.
Смотри, какой баварский вечер.
В такую лунь легко прожить
Воспоминаньями на свете.

И дальше, помнится, была такая строчка:

России вам не разделить —
Она не плитка шоколада!

Лунь это птица, а не лунный свет, и нельзя сказать «какой баварский вечер», баварский — это не качество. Мысли после сна тягучие и липкие, как нити расплавленного сахара. Спать, что ли, дальше? А насчет плитки шоколада — ей Богу, хорошо! Но вот теперь становится яснее вчерашнее. Меня включают в преторианскую гвардию диктатора и я обязан повести свою кавалерию на его противников, если таковые сразу не капитулируют. Политическая война, шито-крыто. Во что ты впутался, майор? Твое дело защищать родину, а не быть пешкой в ихних интригах. А это еще что такое?

Щелкнул ключ в замке. «Вы что же не спите?» — спросил голос Виктории Федоровны. «Ну, вот и приключение», — подумал майор скорее с неудовольствием, и сам спросил:

— А откуда вам известно, что не сплю?

— Известно, — сказала Виктория, приближаясь, — по огненной точке. По папиросе. Вы меня извините, я дверь заперла. Ну, и это

хорошо, что не спите, а то как бы мне вас будить? Зажгите, пожалуйста, свет.

— Видите ли... — смущенно сказал Иванов, — я, так сказать, раздет, а выключатель возле самой двери. Да это вы, Виктория Федоровна! Фу ты, черт, то есть, простите пожалуйста...

Бедный майор лепетал, сам не зная что.

— Конечно я, а вы думали... Ах, вот что! Нет, нет, это вы напрасно, там полная добродетель и преданность. И вообще мой визит... ну, вот, и я поплела околесную. «Визит»!..

Яркий и мягкий свет залил комнату. Виктория стояла у дверей, стройная и как бы ставшая выше, чем была днем, — оттого, что на ней было длинное платье-халат, в талию. Светлые волосы ее, в крупных скульптурных завитках, спокойно золотились над чистым гладким низким лбом и вокруг нежного, овального, но немного скуластого и оттого необыкновенно милого лица.

— Вот, теперь сделайте полуоборот налево и нажмите кнопку.

— Сделал полуоборот, нажимаю.

Виктория одновременно погасила верхний свет. На широкой низкой этажерке подле тахты, где лежал майор, засияло зеленое и голубое.

— Действительно, не догадывался. Думал, просто глобус стоит.

— Вы себе лежите, Петр Исидорович, и не стесняйтесь. Нате вам вашу майку, наденьте, если вы такой стыдливый. Дуся не догадалась положить пижаму Гаврилы Федоровича.

— Терпеть не могу пижам и всяких халатов. Или человек одет, или он раздет. Спит или бодрствует.

— Да, да, да! — с явным удовольствием сказала Виктория. — Вы такой и есть. Слушайте, вот что... Вы уж пободрствуйте часок, мне надо вам сказать — я вам обещала сказать секрет.

— Военный секрет?

— Он не военный, хотя это — как посмотреть. Имейте в виду, что я говорю сама от себя, а не от имени Гаврилы Федоровича и не по его поручению. Но я наверное знаю, что он бы поручил мне сказать это вам... если бы это было удобным. Но это неудобно. Щекотливо и так далее. Не спрашиваю вас, о чем вы с ним толковали — вы такой вопрос могли бы принять за... провокацию. Короче — я вам скажу, и вы уж сами соображайте, верить мне или не верить. Я ведь сестра Викторова! Слышали сегодня разговорчик? То есть, уже вчера. Ну, так вот, секрет простой: вашим «конникам» во главе с вами, конечно, придется в экстренном порядке двинуть в столицу, чтобы обеспечить там порядок и повиновение вождю.

Виктория вдруг всплеснула руками и, поддавшись всем телом к Иванову, всплеснула еще раз.

— Убейте же ее, вот она около вас! Моль, моль!

— Ах, вот что!

Всплеснул руками и Иванов, но тоже безуспешно. Он рассмеялся.

— Ну, да, — сказала Виктория, — думаете, баба: сейчас политика, сейчас и охота на моль! Но если она жрет все...

— Которая летает, не жрет, она ничем не питается. Портят вещи личинки.

— Да, личинки! — недоверчиво сказала Виктория. — Так что, скажете, вы об этом знали, догадывались — то есть, не о моли, конечно.

— Приблизительно догадывался.

— Приблизительно... ну, хорошо, пусть так, приблизительно догадывались. А что потом? А потом, дорогой товарищ, вас пошлют (еще более экстренно) в западном направлении, и вы должны будете «дать империалистам предметный урок на тему о нашем миролюбии». Об этом вы, надеюсь, не догадываетесь? Положа руку на сердце?

— Положа руку на сердце — нет, не догадываюсь. И... не верю.

— Ага, вы не верите. Так и запишем. Нет ничего удивительного. Догадаться об этом и трудно, если не иметь положительных данных. А положительные данные имеются.

— Вряд ли. Это же явная авантюра. Что вы смеетесь? Я не политик, но все-таки и не слепой. И потом: что это значит: «в западном направлении»?

— Германия и, скажем, Франция. Но достаточно бы и одной Германии. Смотрите, она села, села на вас! Да хлопните же ее!

Иванов хлопнул себя по колену, укрытому одеялом.

— Да не тут, на плече. Опять улетела. Не авантюра, а внушительная демонстрация. Вы думаете, это вызвало бы большую войну? Ошибаетесь, они скушают. Кушали уже подобные блюда не раз. Я собственно сказала это, чтобы вы знали заранее, только и всего. «Троянская война не состоится», есть, кажется, такая пьеса. А я смеялась не над вами, а — вот отчего. Вы себе представляете, чтобы в какой-нибудь стране — причем не только в реальной жизни, но хотя бы в книжке — женщина приходила ночью к мужчине, с которым познакомилась вчера, для того, чтоб вести политический разговор? Это бывает только в русской действительности. Но вы мне верьте, верьте, милый Петр Исидорович...

— Сидорович просто.

— Ну, до чего ж вы стильный человек! Ладно, Сидорович. Верьте, потому что я говорю то, что знаю определенно. Дело в том, что эта, как вы называете, авантюра — результат очень сильного давления со стороны нашего Великого Восточного Соседа. Понятно?

— Зачем Соседу это понадобилось?

— Вот уж этого я вам не скажу, не знаю. Разные можно строить догадки. И вы не говорите, что вы думаете по этому поводу, хотя в этой комнате нет ни микрофонов, ни магнитофонов. Это я тоже знаю наверное. Но молчите, не говорите. Потом что-нибудь случится — и вы станете думать, что я вас спровоцировала на высказывания. Не надо. И я вам еще скажу. Он тут. Вождь. Приехал вчера — «не в гости, но живот спасая». Поехал с Кащенко туда, к вам. Все втихомолку. Ганя, Гаврило Федорович, поедет вместе с вами, завтра, там будет открытое партсобрание частей округа. Или даже просто всеармейский митинг — для накачки. Сейчас туда перебрасывают части из Орехова, из Сурков — отовсюду. Скопин тоже ушился — туда же, иначе я не могла бы к вам прийти. О Скопине, о Лоллии Борисовиче, вы вероятно информированы. Существо странное и весьма опасное. Он собственно не чекист, то есть не эмгебешник — в смысле тащить и не пущать, но он сверхспециалист по настроениям. У него собственная информационная сеть повсюду, и вам очевидно неизвестно, что именно по его указаниям был выбран момент для морального перевооружения в ходе мировой войны. Я... его очень любила...

— Мне нужно это знать?

— Нужно. Вам все нужно знать.

Она неотрывно глядела на Иванова, мягко, ласково и грустно.

— Человек, продавший искусство за сомнительное благополучие. Положим, он чуть не издох с голоду, пока не выдумал своей гениальной системы сбора сведений. Он ведь все знает, понимаете, в с е. Его хотели выжать и выбросить, но просчитались. А какой был художник! Потом он малевал всякую чепуху, ради сталинских премий, но есть у него картинки — ах... И все пошло к черту, а главного он так-таки и не получил.

— Чего?

— Любимой. Да, да, он затеял вот это свое перевоплощение из художников в сыщики исключительно, чтобы завоевать Натку Глушикову. Милая, славная, обаятельная, не особенно красивая, жена друга его детства. Немолода уже. Живут в эмиграции пятнадцать лет. Скажи Ната ему: оставайся за границей и я брошу мужа — вот и лишились бы мы Лоллия Борисовича. Но она этого не сказала и никогда не скажет. И это вам тоже нужно знать.

— Зачем, Виктория Федоровна?

— Да уж нужно. Потом догадаетесь. Ну, вот, я вам рассказала столько интересных вещей.

— Спасибо.

— Не стоит благодарности. Теперь я вам скажу последнее. О Гане. Мы с ним друзья — и только, понимаете? У него... ну, не важно кто, но не я. Он совершенно замечательный парень, совершенно

замечательный, вы ему верьте, он никого в своей жизни не обманул и не подвел, а в наших условиях это — редкость. Какой он вояка — вам самому лучше знать. Какой он патриот и как ему больно именно потому, что он патриот, это я вам могу засвидетельствовать. Но опять-таки вы мне ничего не отвечайте — ведь я могу быть провокатором, правда? Молчите, молчите. Петр Сидорович. Вы видите, какая в стране создалась обстановка и к чему она может привести. Так вот, знайте, что он душой не покривит ни в чем, и принятому решению будет верен до конца. Беда лишь в том...

Она пересела на тахту и, задев лицо Иванова своей пахнущей чистотою и вялой розой одеждой, погасила светящийся глобус.

— ...беда только в том, что он не может принять решения. Все. Передача окончена. Покойной ночи, дорогие радиослушатели.

Она поднялась; Иванов, задохнувшись от волнения, протянул руку и встретил нежную гладкую теплоту.

4. СИНЕУСОВ ВАЛ

Синеусов Вал, место, где устраивался митинг (ему предшествовали открытые партийные собрания в частях), было открытое, привольное и веселое. Не было в тамошней природной картине ничего, что угнетало бы, тяготило бы взор и душу. Между лесом, отдаленное полукружие которого лежало легко и ровно, точно из двух сливающихся, приятных глазу оттенков — темно-аметистового понизу, темно-изумрудного поверху, — и рекой, видимой отсюда, с возвышенности, на многие версты, как плоская, широкая, небрежно легшая несколькими излучинами лента, здесь сверкающая искристым серебром, а там сизая, как бы чуть-чуть нахмуренная, — между лесом и рекой возвышался на юру тот спокойный ясный русский простор, та необыкновенная чистота самых скромных, самых неприхотливых линий и красок, то простое, как перелив пастушьей ивовой дудки очарование, которому невозможно противиться и которого нет в иной, не нашей природе.

И хотя от тысяч собранных здесь, внешне одинаковых, молодых, плотно обхваченных единообразием форменной одежды и воинского порядка людей исходил слитный шум, складывающийся из множества шорохов, постукиваний, позвякиваний и сдержанных голосов, все-таки над этим шумом и над мельканием человеческой массы огромным прозрачным слоем лежала и растекалась свежая, нетронутая, целомудренная тишина, исходившая от этой древней, скудной и пленительной земли, от переполненного сильным и мягким светом линяло-голубого неба, и от леса, выславшего перед собой

несколько стаек тонких, белокорых, в мелкой трепещущей зелени березок.

Тень от серенького, как зайчик, облака, неведомо откуда взявшегося в этой совершенно безоблачной чаще, быстро прошла от края до края возвышенности, задела стороной дальнюю луговую низину, где, как солнечные блики, лежали желтые пятна куреслепа, одуванчика, и — вдоль пологих берегов, где на топких местах зелень была погуще — сочные, по особенному яркие нежной и сильной желтизной, полчища кудрявого дикорастущего ириса.

И едва прокатилась, подобная лиловатой вуали, тень, как во встречном направлении, от спрятавшегося за круглым холмом сельца, вынеслась немалая стайка голубей, покружилась, разбилась надвое, снова собралась воедино, описала плавный полукруг и, мелко сверкнув на солнце опереньем, враз и дружно повернула назад, будто вспомнив о позабытом там, откуда только что прилетела.

В ложбинке, очень похожей на древний, в незапамятные времена выкопанный ров, длинной, метров сорок, неширокой и неглубокой, с твердым плотным верхним слоем почвы, изобилующим мелкими белыми и красно-бурыми камешками, удобно и привольно устроился батальон майора Иванова. Одни чинно сидели вдоль края ложбины, опустив ноги, другие полулежали, как это делают солдаты и ученики, снимаясь на групповых фотографиях, третьи расположились на самом дне, усевшись по-турецки и едва возвышаясь макушками над краями рва.

— Чесноков! Эй, Чесно-ко-ов! — усердно выкрикивал, прикрыв рот сложенной навесиком ладонью, маленький белобрысый солдатик с таким свежим и крепким румянцем, пробивающимся сквозь густой загар, что щеки его ни дать ни взять походили на сизо-багровые яблочки-калмыки. Товарищи этого солдатика, всякий раз, как он окликал нужного ему Чеснокова, оборачивались и глядели с несомненным одобрением.

— Нету его, покинь, — сказал широколицый бледный солдат, усердно занимающийся исследованием покроя своих брюк. Он то вытягивал ногу и проводил пальцем по шву сверху вниз и снизу вверх, что-то соображая, то, приподняв гимнастерку, глядел, как притачан брючный пояс и клапан гашника, то, наконец, приглядывался к штанам сидящих и лежащих товарищей. Этот солдат — фамилия его была Белый — в гражданской жизни тракторист, был одержим прочным интересом к портняжному ремеслу. Ему казалось непостижимым, как это из мягкого плоского материала портные ухитряются делать одежду, ловко приноровленную к сложным формам тела, послушно облекающую его и следующую его движе-

ниям. Интерес был сильный, постоянный, но скорей отвлеченный: Белый, кажется, не сумел бы и заплатки сам поставить.

— Да что покинь! — возразил маленький. — Он должен тут быть, куда ему деваться!

— Может, по приказанию куда отбыл, не то в наряде.

— Где в наряде! Я наряд знаю. Чесно-ков! — снова крикнул солдат, и вдруг, усердно заводив головой, обрадовался и соскочив с места вознамерился пробраться к другому концу ложбины.

— Сиди, куда ты! — потянул его за плечо Белый.

— Да вон он, Чесноков, глянь, на той стороне, глянь, сюда идет!

— Ну, идет, так и добре. Слышь, Чесноков, — обратился он к подходившему довольно высокому, стройному и ловко двигавшемуся парню с лицом вовсе некрасивым и грубых черт, но крайне располагающим. Это лицо молодого двадцатилетнего человека выглядело как бы измятым, изборожденным глубокими морщинами, как бы местами припухлым — лицом актера, развитым профессиональной мимикой и поврежденным гримасами. На самом же деле лицо Чеснокова было вполне гладким, юношеским и лишенным морщин и бугров. Но оно было и впрямь лицом мима: оно находилось в постоянной смене выражений и оттенков выражений — смене, происходящей быстро и неуловимо. Крупные, топорные черты были в действительности отличным чутким инструментом, и вероятно поэтому контраст внешнего с внутренним, да временами еще мимолетная, снисходительно-ироническая по отношению к себе самому усмешка, составляли интеллектуальную прелесть и лица, и личности Чеснокова, его (заимствуя с украинского) ч а р.

— Ну, слышь, Чесноков, — повторил Белый, заранее улыбаясь ожидаемому ответу признанного шутника и заводилы. — Что же ты кореша покинул, чудак?

— Чудак петух, — ответил Чесноков незамысловатой поговоркой, совершенно машинально, но все слышавшие дружно засмеялись.

— Когда бы уже скорей начали, — молвил высокий, на редкость тощий, темный лицом черноволосый молдаванин, укладывая свое долгое узкое тело поперек ложбинки, так, что голова и плечи выглядывали наружу, а тонкие ноги упирались в противоположную стенку рва.

— А что тебе, плохо тут? — живо возразил маленький солдатик. — На тактической лучше, что ль? Тут все равно, что личное время, ничего не надо делать, эх, красота! Правду я говорю, Чесноков?

— Чистый воздух, и мух нет, как сказал поэт, — отозвался Чесноков, и опять все с готовностью захохотали, а маленький так и

впился в него восторженными глазами: ну, мол, друг, отчуди чего еще позабористей! Но Чесноков не разбрасывал шуток походя.

— Тут есть такое соображение, ребята, — сказал он, — только не трепаться: пиво привезли! Ша, тихо! — с большим зарядом повелительности успокоил он взволновавшихся товарищей. — Сейчас мы это дело организуем по-боевому. Поддедюлин! — повернулся он к маленькому солдатику. — Собери деньги со всего взвода, по кружке на гаврика. Хватит, а то налижетесь. Теперь ты ступай до буфетчицы, Клава ее звать, не с фронта, а с тыла (солдаты сдержанно фыркнули), как спустишься с горки, сейчас направо, обойди за кустами. Скажешь: от Валерия, мол, и деньги отдай, и сюда вертайся. А вы, ребята, ну, кто? Вачнадзе, Ойхман...

— Давай, я пойду! — вызвался долговязый молдаванин.

— Лады. Валяй, Лупеско, будешь нести сторожевое охранение, тебе издаля все видать. По одному, по-пластунски, во-он тропкой напрямик. Бочонок в гору катить помалу, а видите группу белых валунов? Тут мы подхватим. Вдоль ложбины не идти, понятно? Второй взвод заметит, начнется волынка, а мы, как получим пиво, им скажем — нехай себе организуют. Все. Действуйте!

— А эта, как ее, Клава, знает? — осведомился Ойхман.

— Знает, сказано тебе. Есть договоренность. Да Поддедюлин уже там.

Солдаты отчетливо, как бы действуя по уставу, принялись исполнять приказание Чеснокова. Конечно, он никому не мог отдавать никаких приказаний, тем более, что Вачнадзе, чернокудрый удалец, был старше по положению, но здесь был не строй, а товарищеская проделка, требующая однако согласованности и подчинения одной воле.

Механическая кавалерия не включала в свои ряды Тюх да Матюх, здесь были парни на подбор: волевые, инициативные, быстро соображающие и с молниеносной моторной реакцией. И все-таки это были славные, простые и вместе с тем очень сложные люди, русские солдаты, в энном поколении потомки не только суворовских чудо-богатырей, но и тех сермяжных ополченцев, что во времена ли Минина с Пожарским, во времена ли Дмитрия Донского, отстаивали родную землю, не щадя ни своего, ни вражьего живота. И едва ли белые да желтые камешки, смешавшиеся с осколками ледниковой морены, не были кусочками костей предков, на смерть стоявших когда-то здесь, на порубежной полосе.

И здесь же, на древнем порубежье, на стыке Запада с Востоком, Севера с Югом, на пути из Варяг в Греки, на сторожевом посту двух российских столиц, войска государства, склепавшего воедино десяток крупных народов и сотни этнических ветвей, пребывали в самом странном и неестественном состоянии. Не раз войскам Российской

державы приходилось воевать не за насущные интересы страны, а за интересы династий и групп, не раз приходилось выступать в защиту чужих государств, лить кровь за тысячи верст от родины, кого-то замирять, что-то завоевывать, спасать ценою миллионов своих жизней то немцев от французов, то французов от немцев. На протяжении веков воины народа, управляемого чуждым народу правительством, совершали чудеса отваги и долготерпения, получая в награду еще горшее рабство и гнет.

Но Российская держава оставалась все же Российской державой, и хорошо ли, худо ли велась внешняя политика, справедливы, несправедливы были ли войны, возникавшие в результате этой политики — все равно отношение народа к власти было внутренним российским делом, и каждый, от императора и первого министра до последнего мужичонки, неграмотного и искренне считающего соседнюю деревню чем-то вроде заграницы, понимал или чуял это.

Теперь же, четыре десятка лет в стране не прекращалась многообразная, то явная, то тайная гражданская война. Народ и власть были смертельными врагами даже в исторические моменты иностранного нашествия, когда народную душу раздирали чудовищные противоречия.

На краю громадной прямоугольной площади, где расположились слушатели, на фоне леса, у возвышения с возведенной на нем дощатой, затянутой кумачом эстрадой со столом для президиума и ораторской трибуной, произошло движение. На эстраду поднялись люди в военной форме и в штатской одежде. А за их спинами и с обеих сторон плотно, стенкой в несколько рядов, встали охранники. Задвигалась и вся аудитория митинга — подымались с мест, вытягивали шеи, стараясь рассмотреть появившихся на эстраде, устраивались поудобней, приготовляясь слушать. Полубегом прошли люди из радиобатальона, проверяя усилители и проводку.

— Товарищи!.. — прозвучал огромный, мало похожий на человеческий голос, сопровождаемый множеством хриплых и звонких призвуков и шумов.

— Товарищи, — повторил голос, но уже совершенно отчетливо и чисто (техник отрегулировал звук), — от имени партийной организации частей Порубежного военного округа и от имени... — голос, принадлежавший командующему округом маршалу Солдатенко, выговорил следующие слова особенно старательно, с напором... — и от имени областного комитета Коммунистической партии Советского Союза... объявляю митинг воинов Энского округа открытым! Слово предоставляется...

Сидя в президиуме, на правом конце стола, ближе к трибуне, майор Иванов видел почти прямо перед собой широкую спину приземистого человека, обтянутую отлично сшитым кителем серо-оливковой ткани, видел желтоватый загривок, двумя жирными складками лежащий на низеньком стоячем воротнике, отливающий серебряной щетинкой, слегка оттопыренные розовые уши (казалось, они шевелятся в такт словам).

То, что говорящий говорил, не было ни глупостью, ни шутовством, хотя форма, в которую он облекал свои мысли, была вульгарной и нарочито упрощенной. Облик вождя, внушительный и вместе комичный, вызывал скорее представление о каком-нибудь заслуженном артисте на роли простака. Кое-что в манере этого опытного демагога было подлинным, шедшим от его нравственного и телесного состава, но солдаты в массе, как и дети, как и всякая безличная толпа, необыкновенно чутки и безошибочно различают не только явную нечаянную фальшь, но и дозировку выработанности, искусственности.

Стандартную первую часть своей речи вождь кончил скоро. Страстишка к ораторскому водолейству не затемнила в нем его большого здравого смысла, а этот последний требовал, чтобы речь, приличия ради, походила на обычную, чтобы не прозвучала откровенной тревогой. Однако, нотки тревоги появились, едва началась основная часть речи и было сказано то, ради чего вождь прибыл в Порубежье.

— . . .Здесь присутствуют товарищи коммунисты — члены партии и комсомольцы частей орденоносного Порубежного военного округа, и в значительно большем числе — беспартийные товарищи. История привела нас к такому ее пункту, где начинает стираться различие между партийным и беспартийным. Вот почему я с полным сознанием ответственности могу говорить здесь о таких вещах, о которых когда-то могло говориться только на закрытых партийных собраниях, больше — на закрытых заседаниях руководящих партийных органов, товарищи! Тогда такие вопросы обсуждали единицы, несколько человек, а сейчас здесь находится. . . я приблизительно подсчитал. . . может быть, ошибусь на тысячу-другую. . . находится пятнадцать тысяч, шестнадцать. . . двадцать две тысячи человек.

— Двадцать три тысячи шестьсот. — подсказали из президиума.

— . . .Двадцать три тысячи шестьсот человек, дают мне справку, ошибся на тысячу шестьсот человек, я на глазок прикинул. Вот перед такой обширной аудиторией, перед такой обширной аудиторией я скажу вам, в чем дело, которое является нашей общей заботой, общей заботой. . . Я уже говорил о необходимости самой высокой бдительности. Но. . .

Майор перевел глаза на равнину, скользнул по ближайшим рядам. Тысячи взглядов, разноцветных парных прожекторов, скрещиваясь, напряженно всматривались в оратора, как бы измеряли его толстую фигуру, шарили по лицу, погонам, орденской колодке, пуговкам, пренебрежительно похлопывали по лысине, давали в нос легонького щелчка, потом выходили из фокуса и снова возвращались, впивались неотрывно, пробуя различить неспокойно и воровато бегающие зрачки и прочесть их выражение.

— ...Но, товарищи, мы не были бы большевиками, мы не были бы последователями великого Ленина, мы не были бы гражданами первого в мире государства трудящихся, если бы не понимали, вот это самое, что, как гласит народная русская пословица, э, знаете, она так гласит, я скажу буквально, поскольку мы тут люди свои, что вот, плохая та птица, которая в свое собственное гнездо, извините за выражение, пакостит, то есть гадит...

Чтобы дать слушателям возможность впитать в себя эффектное речение, оратор остановился, выдернул ослепительно белый огромный платок, утер мясистый лоб, обе пухлые щеки, провел платком под носом, спрятал платок в карман и отпил из стакана немного минеральной воды. Сигнального хлопка не последовало, так как фраза была лишь заглавной виньеткой к важному разделу речи и не следовало отвлекать внимание слушателей. Теперь уже, почуяв, что начинается что-то важное, аудитория насторожилась, и майор Иванов тоже.

— ...Не секрет, товарищи, что такая птица, такие птицы в нашей среде имеются, которые занимаются неопрятным делом, которого никакая хорошая хозяйка не потерпит, которая не хочет, чтобы там, где все аккуратно, чин чином, вдруг появлялись грязные отбросы, которые на руку врагам нашего строительства, то есть навоз. И мы такую неопрятную гадящую птицу обязаны, скрипя, как говорится, сердцем, взять, знаете ли, за ее длинный ревизионистский хвост и решительно выбросить из нашего чистого гнезда, да, товарищи.

— Я, товарищи, по профессии шахтер, и скажу по-нашему, по-шахтерски, без церемоний, что раз меня высокое доверие облекло... раз меня облекла страна высоким доверием, поставив во главе руководства, так уж давайте не будем заниматься потакательством этим поддонкам (отчетливо расслышалось двойное «д»), этим отпещенцам (отчетливо расслышалось «п» и за ним «щ») нашего социалистического общества, победоносно шествующего в светлое коммунистическое будущее... Что же теперь получается? А получилось то, что соединились они, оба крыла неаккуратной птицы, правое и левое, ревизионистское крыло с догматистским крылом. И когда это позорное противоестественное соединение произошло, то не замед-

лило оказаться, что этот гнусный блочек составил заговор — я подчеркиваю это слово — именно заговор против партии. Им понадобилось расколоть единство нашей ленинской партии, и они этого в известной степени добились!..

Вторую часть речи слушали со вниманием все. Даже неизбежный при таком большом скоплении народа шумок, образующийся от сложения десятков тысяч почти неслышных движений, легких покашливаний, шмыганья носом и шепотов — и тот не доносился до президиума, поглощаемый открытым пространством.

— ...Это бы еще ничего, партия не раз справлялась с подобными попытками, даже в самой напряженной обстановке. Она неизменно перемалывала их и восстанавливала железное, нерушимое, большевицкое ленинское единство, а заговорщики с ихними ложными теорийками обязательно бывали биты. Будут биты и эти! — воскликнул оратор злобным металлическим тенорком, вдвое громче основного тона речи.

— Должен вам объяснить кое-что из этого дела, товарищи. В практике политической жизни такие связи бывают и они не всегда являются злонамеренными и преступными, это, так сказать, техническая, чисто техническая сторона дела. Разведчики всего мира обмениваются известного рода данными, это у них уж так заведено... конечно, самого важного не говорят... хе-хе... но довольно важные... иногда, знаете, довольно важные сведения служат объектом такого обмена. А иногда руководителям государства даже бывает выгодно, удобно дать определенные данные другим государствам не официальным путем и не через прессу, а вот именно такими каналами. Я это объясняю, эту кухню, для того, чтоб вы понимали, что мы, и я лично, не страдаем шпиономанией и не раздуваем каждого технического пустяка. Думаете, вот об этом настоящем собрании и о моем выступлении не будет завтра же известно за океаном? Безусловно будет!

По поляне пронесся легкий ропоток. Заявление вождя произвело эффект.

— ...И я не в обиде за это. Что должно быть совершенно засекречено, то засекречивается крепко и у нас! Мы в Шерлок Холмсы не играем, шпионской романтикой не интересуемся ради шпионской романтики. Вот это собрание не технический пустячок, оно имеет немалый вес и мы не будем трубить о нем в газетах и по радио. Но я обращаюсь к работникам иностранных органов информации, присутствующим здесь (хотя можно по спискам проверить весь состав присутствующих и не найти никого подозрительного по этому вопросу), и говорю: господа, ваша работа дело житейское, сумеете словчиться — валяйте, а если поймаем и уличим — значит, вы пло-

хо работаете, ваше начальство вас за плохую работу по головке не погладит... (Раздался общий, негромко прокатившийся по собранию смех). Впрочем, я уверен, что словчитесь, так тому и быть (смех погромче), так тому, значит, и быть, делайте ваши сенсации, только поменьше врите! (Взрыв смеха). Я заявляю, конечно, не для сенсаций капиталистической печати, а заявляю вам, сыны трудового советского народа, что деятельность право-левацкой кучки заговорщиков зашла по пути измены родине настолько далеко, что на сегодняшний день мы имеем... на сегодняшний день мы имеем в столице определенную попытку совершить мятеж по образцу венгерского...

Говоривший остановился. Ни одного звука не донеслось ниоткуда..

— ...Налицо — попытка совершить государственный переворот, в полном соответствии с планами, разработанными в кабинетах соответствующих министерств иностранных империалистических держав. Это не пустячки, дорогие товарищи!

— Вот о чем я вам сообщаю, товарищи воины советской армии, сообщаю открыто, как родным людям, преданным патриотам нашей прекрасной и дорогой родины. И — призываю вас, по первому приказу грудью встать на защиту родной страны от грязных посягательств агентуры иностранного капитала.

— Пусть в решительный момент сердца ваши бьются в такт с сердцами гражданского населения, всего трудового народа, чтобы без колебаний доблестно исполнить свой долг согласно данной присяге. Да здравствует родина! Да здравствует сплоченное единство народа с законным, конституционным правительством нашей свободной страны! Да здравствует наша славная советская армия! Да здравствует наша непобедимая, великая партия, ведущая нашу страну к коммунизму!

Вождь сложил в пожатие кисти своих коротких рук и, подняв их над головой, энергично потряс ими несколько раз. Из президиума затрещали частые слаженные аплодисменты, сейчас же подхваченные другими слушателями. То ли открытое пространство и отсутствие эхо, то ли что другое было виной, но хлопанье вышло совсем негромким, точнее — просто жиденьким.

В президиуме поднялся командующий округом и, пока оратор возвращался на свое место, передал слово первому секретарю обкома партии Кащенко.

Хотя он решительно ничем не проявлял в своей руководящей деятельности крамольных взглядов, высказанных им вчера за чайным столом у командующего, тем не менее таинственное чутье подсказывало населению смутные симпатии к этому «Неру», как называли Якова Абрамовича за его индусскую внешность (и очевидно за либерализм). Кащенко несомненно был человеком вождя, ланси-

рованным им в период «оттепели», и продолжал пока что пользоваться доверием главы диктатуры.

То, что Кащенко сказал, было согласовано заранее. Оно, это сказанное, было ценно, как тактический ход, прием психологического воздействия. Смысл сказанного был приблизительно тот же, что заключался в позиции Владислава Гомулки, предостерегавшего польский народ от крайностей.

— Мое мнение, товарищи: долг каждого из нас рассуждать трезво. А рассуждать трезво значит учитывать, что противники генеральной ленинской линии, поднявшие в настоящее время голову, поступают как тот франт, который, придя в ресторан, заказал себе устриц, рассчитывая заплатить за них теми жемчужинами, которые он надеялся найти в ракушках этих устриц. Право-левацкий блок хочет заставить нас таскать для него каштаны из огня, уверяя, что стоит им, оппозиционерам, прийти к власти, как моментально, в два счета, наступит полное блаженство. А я утверждаю, что наступит... — оратор перевел дух и выговорил ясно и твердо: — что наступит возврат к худшим временам культа личности, к бериевщине, к ежовщине.

— К сталинщине! — крикнули из самого центра собрания. В президиуме у многих прошла по телу дрожь. До сих пор на собраниях, даже на таких, где Сталина явственно осуждали, словечко «сталинщина» было табу. То, что это словечко прозвучало сегодня из массы здесь, заключало грозное предостережение: масса отваживается называть вещи своими именами. Кащенко сказал:

— Не думаю, что это определение верно. Иосиф Виссарионович Сталин, при всех своих достоинствах и недостатках, был, и в истории останется, подлинным борцом за социализм, за коммунизм. Он строил государство, — и это нельзя называть «сталинщиной». А право-левые «устричники» хотят это государство развалить. Товарищи! Государство наше строил не один товарищ Сталин, и не одна коммунистическая партия, а все мы, двести с лишним миллионов человек, и этого не вычеркнуть из истории. Мы это государство не отдадим никому! Ни тем, кто хочет увести нас прочь от социализма, ни тем, кто собирается отбросить нас к недоброй памяти временам ежовщины. Ежовщины, а не сталинщины! Что было, то прошло, и возврата к нему нет и не будет, товарищи советские люди! Но не будет и ухода в ревизионизм, в социал-предательство, на кривые тропинки, ведущие прямехонько в кабалу нью-йоркской бирже! Что делают эти господа, ополчившиеся на линию нашей партии? Одни из них клянутся именем Сталина, другие называют его тираном. Но это разногласие не мешает им объединиться против партии, против народа, и будьте уверены, что если они добьются своего, то — тирана не будет!

Кащенко сделал паузу...

— А будут тиранчики, деспоты и сатрапы — беспринципная шайка жадных до власти авантюристов, которые ввергнут нашу страну в неслыханные страдания, разруху, нищету, в сравнении с какими наши теперешние трудности и недочеты покажутся величайшим благополучием. Нет уж, давайте держаться своего, ленинского пути, и общими силами добиваться общего достатка, порядка и строгой законности!

Сделав энергичный жест, будто пристукнув кулаком заключительную точку, секретарь обкома кивнул головой собранию и скромненько пробрался к своему стулу в президиуме. Кащенко долго хлопали — к его смущению, гораздо дольше, чем первому оратору.

От рядового и сержантского состава выступил, как было заранее определено, младший сержант Коньков. Говорил он жеваную-пережеваную чепуху о прилежании, с коим «воины нашего подразделения и всего округа овладевают сложным военным искусством». Услыхав нетерпеливое постукивание карандаша в президиуме, оратор поспешил провозгласить надлежащие здравицы, и под разрозненные хлопки нырнул во второй ряд президиума.

После декоративного выступления представителя масс, по сценарию, полагалось бы дать заключительное слово вождю, а затем маршал Солдатенко, огласив «поступившую в президиум резолюцию», поставил бы ее на голосование и после само собой разумеющегося единогласного принятия сказал несколько десятков внушительных слов, после чего закрыл бы собрание. Но младший сержант оказался не на высоте; после его заученного лепета эффект предыдущих выступлений был почти сведен на нет.

— Я думаю, товарищи, — сказал, выпрямившись и опираясь согнутыми фалангами пальцев о стол, маршал, — я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в войсках нашего округа, в среде наших патриотов-воинов существует твердая и непоколебимая решимость зорко охранять целостность нашей дорогой родины и замечательные достижения общенародного строительства коммунизма. Мы готовы в любой момент доказать эту решимость боевыми делами. Я предоставляю слово честному заслуженному воину, выдающемуся специалисту нового, технически совершенного оружия, члену Коммунистической партии Советского Союза, скромному советскому человеку... командиру отдельного батальона Тэ Ка Дэ майору Иванову.

Майор, получивший десять минут тому назад лаконическую записку маршала: «Приготовьтесь выступить. Несколько слов, но крепко!», — был неприятно озадачен помпой, с которой командующий преподнес его митингу — вроде того, как ведущий концерт конферансье преподносит публике знаменитого артиста. Майор был спокойным, уравновешенным человеком, отлично владевшим собой

во всех случаях жизни; далекий от записного ораторства, он тем не менее умел говорить публично (как почти каждый советского воспитания человек), но когда разразились «бурные аплодисменты, переходящие в овацию», не по газетному шаблону, а самые настоящие, он понял, как велика его популярность — и смутился. Что же он должен сказать — и что он может сказать верное, искреннее и нелукавое, отличное от прозвучавших над этой чистой поляной лицемерных политиканских, с двойным донышком слов?

Мягко и четко, как все, что он делал, Иванов поднялся, отодвинул свой стул и за спинами президиума прошел к ораторскому пульту. Аплодисменты усилились. «Вот, поди, свирепеет», — подумалось ему, когда он проходил мимо толстого загривка вождя.

— Товарищи, — начал он, не заботясь о плане своей речи, зная, что вслед за трафаретным обращением мысли, если им дать свободно литься, сами облекутся в нужные слова. — Взгляните вокруг себя. Взгляните на это тихую светлую поляну, на эту даль, на лес, на реку — это наша родимая земля, это наше отечество, простирающееся на многие тысячи верст во все стороны, кроме этой (он указал на запад). Здесь наше Порубежье, здесь стоим мы, здесь, где много раз на протяжении нашей истории стояли, двигались и бились рати наших предков, таких же, как и мы, трудовых людей, крепких и сильных силой, взятой от этой священной земли и обращенной на ее целость, единство и независимость. История поставила нас сегодня, поставила нашу страну на самое решающее, самое значительное место — мы горды этим. Наш советский народ, как и все народы земного шара, а верней будет сказать — БОЛЬШЕ, чем все народы, жаждет мира и мирного развития. Великий Ленин и созданная им коммунистическая партия (Иванов с трудом удержался, чтоб не промолвить этих, диссонирующих с общим тоном его речи слов скороговоркой — произнес однако вполне раздельно) проложили нам путь. Мы сегодня услышали с этой трибуны известия о том, что этот путь не всем нравится, не всем по душе. В старое время считалось, что армия вне политики. А я скажу, что наша солдатская политика проста и ясна: охранять и отстаивать спокойствие нашей родины от каких бы то ни было посягательств. Мы это делали в прошлом, и так поступаем в настоящем. Мы сознаем свой долг и при любых обстоятельствах его выполним до конца, все до единого!

— Поэзия! — успел расслышать Иванов за своей спиной ворчливый тенорок вождя, и сейчас же загремела вся поляна, и уже гулкости этого грома не мешала акустика открытого места. Еще не отойдя от пульта, Иванов видел, как несколько человек в расположении его батальона поднялись во весь рост и что-то выкрикивали. «Фу ты, черт, обругался майор, вот еще батальонный патриотизм!

Что они, на бис меня вызывают, что ли?» «А сказанул, кажется, эн-че-эс», — подумалось ему почему-то припомнившимся со школьных времен шифром. Эн-че-эс значило «ничего себе». — «Этот дядя зол, зачем я не отштамповал насчет верности партии и правительству, похлеще. Накося-выкуси...» Он ощутил внезапный прилив ненависти к диктатору-хамелеону, прикидывающемуся на трибуне этаким мудрым простачком и показывающему клыки на близком расстоянии. «Генеральский китель напялил, дерьмо этакое»...

Майор сидел уже на своем стуле, а возбуждение не утихало. Нет, не могло это быть энтузиазмом, вызванным его речью. Что они орут?

— Что они орут? — спросил вождь тревожно, прислонив развернутую ладонь ко рту, так что звонкий шепот, проскользнув над столом, достиг уха Иванова. В этот момент майор разобрал и одно слово из того, что кричали снизу: «Кивейша». Маршал Солдатенко встал и протянул руку с отогнутой назад ладонью.

— Спокойствие, товарищи. Сядьте, товарищи, — пригнувшись к микрофону, сказал командующий.

Собрание стихло, стоявшие сели, кроме одного (теперь Иванов рассмотрел, что это был долговязый Чесноков из первого взвода).

— «...для внеочередного заявления...» — расслышался конец его фразы. Он продолжал говорить:

— Поступили, дело в том что, сведения в отдельный батальон, и другие товарищи подтверждают относительно...

— Прошу сесть, я вам слова не давал! — рявкнул поверх микрофона маршал, и рубанул рукой наискось от себя, как бы смахивая выросшее перед ним никчемное препятствие. — Чесноков сел, но сейчас же поднялся снова. — Прошу соблюдать порядок, заявления в конце собрания. Товарищи, заключительное слово имеет...

Но на поляне стал наростать слитный говор, как будто и не особенно громкий, но могучий, как шум вершин.

— Подите, наведите порядок, — приказал Солдатенко майору. — Это у ваших, стыдно!

Майор встал, надел фуражку, ушел.

*

Те же самые солдаты, всего час с небольшим тому назад пошкольнически перекидывавшиеся шутками и от души радовавшиеся возможности побыть на чистом воздухе, вне докучных рамок строевой дисциплины, те же, привычно внимавшие речам и, казалось бы, лишь смутно улавливавшие в этих речах нотки тревоги, владевшей их начальниками, те же, хлопавшие не точному смыслу этих речей, а тому, как они были произнесены, — сейчас странно

изменились и стали уже — не те. И начальники, ряд десятилетий работавшие с «массой», «людским материалом», привыкли чутьем схватывать массовые настроения и оттенки этих настроений. Маршал внушительно хмурился, вождь сердито двигал пухлыми щеками, но не гнев и раздражение чувствовали они. Давно этими профессиональными психологами было усвоено, вошло в кровь строгое правило, что руководителю в его отношениях с массами не позволено никаких эмоций. Ни на секунду не терять над собой контроля, быть готовым в любой момент изобразить радость, гнев, презрение, восторг, веселость, огорчение — то, что требуется обстоятельствами. Чувствовать можно только свою ответственность; она обязывает все отчетливо видеть, слышать и соображать, чтобы найти верное решение и со всем напором его осуществить. В о л ы н к а, — сообразили начальники, — признаки волынки. Насколько она глубоко задела сознание этих тысяч молодых сильных людей, к у д а о н а р а с т е т — сейчас еще нельзя было распознать. А распознать — значило выбрать меры пресечения, от окрика, от шутки, от обещания, от ловкой обманной уловки — до пулеметов.

Начальники не были возмущены — они напряженно наблюдали и соображали.

«Повезли, на рассвете расстреляют», — горячим приглушенным и безудержно рвущимся, как пулеметная очередь голосом выговорил старшина Рябов, встретя майора в дальнем конце рва. «Глупости мелешь, обеспечено дисциплинарное взыскание, военная прокуратура дело закрыла», — отвечал майор уже не одному Рябову, но и Чеснокову, и Ойхману, и Белому, и десятку других солдат, обступивших его. «Да и если бы суд — все равно, во-первых, не расстреляют, во-вторых — пройдут недели разбирательства, я вам говорю». Солдаты притихли. «Встаньте, как полагается!» — сухо, но смеясь глазами приказал майор. «Почему водкой от вас?» «Пивом, товарищ майор!» — уже весело отхватал Ойхман. — «Пиво мы перехватили, организованным порядком, из буфета, выпили по кружке, конечно. Как можно — водкой!» «Разрешите обратиться», — ласково сказал Чесноков, — «товарищ майор, для вас оставили, холодное, закутали. Порядок!» «Прекратить разговоры!» «Приказано прекратить разговоры», — принял приказание старшина и повернулся к солдатам: «Прекратить разговоры!» Майор прошел вдоль ровика, сорвал ветку полыни, понюхал.

— Где пиво? — спросил он тихо у Чеснокова.

— Тама, в кусточку, секундочку, товарищ майор... — вскинулся было тот, но майор сказал строго: «Сидеть спокойно!» — и проворно разыскал укутанную в газеты, тщательно прикрытую и пере-

вязанную, вкопанную в землю стеклянную кружку с янтарным холодным пивом. Выпил пиво, облизался, утерся платочком, закурил папиросу и не спеша пошел докладывать маршалу, что порядок наведен.

На краю поляны, у низкорослого орешника, стояли Лоллий Борисович с полковником Дымбой. Завидя майора, Лоллий помахал ему сложенной газетой.

— Витенька вас приветствует, майор, очень приветствует. Быть вам в больших чинах. Вы женаты?

— Вот тебе раз! — ответил добродушно Петр Сидорович. — Приветствует, в больших чинах, женат ли. Какова ассоциация идей, Лоллий Борисович!

— Ну, да! Умгу!

— Примечайте, Сидорович, — сказал полковник, — вы на поворотном пункте истории. А своими мальчиками вы повелеваете изумительно!

— Да! — Лоллий, всматриваясь в гущу людей на поляне, дотронулся до майорского кителя. — Все что угодно, но так владеть людьми, как вы — это нужно действительно быть Суворовым или «маленьким капралом». В два счета примирились с неизбежным, и — молчок. А как начинали рычать!

— Чего зря рычать? Я им просто сказал, объяснил, что с Кивейшей ничего такого не случилось.

— И сразу поверили?

— Я им никогда не вру. Простите, я пошел доложить.

Майор козырнул и двинулся дальше. Лоллий догнал его.

— «А русская женщина, она — как песец: кусается, но драгоценна». Это у Сельвинского в «Пушторге», дорогой майор. Пожалуйста никогда, слышите? никогда обо мне плохо не думайте, я вам совершенно искренне говорю. Я вам поперек дороги не стану, и прямо скажу, почему.

— То есть решительно ничего не понимаю, Лоллий Борисович.

— Я не люблю ее.

Майор едва сдержался, чтоб не фыркнуть.

— Очень... э, тронут доверием, но при чем же тут я?

— Неужели не нравится? Ах! — спохватился Лоллий, — я забыл, что вы не в курсе. С Ганькой у них фиктивный брак.

— С Ганькой?

— Боже мой, мы тридцать лет приятели. С Гаврилой Федоровичем. У них — это длинная история — никакого нет супружества, а пришлось сделать вид. И вот, тянут эту меледу. Короче, если имеете виды, то действуйте безо всяких, она от вас в восторге. А вот кто тут действительно ни при чем, так это я. Теперь понимаете?

— Вы что... по поручению, что ли, мне сообщаете?

Лоллий страдальчески возвел глаза к небу.

— Слушайте! Я нехороший человек, и даже в этом не каюсь. Но почему вы хотите непременно считать меня прохвостом?

Он очень грустно сказал это.

— Никаких поручений. Я, видите ли, единоборствую с судьбой, потому-то я и нехороший. А судьба стерва: она мне все подсовывает второстепенные блага: влияние, деньги, политиканство — и отнимает то, что мне больше всего дорого.

— Вот как?

— Да, майор, так. Мне же все опротивело до такой степени, что если я не вернусь к искусству, вернее, если оно ко мне не вернется, или... одним словом, я последую за вашим Кивейшей в страну теней.

— Что вы говорите? Почему за Кивейшей, в страну теней?

— Так его же ликвиди...

Лоллий поразился, увидя, как глаза Петра Сидоровича, в точности как это случается с глазами кинематографических актеров, выкатились и стали круглыми. В это время усилилась громкость сыпавшейся из громкоговорителей речи.

— ... доверия! Успехи одно, и таланты, так сказать, одно, но если мы хотим, во исполнение священных слов присяги советского воина, защищать от презренных посягательств нашу родину и ее ленинскую партию, дак мы должны железной рукой пресекать и беспощадно карать всякое разгильдяйство, как измену. Изменник Кивейша понес заслуженную кару, понесет ее, чтоб другим неповадно...

Не ропот, не рычание, а настоящая буря покрыла, разметала, растерзала речь вождя, и, непрерывно нарастая, буря эта гремела над вечереющим ландшафтом, вероятно, доносясь до самого горизонта. Никто не догадался выключить усилители.

Майор перестал таращиться на Лоллия, поднес согнутый палец к губам и крепко прикусил. Нужно было предельно сосредоточиться, чтобы обрести полную ясность духа, возвыситься над обстановкой, как бы отойти от нее и увидеть все в четких явственных очертаниях, как на чертеже.

«...Так вот оно что! Маршал, значит, свое обещание не сдержал — не пожелал или не смог. Кивейша расстрелян или будет расстрелян, скорей первое — вождь сказал: «понес заслуженную кару, понесет ее...» — форма будущего времени употреблена ради близиру, мол не по моему приказу, а как суд решит. Сволочь. Генеральские погоны... впрочем, я уж об этом думал, ближе к делу. Они так страшно шумят — каков же я выхожу в их глазах! Надо им сказать. И надо попытаться спасти Кивейшу, если его еще не тово... К маршалу обращаться — глупо (тоже фрукт!). Но они сейчас ри-

нутся сюда и растерзают... может быть, и меня... чепуха, меня-то не растерзают... А какими таинственными путями движется ток настроений! Ведь тут час тому назад сидели двадцать три тысячи смирных куколок, и едва ли третья часть их вообще знала о существовании Кивейши. Это — серьезная волынка, легко может перехлестнуть дальше — в бунт. Эмгебешники... (майор пристально поглядел в сторону леса, там не было заметно никакого движения) приказания не получили. Или — выжидают. А солдаты агрессивны, но безоружны, их компактную массу разрежут, расчленят, каждый кусок окружат, и тогда...» — Чесноков! — больше силой внушения, чем неслышным за грохотом собрания голосом подозвал майор. Он уже принял решение. Бледный, с росой пота на лбу и по обе стороны длинного носа, Чесноков подбежал к нему, как бы волоча за собой на невидимой нитке маленького Поддедюлина. Оба они, кроме того, что были взволнованы и негодовали со всеми вместе, — они были и крайне смущены: им было стыдно за любимого командира, оказавшегося лгуном. Возможно, они отказывались верить, что майор Иванов солгал им сознательно — все равно глядеть ему в глаза было неловко.

— Будете связными, оба. Нас обманули, но дурака нельзя валять.

Он проговорил это, притянув обоих солдат за плечи близко к себе, и держал так все время, пока говорил, как бы переливая в них свою волю.

— Подняли бузу, как маленькие. Безоружные, а оттуда (он кивнул на лесок) сейчас двинутся, понятно? Чесноков, к старшему лейтенанту Турко: все машины первой роты в боевую готовность, скажешь, приказание командующего, запомнил?

— Приказание командующего, все машины в боевую, — повторил Чесноков.

— Позицию по усмотрению, действовать по усмотрению. (Объяснишь, да он и сам знает). Поддедюлин, в два счета: селектор, два акку сюда мне! Без шума, четко. Замполиту сообщите (не сам, через кого-нибудь): немедленно прибыть за приказаниями в политотдел дивизии. Лучше передайте по телефону, без подробностей. Понято?

— Так точно, понято.

— Действуйте. Не теряться, не болтать.

Договаривая приказание, майор шарил глазами по равнине. Большинство участников митинга оставались на своих местах, но стоя. Сидели немногие. Ближе к эстраде президиума скопилась порядочная кучка, в ней, как в грозовой туче вспышки молний, заметны были быстрые промельки движения: взмахи рук, повороты голов, шаги...

Майор осторожно, сторонкой прошел вдоль равнины, ближе к эстраде. Нужно было присмотреться и прислушаться к положению,

но он не хотел попадаться на глаза начальству именно в эти минуты, чтоб случайно не утратить инициативы. Обстановка была запутанная и вместе простая: Петр Сидорович хорошо знал, как легко отдаются вождями опрометчивые приказания, когда дело выходит за рамки политики и касается их собственной шкуры. Приведя первую роту в боевую готовность (для этого не нужно подымать весь личный состав, достаточно было посадить в седло три десятка «конников»), майор делал невозможным кровавое подавление беспорядков; на случай, если все обойдется, с другой стороны у него было и формальное оправдание: действовал из предосторожности. Теперь нужно было разнюхать, жив ли Кивейша, и если он еще не расстрелян — спасти. Майор думал только о том, как отвести расправу от солдат, в первую очередь от его солдат, во вторую — всей этой огромной массы, приведенной сюда на равнину и стоящей под пока еще невидимыми дулами эмгебистских автоматов. Но было еще и смутное политическое ощущение надвинувшейся тревоги и опасности. Черт их знает, что там у них в Кремле делается: хитрое насекомое рассчитывает опереться на силы Порубежья в своей драке с соперниками, хочет, пожалуй, чтобы конники ТКД сыграли роль «молодцов-фанагорийцев»... ну, это — накося выкуси. Таскать для него каштаны из огня ни конники, ни майор Иванов не будут!

Петр Сидорович, в голове которого весь этот комок мыслей пронесся почти мгновенно, направился напрямик, через заросли тонкого березняка, к правой стороне эстрады, позади ее. Времени было в обрез, минут через десять должен был возвратиться Поддедюлин. «Вы куда, товарищ?» — спросил взыскательный голос за спиной. Майор обернулся, ему козырял сержант госбезопасности. «В президиум». «Будьте добры, обойдите кругом, здесь нельзя». «Ага, — сказал майор, — ну, ладно». «Минуточку, — поспешно сказал сержант, — прошу оставаться на месте». Но из березняка вышел Флоровский, махнул средним пальцем, очень проворным у него, и сержанта как не бывало.

— Сторожим, майор, сторожим. Да вы идите здесь, ничего. К своим ходили?

— Я же в совершенно невозможном положении: только что успокоил ребят, сказал, что будут Кивейшу судить, а в тот же момент с трибуны все слышат: расстрелян. Выходит, я соврал, обманул. А мне нельзя врать — вы это должны понимать. Мне солдаты обязаны верить абсолютно, иначе...

Майор говорил правду, но все-таки, говоря правду, заговаривал чекисту зубы, надеясь выудить у него сведения — как будут утихомиривать волнение. Флоровский перебил:

— Ну, разумеется, майор, о чем тут толковать! Штука сейчас в

том, как увести отсюда двадцать три тысячи человек. Между прочим, дядя не очень дрейфит, храбрый.

Майор усмехнулся.

— Храбрый. А ваши-то на что?

— Мои? Да вы представляете себе политическую сторону дела, дорогой? Чекисты вырывают любимого вождя из рук любящих воинов... Тьфу! Мы фактически лишены возможности сделать хотя бы один выстрел. Ах, я расстроился бы, если бы знал, как это делается. Идите, Петр Сидорович, посоветуйте командующему, как скомандовать.

Флоровский сделал ручкой и стал невидим. Майору очень понравился этот оккультный маневр, он сам был отличный разведчик (в чисто полевом смысле слова!) и ценил в других чистоту работы. Либеральность — либеральностью, а профессия — профессией, так что ли, товарищ генерал госбезопасности? И все-то врете насчет того, что лишены возможности сделать хоть бы один выстрел. И Кивейша, надо полагать, уже закостенел. Какая однако пакость — либеральничающий госпалач! Как же теперь, однако, проскользнуть навстречу Поддедюлину?

Петр Сидорович прошел к трибуне, никем уже не остановленный, хотя вокруг кишело эмгебистами в форме и в штатском. Но возле самой трибуны он юркнул в сторонку и пробрался к месту встречи со своим связным.

— Исполнено, товарищ майор, все, как сказано.

— Порядок. Давай т о сюда.

Он надел на шею селектор, величиной с полевой свисток, заправил его под китель, аккумуляторы сунул в карманы.

— Организуй проверку, что с Кивейшей.

— Слушаюсь.

Майор вернулся в президиум, когда начальник политуправления кончал свою речь. Картина была очень занятная: аудитория глухо гудит, оратор распинается, поливая гипнотизирующими словами пожар; президиум, с деревянными физиономиями, переговаривается. Совершенно ясно, что водолея никто не слушает, но стащить его с трибуны не решаются: не перейдена грань, за которой все становится возможным. Какое-то ничейное положение. Вождь, тоже с совершенно неподвижным лицом, не глядя на сидящего рядом маршала, что-то ему бубнит. Вождь изжелта бледен, маршал красен. Увидя Иванова, глазами подозвал его к себе; майор обошел стол, пригнулся к командующему, сказал раздельно и внятно:

— Разрешите доложить: мною по вашему приказанию был наведен порядок, батальон успокоился...

— Здорово успокоился! — огрызнулся маршал. — Вы что? Не видите, не слышите, что делается, валяный сапог со скрипом?

— Разрешите досказать: волнение возобновилось после того,

как воины услышали, что рядовой Кивейша понес заслуженную кару. Разрешите отправиться в батальон.

— Что, что, что такое? — визгливо зачастил вождь. — Что вы путаете, майор? Что возобновилось, куда отправиться? Почему не докладываете обстановку мне?

— Докладываю начальствующему лицу, отдавшему мне приказание и старшему по должности и званию, — сухо ответил майор. Вождь несколько раз чмыхнул носом. Майор службу знает. Маршал взглянул на Иванова с нескрываемой завистью: этот может цапаться с вождем, ему нечего терять, кроме карьеры, а на карьеру он плевать хотел, и именно поэтому далеко пойдет, если не... гм.. гм..

— Мы не на учебном плацу, майор, сядь, расскажи.

— Да! — визгнул вождь, — я вас, это самое, спрашиваю не по уставу, а по сути, вы же член президиума митинга. Кто провоцирует эту бузу? Сядьте же вот на стул...

— Никто не провоцирует, а люди возбуждены, потому что считают несправедливостью и нарушением законности — расстрел без суда.

— Я бы... я бы предложил разъяснить, что никакого расстрела без суда не было. А там видно будет, — молвил маршал.

— Надо внести спокойствие, — сказал, вытянув шею по направлению к разговаривавшим Кащенко, сидевший третьим от вождя. — Внести спокойствие и рассосать их по частям и подразделениям. Они сейчас начнут стихийно митинговать, нельзя же! Пусть майор выступит и скажет, когда политотдел закруглится.

— Закругляйтесь, товарищ, — громко сказал вождь оратору, тянувшему длинную и вязкую, как коровья слюна, логическую линию из груды придаточных предложений. — Возражаю против выступления майора: люди распущены у вас, друзья дорогие, нельзя идти на поводу у массы, вы потеряли руководящее чутье, майору популярничать не нужно. — Вождь чмыхнул носом. — Демагогические приемчики, эсеровщина, разврат — отставить! (Политотдел надо освежить, это Бог знает что такое). Период уступочек завершился. Кончит этот блажной свою мочалку? — оглянулся он на водолея. Тот поспешно эвакуировался с трибуны, как-то боком, размахивая без нужды, от смущения, прямой, несогнутой в локте рукой, наподобие того, как рефлекторно делает маятникообразные движения долгою ножкой паук-сенокосец, если ему другую, парную ножку оторвать. Вождь, кряхтя, вылез из-за стола, прошел к трибуне и сразу же начал говорить.

Ни одного слова не было слышно. Убаюканная было реченькой водолея, аудитория проснулась и забушевала с новой силой. Не то шум, не то рев был сплошной, как стена, по временам взвивались тонкие спирали свистков.

Вождь покачал головой и ухмыльнулся.

Развел руками, склонив голову набок, как китайский болванчик, с которым имел разительное сходство лицом и всем телом.

Поднял руку.

Никакого действия эти жесты не оказали. Тогда, дополнив пантомиму выразительным пожатием плеч, вождь сошел с трибуны и возвратился на свой стул.

Наблюдая эти эволюции, майор Иванов, несмотря на всю грозность положения, отвернулся и фыркнул, как мальчишка. Вдруг он увидел в первых рядах аудитории полковника Дымбу. На лице его было написано самое живое непосредственное веселье. Полковник наслаждался.

Вождь совещался с маршалом, голова к голове. Потом маршал сделал движение, чтобы подняться, но вождь положил ему на плечо руку: сиди. И встал сам. Прошел за подобие кулис. В этом не было ничего неестественного, наоборот, возможно, именно естественная надобность заставила руководителя партии и правительства неторопливо промаршировать в кусты. Но майор (и он остро почувствовал, что и все другие) ощутил странное, волнительное, неопределенное чувство — взрывчатой смеси презрения, иронического соболезнования, злобы и всепобеждающего смеха.

Чувство было страшно сильное, неудержимое, нетерпеливое. Неверно было бы назвать его истерическим, но все же оно походило на то, как человек, вынужденный оставаться неподвижным, в то время как ему необходимо опрометью бежать, спешить, — он опаздывает, он уже опоздал... — вдруг вздрогнет всем телом и душой, всеми глубинами своего существа. Но человеку не становится от этого легче.

Маршал вышел из-за стола, зашагал к ораторской трибуне. Иванову показалось, что стало несколько тише. Свист, во всяком случае, прекратился. Маршал поднял руку, шум стал заметно стихать. Командующий покосился через плечо — жест человека, уверенного, что есть кому принять приказание; приказание принял адъютант, кивнул радиотехнику: добавить.

— Митинг объявляю закрытым.

Через несколько секунд еще раз: «Митинг объявляю закрытым». И сейчас же вслед:

— Личный состав присутствующих здесь частей Порубежного военного округа, слушай мою команду!

Радиотехник постарался: голос командующего заполнил всю равнину.

— Встать! Смирррн!..

Будто командует взводу.

— Командирам частей и подразделений построить людей.

Находившиеся в президиуме офицеры и солдаты, поднявшиеся со своих стульев при первых словах команды, теперь исчезли, поспешили к своим частям и подразделениям. Маршал опять покосился через плечо, что-то сказал адъютанту и, отойдя от ораторского микрофона, стал переговариваться с возвратившимся на сцену вождем и оставшимися гражданскими членами президиума митинга. Через несколько минут на сцену явился полковник Дымба. Он откозырял маршалу, подошел к микрофону и сказал:

— Внимание!

Очень быстро, отчетливо и даже не без некоторого щегольства вся находившаяся на поляне масса людей, перестав быть массой, превратилась в правильные прямоугольники войск, а затем, следуя указаниям полковника, эти войска построились вдоль трех сторон поляны, образовав громадное «П», незамкнутая сторона которого отграничивалась эстрадой, где до этого находился президиум митинга.

Внутрь этого «П» перенесли радиооборудование. Полковник Дымба доложил командующему, что части построены. Маршал и вождь прошли в центр поляны. Была подана команда стоять вольно. Командующий кратко и сухо объявил свое неудовольствие проявленной недисциплинированностью войск. Он брезгливо искривил губы, помолчал и обвел взором весь фронт.

В ровных рядах военнослужащих сейчас уже не было признаков недисциплинированности. Стояли обыкновенные солдаты, составляющие в целом послушную машину.

— В нашей стране незыблемо установлена справедливая законность, — добавил командующий. — Злонамеренным элементам не удастся заставить советских воинов поверить в то, что совершивший тяжкий проступок рядовой Кивейша мог быть расстрелян без суда и следствия, как это утверждают подосланные нашими врагами прохвосты. Так бывает только в капиталистических армиях. Но не у нас! Дело Кивейши рассматривается соответствующими органами в надлежащем законном порядке, и я могу уже сейчас сообщить, что в деяниях рядового Кивейши не обнаружено НИЧЕГО, кроме дисциплинарных нарушений. За них он понесет надлежащее наказание.

Если бы укрощение строптивых ограничилось этими словами, произнесенными сухим, отрывистым тоном, войска вероятно успокоились бы. Маршал Солдатенко знал своих людей — он сам был из их среды и никогда не порывал с нею очень тонкой, но крепкой связи. Он был очень строг и взыскателен по службе, и хотя не блистал исключительными полководческими дарованиями, но боевые операции проводились под его командованием всегда успешно: ему верили и его уважали подчиненные, начиная с того времени, когда он командовал взводом — и по сегодня.

Но тут выступил на шаг вперед вождь. Он даже сделал совсем легкий, но заметный жест, похожий на то, будто он отстраняет командующего локтем. Вождь чувствовал себя ХОЗЯИНОМ и никогда не упускал случая это подчеркнуть.

— Так, товарищи, — сказал он. — Здесь на митинге мои слова о том, что этот самый... Векшин... Кивекшин понесет должную кару, были... это, стало быть, перетолкованы соответствующими прохвостами. Насколько от меня зависит, участь виновного, то есть не этого прохвоста, а другого, то есть этого самого Ки...вейши (вспомнил-таки фамилию), будет смягчена и со временем он сможет вернуться в строй. Понятно? Вот, так оно будет, это *я* вам говорю. А теперь предлагаю спокойно повиноваться вашим офицерам и точно, деловито, умело (не так, как этот Кивейша!) исполнять каждое приказание, которое может понадобиться, то есть в каждую минуту может понадобиться... это... в смысле обеспечения нормальной жизни нашей дорогой родины.

Он остановился, чего-то ожидая. Чего? Не аплодисментов же, в строю. И дождался.

— Покажите нам Кивейшу! — донесся голос из рядов. Один-единственный голос, принадлежавший комсомольцу, получившему надлежащие указания. Инициатива этой «затравки», как выразился вождь, принадлежала ему. «Пусть какой-нибудь паренек крикнет, мол, покажите нам Кивейшу. И сейчас же введите его».

— Ай-яй-яй, товарищи! Вы же в строю! Понимаю ваше волнение, но вы разболтались, разболтались, начальники попустительствуют. Но, когда речь идет о советском человеке, у нас даже самое строгое начальство смягчается, — а почему? Догадайтесь-ка: мы все — одна сплоченная советская семья, вот почему. Я, признаться, ожидал этого выкрика... ожидал — хотя это и недисциплинированность... но мы не заводные солдатики капиталистических стран, мы люди, советские люди. Надеюсь, начальство с того, кто крикнул, не взыщет. А ну, кто крикнул, признавайтесь... я шучу, конечно. Это был все-таки добрый... человечный, товарищеский порыв. Я попрошу командующего распорядиться, чтоб подследственного Ки... вейшу доставили сюда... Товарищ маршал Советского Союза, прошу вас...

Маршал Солдатенко, ощущая, как у него подергивается тиком верхняя губа (ему до крайности была противна затеянная комедия), сделал знак в сторону помоста. И сейчас же оттуда вышло два десятка конвоиров, между которыми шагал Кивейша. Он был без пояса и без погон. Его обвели вдоль всего фронта, шагах в двух от солдат. Он шел, понурый, заметно бледный, исхудалый, глядя прямо перед собой. Взгляд был тупой, ничего не выражающий.

Было тихо на равнине — будто там не было двадцати с лишним

тысяч человек. Маршал Солдатенко и вождь переглянулись. С пронзительным чивиканьем пронеслись низко наискосок к обрыву две ласточки. Солнце, уже немного багровеющее, слепило глаза. Конвоиры, завершив круг, возвращались с арестованным туда, откуда вышли — в частое мелколесье по ту сторону помоста. И когда, уже около самого помоста, произошло малозаметное движение, конвоиры сгрудились возле Кивейши, как стая собак над зверем. Раздались один — два — три вскрика, и вслед за ними булькающе простучала автоматная очередь.

По линии солдатского строя прошло мелкое волнистое движение — будто по строке письма — быстрая неровная линия подчеркнула строку.

Тотчас же над равниной возник огромный повелительный голос: «Прошу сохранять спокойствие, не двигаться с места. Не двигаться с места. Сохранять полное спокойствие. Полное спокойствие».

Фронт не шевелился.

Текли секунды, но каждому казалось, что время застыло неподвижно. Маршал и вождь уже были не одни — возле них, неведомо как, образовалась густая группа людей в военном и штатском, охрана. Вся эта группа стала понемногу передвигаться в сторону помоста, и чем дальше она уходила, тем явственней исчезала неподвижность фронта: строй утрачивал очертания.

«Прекратить движение, прекратить движение», — произнес тот же огромный голос. Из-за эстрады двумя плотными линиями прошли на середину поляны автоматчики; они соединились воедино, но только на минуту: сейчас же группы их, сохраняя полную четкость движений, разрезали во многих местах уже порядком смявшийся строй солдат, сбивая людей в отдельные человеческие стада.

Майор Иванов двинул ползунок селектора.

— Я Иванов. Приготовиться. Я Иванов. Приготовиться.

В наушниках отозвалось:

— Есть, приготовились.

— Первому взводу двинуться сюда. Второму взводу оставаться на местах.

В наушниках зашуршало: первый взвод кавалерии выполнял приказание.

— Третьему взводу окружить резерв госбезопасности.

Шесть ТКД, с низким музыкальным стрекотом, прорвав смятенный строй солдат, прорезанный чекистской охраной, остановились на поляне.

— Первому взводу... — майор мгновение помолчал... — сомкнуться вокруг вождя. Сомкнуться вокруг вождя.

Майор Иванов сбежал с эстрады, опрометью бросился в кустарник, повторяя свою фамилию: Иванов-Иванов-Иванов. В кустарнике стояла его машина, на буксире у второй. Броневой колпак был поднят, широко улыбалось лицо Чеснокова. «Пошли!» — скомандовал майор, захлопывая над собой прозрачную капсулу.

Вокруг группы вождя и маршала Солдатенко (их не было видно за густым слоем сбившихся вокруг них охранников) стояли три ТКД. Остальные три машины, низко жужжа, прокатывались вдоль поляны.

Иванов с Чесноковым остановились в нескольких шагах от клубка людей. Несколько секунд Иванов всматривался в этот клубок, молчал. Потом поставил репродуктор на максимальную громкость.

— Всем лечь. Всем лечь. Гражданину секретарю и маршалу Солдатенко оставаться на месте. Гражданин секретарь, вы арестованы.

5. ЦЕПЬ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ

Тремя днями позднее налетевшие иностранные корреспонденты бесконечно осаждали Петра Сидоровича. И тогда, и впоследствии, беседуя с историками, он на вопрос: к а к в ы р е ш и л и с ь? — отвечал разное (зная, что от ответа не отвертишься). Но единственно верный ответ: я н е м о г н е р е ш и т ь с я, — был как-то невнятен, и потому Иванов, хотя и не был профессиональным политиком, хитрил и именно этого ответа и не давал. Печать и история нуждаются в концентрированной пище, и они ее получают. Он не мог не решиться, услыхав автоматную очередь, которой, как он думал, был убит при нелепой попытке к бегству отчаянный парень Кивейша (майору было невдомек, что стрелял сам Кивейша, вырвавший оружие у конвоира. Очередь послужила как бы сигналом к действию... Впрочем, так ли это?)

Он не мог не решиться, потому что почуял наступление того до последней крайности уплотненного времени, когда обстоятельства сгущаются, обступают человека стеной очевидностей и настойчиво требуют действия. Перед Ивановым медленно ползла тяжелая, горячая цепь взаимозависимостей. У него не было личных политических амбиций, а только — любовь к своему замученному и задерганному отечеству-народу. О рискованности того, что он сделал, он, ко-

нечно, знал, но бывают положения, когда рискованно — не рискнуть. Что-то в глубине души подсказывало ему, что удача обеспечена. Он ухватился за одно из звеньев цепи, понатужился — и вся цепь, вместо того, чтоб вырвать у него из плеч руки, остановилась, смякла, потеряла напряженность. Теперь ее нужно было заново устанавливать и пускать в ход — уже в другом направлении. Это было невообразимо трудно.

Иванов не задавал себе вопроса: назрела ли революционная ситуация. Он знал — не знал, а ощущал кожей, что революция, начавшаяся за много десятилетий до его рождения, длится десятилетиями же, по временам набрякая узлами переворотов, восстаний, войн. Он не изучал Советский Союз по газетным картотекам и анализам советоведов. Когда на «пятачке» равнины у Синеусова Вала оказалось стечение тысяч безоружных солдат, раздраженных и негодующих, и тут же, рядом, тот человек, вождь, секретарь, рассчитывающий с реальной силой вернуться в паучье гнездо честолюбцев; когда, наконец, сотни миллионов населения жили в намеренно подогреваемой атмосфере военной опасности, арестовать того человека значило произвести остановку в движении всей чудовищной махины развития. Вождь сам по себе почти нуль — он не принадлежал к числу людей-гигантов, самолично изменяющих ход истории, подобно Петру I или Наполеону. Но остановка на мгновение порождала такую встряску, такой толчок, что система, держащаяся только собственной тяжестью, неминуемо должна была распасться.

И она распалась.

*

Арестованный повертел головой, это воробьиное движение не было смешным или нелепым, оно было совершенно естественно. Вправо, еще вправо, прямо, влево, еще влево. Он был хитер, проницателен, хотя и не особенно чуток. И умен настолько, что никогда не самообольщался мыслью о том, что он сам в состоянии двигать события. Знал, что управлять событиями можно лишь косвенно — в пору сказанной речью, новым законом, дипломатическим шагом, при этом рассчитывая не только непосредственный эффект, но и то, что произойдет в результате этого эффекта. Его арестовал человек, в чьем управлении была реальная военная сила. Десяток-два ТКД не могут опрокинуть режим на всей территории страны. Да, но все-таки никто пальцем не пошевелит, чтобы освободить его. Вооруженные силы составляют опору его словесной, политической власти. И вот, вооруженные силы стоят и смотрят на него, арестованного изменником-офицеришкой. Дело плохо, надо покориться, потом увидим, что делать.

— Вы с ума сошли, — сказал он стоявшему возле него офицеру. — Ну, куда это годится! Что ж, пошли?

— Помолчите, арестованный, — ответил офицер и пальцем показал выросшим из-под земли восьми автоматчикам, как встать впереди, по бокам и позади уже не грозного, но все еще опасного существа.

Арестованного вождя посадили в закрытую машину и отвезли в арестное помещение, приставив крепкий караул. В части, которой командовал майор Иванов, не было никакой подпольной революционной организации. Просто люди совершенно доверяли своему командиру и, кроме того, существовала, никак не оформленная организационно, группа более активных, чем их сотоварищи, военнослужащих — солдат, сержантов и офицеров — чьи настроения были оппозиционны к режиму. В сущности, эта оппозиционность в большей или меньшей степени владела умами большинства из той части населения, которая умела политически — если не думать, то чувствовать. Эта часть населения составляла примерно несколько десятков миллионов.

В группе, непосредственно близкой Иванову, был ротный весельчак Чесноков со своим «корешем» Поддедюлиным, был молдаванин Лупеско, ефрейтор Вачнадзе, механик Ойхман, старшина первой роты Рябов, человек в своем роде замечательный, успевший еще до призыва на военную службу получить орден за трудовые подвиги на целине, поступивший в технический вуз и через год изгнанный оттуда за «нигилизм»... Из офицеров части дружны были с Ивановым и преданы ему лейтенант Углицкий, тоненький кудрявый блондин из суворовского училища — новый для советской армии тип офицера, сильно напоминающий юных подпоручиков дореволюционного времени, старший лейтенант Ненюк, солидный, казавшийся старше своего действительного возраста, замечательный математик. Были и другие офицеры, с которыми Иванов был не то, что на дружеской ноге, но просто — в хороших товарищеских отношениях.

По непонятной оплошности, политсостав части не был укомплектован особенно рьяными службистами. Замполит Ващенко больше походил на учителя, которым в гражданской службе и был. Преподавал он биологию, предмет свой знал и любил, и оставаться бы ему педагогом, если бы не довелось Григорию Полиевктовичу отличиться на публичной лекции по дарвинизму. Он прочел ее с таким блеском, что ему предложили вступить в партию (нам нужны такие люди, как вы, товарищ), и долгое время читал он лекции и доклады в рамках программы деятельности общества по распространению научных и политических знаний; параллельно его выдвигали по службе, сделали завом учебной части, а там и директором школы, и — перевели на партработу. Поворот рычажка в партийном аппарате — и товарищ Ващенко сделался военным политработником. Своей работой и положением он тяготился, но с секретарями

военной парторганизации ладил, а секретари были выдвиженцы, работники, звезд с неба не хватающие, и хотя в части было довольно и коммунистов, и комсомольцев, особо партийного духа в ней не чувствовалось: все шло рутинно: политзанятия, да собрания.

Иванов чувствовал, что в первый момент, сейчас же, как только он отважится сделать роковой шаг, найдутся надежные помощники и исполнители. Сама по себе грозная, даже на самом гребне революции или мятежа, многолюдная масса беспомощна и неспособна на целесообразные действия — пока не выделит из себя возглавителей. Таким возглавителем оказался Иванов, опирающийся на нескольких друзей. Этого было мало, но с этим можно было начать.

— Маршал Солдатенко! — сказал в передатчик майор. — Прошу вас подойти ко мне.

Маршал, переступив через лежавших возле него, приблизился к машине Иванова. Был бледен, но совершенно спокоен внешне. Выражение его лица было озадаченное. Тик прекратился.

— Гаврила Федорович, — обратился к нему майор, подняв капсулу. — Понимаю ваше положение и к нам не зову. Хотите — присоединяйтесь, конечно. На риск. Но думаю, для вас лучше, если я поставлю вас в невозможность действовать, как полагаете? Для перестраховки, а?

— Для перестраховки... — протянул маршал. — Вы себе отдаете отчет, что затеяли, майор?

— Не обо мне речь, — оборвал майор. — Принимайте решение, быстро. Учтите обстановку.

Маршал молчал.

Майор опустил капсулу и отчетливо выговорил в микрофон:

— Маршал Солдатенко временно отстраняется от командования округом. Командиру второго взвода ТКД позаботиться о маршале.

Обязанности командира второго взвода временно исполнял старшина Рябов. Он спросил по приемопередатчику:

— Куда его?

— Ко мне. На дом. Личное оружие отобрать, охранять соответственно. Сам вернись сюда сейчас же. Слушать мою команду! — усилил он голос. — Наблюдать за эмгебешниками. Командиру первого взвода выделить людей для конвоирования задержанных. Кто лег — прошу подняться, привести одежду в порядок, можно закурить. Состав госбезопасности, по одному подходите к пропускному пункту, сдавайте оружие, следуйте, куда укажут.

. . . .

Иванов был самым обыкновенным человеком — он и поступал, как обыкновенный человек во всем, что относится к обыкновенной повседневной жизни. Он не лез в гении или герои. Именно поэтому

он свершил то, что по плечу самым выдающимся мужам истории. Как и у многих (более, чем принято думать, многих), у Иванова были из ряда вон выходящие способности. Только ничтожное число людей, вполне рядовых, обладает счастьем удачной случайности — свои необыкновенные способности заметить, усовершенствовать их и применить; Иванову посчастливилось. Важно и то, что эти способности были — не художественный талант, не техническое дарование, не дар отвлеченного мышления или какой-нибудь другой из бесчисленных даров, таящихся во множестве человеческих особей, чаще всего и не подозревающих о своем богатстве. Способности Иванова были военные, врожденное дарование бороться и побеждать.

Но известные всем из учебников истории и трудов военных специалистов победы освободительной армии в немногочисленных, но жестоких битвах под Москвой, на Урале и позднее — в Монголии, где базировались реакционные силы «Улеста», то есть «Учеников Ленина-Сталина», едва не осуществивших свой план уничтожения нуклеарным пламенем трех четвертей населения России, все победы Иванова, возглавившего всенародную войну против угнетателей, были лишь развитием о д н о г о - е д и н с т в е н н о г о момента, когда майор принял решение нанести первый удар.

Иванов понял, что за первым этапом событий последует второй, третий и вероятно четвертый. Поэтому он не стал цепляться за столицу, когда прибыли из далеких окраинных округов подкрепления (им говорили, что в пределы родины вторглись войска НАТО под командованием генерал-майора Джонсона, переодетые в русскую форму и частично укомплектованные продавшимися за доллары эмигрантами). Иванов двинулся в глубь страны и гениальным маневром пробился сквозь плотные заслоны к городку Железняк, где на номерном заводе делали ТКД.

Силы освободительного воинства росли с надлежащей быстротой, но еще велика была инерция повиновения в тех воинских частях и соединениях, которые находились под командованием верных правительству полководцев. В освободительной армии был замечательный аппарат пропаганды — им руководил пробравшийся в Россию с неимоверными трудностями Олег Змеев (кстати, ему пришлось заменить свою фамилию бесцветной, но более приятной фамилией Николаев); в крупном волжском городе собралось Демократическое Совещание, прообраз будущей конституанты; совещание выработало программный документ, в основу которого лег известный Пражский Манифест власовцев-народников.

Внешний мир следил за российскими событиями с напряженным вниманием, но не вмешивался. Обращение Демократического Совещания к Объединенным Нациям вызвало там большие дебаты, и советские представители с пеной у рта обвиняли Америку в «органи-

зации и поддержке контрреволюционного мятежа». Джавахарлал Неру в интервью с корреспондентом нью-йоркского «Таймса» заявил, что режим, господствующий в России несколько десятилетий, безусловно страдает довольно значительными несовершенствами, однако пытаться свергнуть его революционным путем — значит противиться злу насилием, а всякое насилие есть тоже зло. Все же подавляющим большинством общее собрание ООН приняло резолюцию, предложенную делегацией Соединенных Штатов. В резолюции отмечалось, что происходящие в России события есть следствие стремления народов Советского Союза к здоровым формам государственного и социального устройства и выражалась надежда, что в конечном счете одержит верх принцип демократии и дух благоразумия.

Хотя эта резолюция не давала повода к обвинениям во вмешательстве во внутренние дела одного из членов Объединенных Наций, советская делегация огласила многословный протест, в котором упирала именно на такое незаконное вмешательство, и в полном составе покинула зал заседания. Перед зданием ООН несколько сотен эмигрантов-антикоммунистов дружным напором прорвали густой полицейский кордон и забросали выходивших советских делегатов спелыми помидорами (дело происходило в августе).

Страны-спутники Советского Союза молчали; в них не происходило ничего, что могло бы считаться действенным откликом на происходящее в России. Они откликнулись все разом, позднее, после битвы под Москвой, битвы, завершившейся победой народной армии над пятимиллионной экспедиционной группой Великого Восточного Союзника и несколькими дивизиями правительственных войск. Последние, впрочем, сражались исключительно под угрозой карательно-заградительных отрядов, располагавших химическим оружием. Боевую химию советское командование применяло довольно широко, что и нанесло немалый урон «ивановцам», а еще больший — населению. Это было крупной политической ошибкой большевиков и ускорило развязку.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

* * *

Еще я своей владею судьбой,
Но последняя песня спета —
Меня застрелил трехлетний ковбой
Из трескучего пистолета.

Вот и руки озябли
И больше нет сил,
Все, все в жестоком тумане —
Деревянной саблей
Меня зарубил
Гусар в цветном доломане.

Меня убивали, а я живу.
И одна чрез льды и сполохи
Ухожу в осеннюю синеву,
Попираю грязный асфальт и траву,
Раздаю прощальные крохи.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

* * *

Опять зима явилась и спугнула
Последний луч, подобие луча.
Где у костров смеялась Мариула,
Худые волки бродят по ночам.

А ночь спешит исхоженной дорогой,
Затаптывая бусинки зари —
Так все уйдет. Еще, еще немного...
О, дай о прошлом мне поговорить!

Но мрак течет, на сердце наползая,
Клубится куст огромный, неживой,
И тень бежит, бежит, как черный заяц,
По облачной долине снеговой.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

* * *

Валил упрямо крупный дым янтарный,
И вдруг пустую крышу обволок,
И день катился — пестрый, календарный,
Рукою детской сорванный листок.

Теперь под ветром одичали склоны,
Пустынные аллеи сожжены,
И одинокий парус накрененный
Не смеет оторваться от волны.

Конец, конец — на море и на суше
Идем навстречу стуже ледяной.
Идем, идем: «Спасите наши души!»
Отравлен пес. Очаг золой придушен.
Ворота заколочены давно.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

* * *

Тихий свет — в глубинах колодца
Обрывается звездная нить,
А потом и сон оборвется...
Время ждать и время бороться,
Время павших в пути хоронить.

Но давно утрачена вера
И по-азбучному проста
За чугунным плоским барьером
Ослепившая пустота, —

В треске магния, в дымных блестках,
В керосина синем чаду,
Как на самых плохих подмостках,
Как в чистилище, как в аду!

ИГОРЬ ЧИННОВ

* * *

Да, траурная колесница
Иль в этом роде. Вот, опять
Кольнуло в сердце. Помолиться,
Приободриться, помечтать

О том, что там (ты веришь?) будет
Эдем, блаженство, торжество...
Скажи, там ничего не будет?
Совсем не будет ничего?

ИГОРЬ ЧИННОВ

А может быть, все же — спасибо за это:
За нежность туманно-жемчужного света,
За свежесть дождем всколыхнутого сада,
За первые знаки — уже — листопада.

Спасибо, что облако меркнет и тает
Над этой в закат улетающей стаей,
И розовый свет приближается к морю...
Ну, что же, спасибо. Да разве я спорю...

ИГОРЬ ЧИННОВ

* * *

Колоколом утомительным,
Маятником изнурительным,
Музыкою обреченности
Кажется тоска бессонницы.

Сад забормотал осенние,
Призрачные утешения.
Смешивается молчание
С музыкой воспоминания,

С признаками вдохновения,
С призраками в отдалении,
С прошлым полувоскресающим,
С небом полурассветающим . . .

ИГОРЬ ЧИННОВ

* * *

Знакомое зло, привычное зло
(А все-таки — нет войны).
Осеннее призрачное тепло
Милее тепла весны.

Предзимнее солнце, приморский шум
(А Ницца тиха, светла)
И волны шуршат: «Шурум-бурум,
Все — пена, песок, зола».

Догорает, да, но кажется нам,
Закат — начало пути.
Уходит свет, скользя по волнам...
Помедлить или уйти?

ВЛ. КРЫМОВ

АНАТАС

В Петербурге он появился незадолго перед войной четырнадцатого года, никто не знал его прошлого, но теперь о нем заговорили, так как он быстро богател на глазах у всех и даже швырялся деньгами; около него скоро составился круг прихлебателей, которых он не приглашал к себе домой, но всегда платил за них в ресторанах и даже давал небольшие суммы взаймы. Если долг не был уплачен, вторично он уже не давал, но зато находились более смышленые, настоящие петербуржцы, и маленькую сумму уплачивали в срок, чтобы занять бóльшую — и он улыбался и давал, зная наверно, что на этот раз уже не отдадут; знал это сам и знали окружающие, так о нем и говорили. Известно было, что он крупно и успешно играет на бирже, даже опытные биржевики удивлялись, откуда у него такой биржевой нюх, старались узнать, какие акции он сегодня покупает, чтобы тоже их купить, — но он вел свои операции скрытно, никаких советов ни у кого не спрашивал и никому их не давал.

У него был уже большой дом на Ланском шоссе, почти дворец, но много лет простоявший без ремонта; он отделал только несколько комнат, а остальная часть дома стояла запертой, без ремонта и отопления, даже часть стекол тут была выбита, точно намеренно их не вставляли. Рассказывали, что у него бывают какие-то ночные собрания и тогда, проезжая по шоссе, можно было видеть свет в щелки между тяжелыми портьерами, но никто из говоривших никогда на этих собраниях не бывал, кто-то рассказывал, а тому тоже кто-то рассказывал. Одни говорили, что там идет крупная игра, а другие, что он занимается черной магией — устраиваются черные мессы, а еще третьи намекали, что у него может быть печатаются фальшивые кредитные билеты, — но этот последний вариант не встречал доверия даже среди склонных к самым вздорным сплетням.

Этого человека звали Ираклий Астартович Анатас. Каково было

его происхождение, откуда такая необычная фамилия, как будто греческая, никто его паспорта не видел и приходилось только догадываться. Еще удивительнее фамилии было его отчество, Астартович, но когда кто-то более развязный попробовал спросить его, разве есть такой святой Астарт, он довольно резко ответил, что раз его отец носил такое имя, значит, есть и такой святой, а впрочем вас это не касается. Анатас держался очень независимо и даже нередко был несдержан в разговорах, но так как он всегда за всех готов был платить, то с ним охотно встречались и готовы были услужить, надеясь потом получить что-нибудь взамен. В Петербурге так уже было принято, что нужно было занимать какую-нибудь высокую должность или быть богатым и тогда не рылись в прошлом человека, принимали его, как своего, с ним примирялись и его уважали. Совсем вновь появившихся называли выскочками, шпыняли их при всяком удобном случае, тащили вниз за ногу с социальной лестницы, но если он сумел плотно усесться на своей ступеньке и постепенно лезть на ступеньки выше, его уже считали своим, неприязнь уходила.

Исай Ильич Ипорукоположенский, явно духовного происхождения, был видным чиновником при обер-прокуроре святейшего синода, дослужился до чина действительного статского, но в высших кругах Петербурга был мало известен, его имя стало появляться незадолго до революции, когда он стал редактором благонамеренного черносотенного еженедельника, субсидированного министерством внутренних дел. Но почему-то он встречался с Анатасом, и теперь в эмиграции, в Париже, через много лет, они встретились, как старые знакомые, почти как друзья, по крайней мере Исай Ильич считал Анатаса своим другом.

Почему Анатасу как будто нравился этот человек, совершенно ни в чем на него не похожий, во всем противоположный, было непонятно для окружающих — может быть потому, что он никогда не спрашивал у Анатаса биржевых советов, на бирже не играл и никогда не просил денег взаймы. Будто бы у Анатаса был бракоразводный процесс, а в тогдашней России никаких гражданских браков не существовало, непременно должен был быть церковный брак и в случае развода все зависило от духовных властей. Иногда тянулось годами, нужны были свидетели, которых нанимали за деньги, и Исай Ильич, как видный чиновник синода, помог быстро провести этот развод, — а когда Анатас предложил ему две тысячи рублей, он отказался, заявив, что это его служебный и религиозный долг. Так или иначе, между этими такими неподходящими людьми сложились дружеские отношения.

И тут в Париже никто не знал, какой паспорт у Анатаса, а Исай Ильич стал теперь французским гражданином и так как его фами-

лия из восьми слогов совершенно была неудобоварима для французов и вообще иностранцев, то по совету какого-то опытного приятеля он принял теперь фамилию Труази, ибо имя, отчество и фамилия начинались с буквы «и».

Он теперь бывал в доме Анатаса, в окрестностях Парижа, на берегу Сены, у хлебосольного хозяина оказался хороший повар, тонкое вино, играли иногда в бридж, а в виде исключения и в девятку.

* *
*

Прошло сколько-то лет и Анатас исчез, он куда-то уехал, ни с кем не простившись, его дом оказался запертым. Соседний консьерж рассказывал, что время от времени приезжал какой-то человек, платил налоги, даже производил мелкий ремонт, но никто из бывших гостей его ни разу не встретил, не могли ничего узнать об отсутствующем хозяине дома.

Исай Ильич особенно поражался, он не мог понять, как это после таких дружеских отношений можно куда-то уехать, не простившись, и не дать о себе знать. Может быть была какая-нибудь тайна, заставившая Анатаса скрыться, но видимо дом оставался его собственностью, никто никаких исков к нему не предъявлял.

Так прошло года два или больше и вдруг однажды вечером Исай Ильич получил письмо «пневматик», в котором, не давая никаких объяснений своему отсутствию, Анатас приглашал его сегодня вечером часов в одиннадцать к себе на бридж. Исай Ильич был в полном удивлении, даже обрадовался. Трудно было выдумать более неожиданное и более странное приглашение, после такого длительного молчания, в одиннадцать часов вечера на бридж. Хотя Исаю Ильичу нездоровилось, но он решил непременно поехать. Было довольно холодно, весь день пасмурно, когда он вышел из дому и взял такси, пошел снег. У дома Анатаса удивление еще усилилось, дом по-прежнему казался совершенно пустым, все жалюзи были спущены и вероятно внутри закрыты портьеры, нигде не видно было даже щелки света, дорожка от ворот к подъезду была запорошена снегом и на ней не было видно никаких следов, — Исай Ильич подумал даже, что письмо было мистификацией, хотя почерк был несомненно Анатаса, он его хорошо знал.

Нажал кнопку электрического звонка, почти в уверенности, что звонок не звонит и никто не выйдет, но ошибся: входная дверь отворилась и вышел навстречу солидный лакей или камердинер с рыжими с проседью бакенбардами, не во фраке, но в чем-то вроде смокинга с какими-то блестящими нашивками.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — совсем просто и очень вежливо встретил его камердинер.

— Почему вы меня называете превосходительством, разве вы меня знаете? — удивленно спросил Исай Ильич.

— Да что вы, ваше превосходительство, неужто забыли меня? Илью, в вашем клубе, помните, ведь я же всегда за вашим столом прислуживал и как сейчас помню, как все вас поздравляли с производством в действительные статские...

Исай Ильич вспомнил, действительно, в клубе был пожилой старший лакей Илья, теперь его хорошо вспомнил и еще больше удивился.

— Ах да, помню вас, ясно вспоминаю, но только как же это так, ведь я тоже помню, что собирали на венок вам?

— Так точно, венок был получен с благодарностью и даже подпись ваша была на списке, точно помню вашу фамилию, она такая замечательная, да тут мы уже ничего не забываем. Вы всегда изволили сидеть рядом с обер-прокурором святейшего синода, он тоже был хороший человек и напрасно смеялись над его нашлепкой на голове, которой он прикрывал лысину. Говорили, что неудобно прокурору синода, такой высокой духовной персоне, паричок носить, а я полагаю по моему скромному разумению, что украшение присуще и желательно для всякого человека, тем более возглавляющего православную церковь.

«Илья, да это действительно Илья, вспоминаю его, но как же это, Господи помилуй, с нами крестная сила, ясно помню, как ему на венок собирали, когда он помер, да и сколько же это лет прошло, Господи помилуй, ведь клуб-то был до революции, а у него даже баки не поседели, как были рыжие с проседью, так и остались до сих пор... в своем ли я уме...»

Все это подумал Исай Ильич за несколько секунд, пока вошли в переднюю; решил расспросить Илью подробно, как же это так, — но расспрашивать не пришлось, у растворенной внутренней двери стоял уже сам хозяин Анатас с большой сигарой. Он протянул руку Исаю Ильичу и без всяких общепринятых приветствий, тем более необходимых после такого перерыва, просто сказал:

— Поджидая вас, мы уже сели играть, вы немного опоздали...

Вместе вошли в довольно большую комнату, знакомую Исаю Ильичу; за ломберным столом, затянутым голубым сукном, а не как обычно зеленым, с четырьмя большими восковыми свечами в подсвечниках с розетками, сидели трое партнеров. У Исая Ильича было всегда хорошее обоняние, он сразу по запаху узнал, что это восковые свечи, да и горят они иначе, чем стеариновые, и эти розетки напомнили ему далекое прошлое, но он не удивился, хорошо знал, что у хозяина всегда были разные причуды, но только теперь обратил

внимание на то, что в передней не было электрических лампочек, а тоже горели восковые свечи.

— Знакомить не приходится, всех хорошо знаете, — сказал хозяин, — садитесь играть за меня, я в выигрыше, так что вам убытка не будет, и играем не на деньги... я пока буду выходящим, — и с этими словами он вышел в соседнюю комнату. Хотя хозяин сказал, что все трое знакомые, но Исай Ильич как будто никого из них не знал. Карты вновь сдали, у него оказалось три туза, надо было ждать, что скажет партнер, предстояло что-то не меньше бескозырного малого шлема. Как старый бриджист, он сразу увлекся игрой, объявил малый шлем без козырей и только когда он был выигран, и даже не малый, а большой, недоуменно стал рассматривать лица сидевших за столом.

Двое были довольно пожилые, а третий, сидевший против него, еще молодой и как будто его лицо было знакомо, хотя где и когда он встречал его, припомнить не мог, вопросительно смотрел на него.

— Вы меня кажется не узнаете, хотя мы с вами пять лет были в университете и даже одно время вдвоем нанимали комнату и вы еще волочились за дочкой квартирной хозяйки, Дмитрий Бегичев, неужели забыли?

Исай Ильич вздрогнул, теперь он ясно припомнил этого студента, но на последнем курсе университета Бегичев застрелился и он вместе с другими студентами был на его похоронах, ясно это вспомнил, был такой мрачный осенний день, слякоть и даже простудился тогда, стоя у могилы с непокрытой головой и без кашне. Предлагать прямой вопрос застрелившемуся когда-то, а теперь он партнер в бридж, было немыслимо и Исай Ильич только потер лоб и решил, что у него просто кружится голова и он не совсем понимает происходящее, еще с утра нездоровилось и голова болела. Решил продолжать игру, надеясь, что успокоится, поймет, где действительность и где его болезненная фантазия и тогда все объяснится.

Когда кончили роббер, на его место сел хозяин, а он стал выходящим, прошелся по комнате, сел в мягкое кресло в углу и закурил большую сигару, предложенную хозяином. Когда-то он очень любил сигары, но в последние годы не курил, папирос никогда не любил, а сигары были теперь очень дороги и врач-кардиолог сказал, что лучше не надо курить совсем, так как у него не в порядке коронарные сосуды, в его возрасте надо быть очень осторожным, а то может случиться инфаркт миокарда — теперь больше всего умирают от сердечных болезней. Все-таки закурил сигару с удовольствием, такая большая и дорогая, но ее аромат был необычный, не то что неприятный, но не такой, к какому привык, как будто с какой-то примесью, вроде росного ладана. Что же происходит кругом, он не все понимает, точно какой-то сон: от Анатаса всегда мож-

но было ожидать чего-то неожиданного и странного и все-таки было удивительно и совсем непонятно...

Сегодня часов в семь он пообедал в маленьком ресторанчике, а иногда по вечерам вообще ничего не ел, считал вредным есть на ночь, заснуть потом не мог и где-то прочел в медицинских книгах, что в пожилом возрасте лучше есть как можно меньше и особенно не есть на ночь, — голода он не чувствовал и тем не менее его удивляло, что не предлагают чего-нибудь закусить и выпить и около игравших не стоит никаких стаканов, даже чаю не было, и только один из партнеров в мундире инженерного генерала тоже курил сигару, а двое других даже и не курили.

Снова кончили роббер, выходящим был теперь Бегичев, а партнером Исая Ильича пожилой мужчина с седой бородой и тоже как будто со знакомыми чертами, казалось теперь, но не мог вспомнить имени и фамилии, а уже было ясно, что знал когда-то этого человека, заметил, как он берет в руки карты, каждую отдельно и не бросает карту на стол, а осторожно кладет, — да, да, он хорошо знает этого человека, это бывший революционер, тогда он обратил внимание на эти его осторожные движения, точно человек привык обращаться с бомбами или взрывчатыми веществами, но как его зовут?

— Как будто мы с вами когда-то встречались, — сказал Исай Ильич, обращаясь к партнеру, — а вот никак не могу вспомнить вашего имени-отчества и где мы встречались.

— Полагаю, что встречались и даже весьма, — как-то криво улыбаясь, ответил тот. — Петр Семенович Захаров, политически неблагонадежный, выслан был в места не столь отдаленные, а потом по отбытии срока служил под вашим началом в синоде, вы же меня устроили на службу, за что приношу еще раз благодарность, — и он опять криво улыбнулся.

— Петр Семенович! Ах, как же это я забыл, ведь несколько лет вместе служили и только после революции я потерял вас из виду... Где же вы дальше изволили жить?

— В девятнадцатом году я был расстрелян большевиками...

Исай Ильич больше ничего не спросил, только опять потер лоб, протер носовым платком очки и затянулся сигарой — она уже потухла, но он снова зажег ее на восковой свече, хотя помнил старое правило, что потухшую сигару лучше вновь не закуривать, она становится горькой и особенно вредной, но эта не была горькой, такой же сильно душистой, с совсем особенным ароматом, напоминавшим какое-то душистое курение, а не обычный запах гаванской сигары...

Еще сыграли несколько робберов. Уже как будто привык к этой необычной обстановке и к этим воображаемым людям — так пока и решил, что все это его воображение или его разыгрывают, подшу-

чивают над ним, от Анатаса всего можно ожидать. «Но как он собрал таких партнеров, Бегичева и Петра Семеновича, ведь он не мог их знать, не встречал никогда... Впрочем, все это выяснится, он сам мне расскажет, как это все устроил, чтобы подшутить над старым приятелем».

В бридже, как известно, двое играют заодно, ошибка одного полностью касается и другого и может вызывать его неудовольствие, возникают споры и препирательства, но тут играли мирно, почти не было упреков за неправильные назначения или неумелый ход, что даже удивляло Исая Ильича, но один раз, когда партнером Анатаса был Петр Семенович, Анатас накинулся на него довольно резко:

— У вас отыгранная черва, а вы передаете мне ход, не взявши на нее взятку, из-за этого мы потеряли малый шлем. В каждой масти тринадцать карт и надо считать, что вышло двенадцать и вашу тринадцатую никто побить не может при бескозырной игре.

— Я там никогда не играл в бридж, я был революционером, — ответил Петр Семенович довольно мягко, но этим ответом только еще больше возбудил хозяина.

— Здесь не там, там стало здесь, а революция, оправдываемая законами мироздания, только одна — смерть, все остальное должно идти эволюцией, как и все во всей вселенной, тамошние законы здесь не годятся, но математика остается, как было тринадцать карт каждой масти, так и здесь тринадцать, надо уметь считать до тринадцати и при игре необходимо внимание... лучше бы играть в шахматы, где только умелое мышление, а в бридже есть участие случая, кроме уменья важно, какие карты сданы, но случай остается и здесь... Но ничего, лет за сто научитесь играть, — уже мягче добавил Анатас и дальше игра пошла совсем мирно.

Карты снова были сданы и Исай Ильич, как настоящий старый игрок, совсем увлекся выискиванием лучшей комбинации для розыгрыша, он всегда хорошо играл в бридж и не раз говорил, что если играющий не помнит точно всех карт и не делает каждый ход вполне логичным и обоснованным, то он не игрок, а только шлепает картами и от таких партнеров бегать надо.

Когда игру кончили, был уже шестой час утра, по записям, которые вел хозяин, вышло, что Исай Ильич выиграл 324 пункта, что-то должен получить, но чего и сколько не знал.

— Каждый пункт десять тамошних лет, вы выиграли 324 пункта, значит ваше перевоплощение ускоряется на 3240 лет, но это по прежнему счету, у нас время считается совсем иначе, — пояснил хозяин.

— Я ничего не понимаю, — рассердился наконец Исай Ильич, — довольно же меня дурачить.

— Никто вас не дурачит, это вы нас дурачите, — вмешался в разговор четвертый партнер, самый солидный, в генеральском мундире военного инженера, до сих пор ничего кроме назначений не говоривший. — Вы делаете вид, что и меня не знаете, а сколько раз мы завтракали с вами у Кюба на Морской и не я ли вам тогда говорил в июле четырнадцатого года, что война неизбежна, а вы сдуру не послушались, уехали в отпуск и потом не могли вернуться в Петербург несколько месяцев... Это вы дурака ломаете, как будто не понимаете, что все мы покойники и что вы тоже умерли уже три дня назад и сегодня утром вас хоронят на монпарнасском кладбище, что вы комедию разыгрываете...

Исай Ильич вскочил со стула, покачнулся, удержался за край стола, а то упал бы, и ничего больше не говоря, покачиваясь, вышел в переднюю. Илья молча, но почтительно, подал ему шубу и калоши и он выбежал на улицу уже по глубокому снегу, столько нападало за ночь. Долго искал такси и когда наконец совсем промерзший подъехал к своему дому и отомкнул дверь своей квартиры, голова кружилась, шумело в ушах. Не раздеваясь, лег на диван, по ночам служивший и постелью, и сейчас же заснул.

Проснувшись, не понял, где он, который час, но сразу вспомнил происходившее ночью и в необъяснимой тревоге решил как можно скорее ехать на монпарнасское кладбище. Только умыл лицо холодной водой, кое-как причесал оставшиеся жиденькие волосы, поправил галстук, надел другие башмаки и во вчерашней шубе вышел на улицу, взял такси и поехал на Монпарнасс. Только теперь точно установил, что уже десять минут десятого, на какой час назначены похороны, в этой злой шутке он не помнил, да кажется и не говорили, так все глупо, абсурдно — и тем не менее торопил шофера. У ворот кладбища стоял катафалк, рядом прогуливался шофер. Подошел к нему и вполне понимая, что его вопрос странен и даже неуместен, спросил:

— Скажите пожалуйста, кого это хоронят, кого вы привезли?

Шофер с некоторым недоумением, но неожиданно вежливо ответил:

— Похороны по третьему разряду, даже ни одного венка... кажется, какой-то пожилой человек, — и после небольшой паузы еще добавил: — Печальные похороны, даже ни одного родственника и никакого духовного лица, гражданские похороны...

— А где могила, далеко... уже похоронили или вы только что приехали?

— Четверть часа назад, могила где-то на краю кладбища, могильщики ругались, что так далеко нести.

Исай Ильич даже не поблагодарил как следует шофера и почти вбежал в ворота кладбища, остановился у домика сторожа, расспро-

сил его, тот указал ему место по плану, на дальнем краю кладбища, и опять почти бегом Исай Ильич направился туда. Тяжело дыша от усталости, он подошел к открытой могиле, гроб был уже опущен в узкую яму, даже не обделанную цементом и четверо могильщиков уже начали закапывать гроб, слышны были удары земли о крышку.

— Кого это хоронят? Как фамилия умершего? — едва переводя дыхание, обратился он к старшему от похоронного бюро. Тот удивленно посмотрел на него, видимо, хотел ответить совсем нелюбезно, какое право имеет кто-то задавать такой вопрос, но прежде чем он ответил, Исай Ильич, поняв неуместность своего вопроса, добавил: — Извините пожалуйста, но это мой родственник, может быть ошибка... ради Бога скажите, как его фамилия... какой он, ведь вы, вероятно, клали его в гроб?

Видя такое волнение, почти плачущего человека, старший вынул из кармана полицейскую бумажку и прочел:

— Тут не совсем ясно написано, размазалось, вроде Труале или Труала, совсем пожилой человек...

— А каков он с виду, вы же видели, когда клали в гроб?

— Так, пожилой человек, уже седой, с маленькой бородкой, вот как у вас...

— Откройте гроб, я требую открыть гроб, — и Исай Ильич выхватил лопату у одного из могильщиков, который только что поднял ее с комом земли, чтобы бросить на гроб.

— Гроб открывать нельзя и вы, господин, пожалуйста отойдите, вам тут нет никакого дела, — уже довольно грубо сказал старший, а могильщик вырвал лопату. Тогда Исай Ильич, уже не помня себя, схватил кирку, лежавшую на краю ямы, спрыгнул вниз на гроб и с силой стал разбивать киркой крышку простого дешевого гроба. Двое могильщиков прыгнули за ним, его вытащили и старший крикнул полицейскому, случайно проходившему в это время по улице за забором кладбища.

Через полчаса Исай Ильич был уже в полицейском участке. Он сидел мрачный, смущенный и растерянный на скамейке в кабинете комиссара, а тот выслушивал показания служащего похоронного бюро и полицейского, посмотрел с удивлением на арестованного, подошел к нему, велел встать, совсем приблизился к его лицу, чтобы определить по дыханию, пьян ли он. Внимательно прочел его удостоверение личности, увидел, что это француз из русских и вслух по слогам с трудом и усмешкой прочел вторую часть его фамилии:

— Ипоруко-поло-женский, что-то двойное, китайское, только русские могут выдумывать такие фамилии, — еще раз внимательно оглядел арестованного — его почтенная внешность и такая необычайная фамилия расположили комиссара к арестованному, и как будто он вовсе не был пьян. Комиссар готов был уже замять это

дело, чтобы не обременять себя еще новым сложным протоколом, спросил арестованного, как он объясняет происшедшее, почему он совершил такой странный поступок, но ответ Исая Ильича заставил все-таки составлять протокол: Исай Ильич пояснил, что это может быть его самого хоронили. Такой ответ явно указывал на психическую ненормальность. Арестованного заперли в отдельную комнату с решеткой и был вызван полицейский врач. Только на следующее утро, согласно заключению врача, арестованного отправили в дом умалишенных Сент-Анн.

* *
*

Три месяца Исай Ильич пробыл в доме умалишенных. На все вопросы пациент отвечал вполне логично, высказывал даже интересные мысли, но неотступно настаивал на том, что он играл в карты с покойниками. Его утверждения были настолько фантастичны и в то же время так уверенны, что в больнице, где сотни и сотни больных проходят просто, как номера, им все-таки заинтересовались, но заинтересовались на час или на день и быстро он стал, как и прочие, только определенным номером в какой-то палате, — поступают все новые и новые больные и не может же врач каждого из них запоминать и именно им интересоваться.

Но оказался врач, не из той палаты, где был Исай Ильич, из другой, узнал о его пунктике помешательства и очень им заинтересовался. Отбывши дежурные часы в своей палате, он стал приходить к Исаю Ильичу, подолгу разговаривать с ним, все больше интересоваться этим случаем и с разрешения старшего врача поехал с ним посмотреть тот дом, где он играл в бридж с покойниками. Дом существовал, именно такой, как рассказывал пациент, и даже маленькие подробности, вроде разбитого изолятора от телефонного провода, о чем вспоминал Исай Ильич, все оказалось так, как говорил этот якобы психически ненормальный человек. Он помнил, что входя тогда вечером, по такому странному приглашению Анатаса в этот дом покойников, он заметил, что телефонная проволока сорвана и изолятор над входной дверью разбит. Оказалось, что весь дом наглухо закрыт, войти внутрь не удалось, и над входной дверью разбитый телефонный изолятор, — для доктора эта маленькая подробность была очень важна, значит Исай Ильич был действительно в этом доме или около дома совсем недавно, когда телефон был уже снят, а не говорил по воспоминаниям о давно бывшем. После осмотра дома доктор еще больше заинтересовался этим больным. Он не остановился на своих медицинских знаниях, приобретенных за университетские годы и за время работы в больницах, интересовался при-

менением психоанализа для лечения психических расстройств, и этот пациент становился для него все интереснее.

Все-таки через три месяца Исая Ильича освободили из больницы и он вернулся в свою квартиру; консьерж встретил его с удивлением, он знал, что квартирант сидит в сумасшедшем доме, но после того, как ему была уплачена немного просроченная аренда за триместр, с добавкой щедрой подачки, больше обычного, консьерж опять стал вполне любезен с квартирантом и постепенно забывал о случившемся.

Исай Ильич опять жил прежней размеренной и скромной жизнью, завтракал или обедал в том же ресторанчике, встречался изредка с немногими прежними знакомыми, и всем рассказывал о том странном и непонятном, что с ним случилось. Врач тоже бывал у него, создались почти дружеские отношения и Исай Ильич не думал, что тот хочет уличить его в душевном расстройстве и может быть снова вернуть в больницу, он охотно вел с ним долгие разговоры. Ему и самому было интересно выяснить, как могло случиться с ним это необъяснимое, эта игра в бридж в доме Анатаса и потом бывшее на кладбище. Всякими наводящими вопросами врач старался вызвать у Исая Ильича различные, почти забытые воспоминания, ему хотелось выяснить, было ли в эту странную ночь что-нибудь такое, чего не мог знать или даже вообразить его собеседник. Исай Ильич вспоминал всякие подробности этой ночи и постепенно выяснилось, что, например, ломберный стол, обитый голубым, он когда-то видел и раньше, может быть даже у того же Анатаса; откуда взялись восковые свечи с розетками, — как будто из прочитанного когда-то романа Гюисманса, из обстановки герцога Дезесента; всех партнеров он действительно когда-то знал и в ту ночь вспомнил, так же, как и лакея Илью, они действительно существовали, но все давно умерли; о том, что математика одинакова во всех мирах, он мог думать и раньше, также не раз думал о теории перевоплощения. Выходило, что все виденное и слышанное в ту ночь могло уже раньше быть в его подсознании и тут все это только сказалось в неожиданной концентрированной форме, ничего сверхъестественного и невообразимого он в эту ночь не узнал, кроме только одного, что в дополнение к его религиозности, к христианскому учению о потусторонней жизни, явилось как будто новое доказательство, что есть иная жизнь после смерти, и что, как это ни удивительно, там тоже ценится умственное развитие и игра ума...

* *
*

Прошло около года. Эта удивительная ночь в доме Анатаса уже стала бледнеть в сознании, как бледнеет все, что не повторяется,

как забываются даже самые дорогие близкие люди при долгом отсутствии.

Но вдруг все ярко воскресло, как будто только вчера это было. Получилось письмо от парижского нотариуса, в котором тот сообщал, что имеется духовное завещание на имя Исая Ильича — при этом была приведена его фамилия полностью, новая французская и прежняя неудобоваримая для французов, — нотариус просил по возможности без промедления посетить его контору. Оказывалось, что когда-то случилась катастрофа с аэропланом, о которой тогда много писали, четырехмоторный аэроплан, вылетевший из Нью-Йорка в Перу через Боготу, погиб где-то и его остатков не могли найти, насмотря на долгие розыски. И только недавно наконец обломки этого разбившегося аэроплана были обнаружены в дикой непосещаемой местности, в горных лесах Колумбии, между Боготой и Ла Паз; все бывшие в аэроплане погибли, даже часть скелетов была растащена дикими животными или птицами, но были найдены остатки чемоданов, портфелей и много разных металлических обломков и можно было установить имена погибших в катастрофе. В списках пассажиров этого аэроплана в нью-йоркской конторе было и имя Анатаса, но тогда этот список не был опубликован почему-то и только теперь его напечатали американские газеты, только теперь была твердо установлена смерть Анатаса и это дошло до нотариуса в Париже, у которого хранилось его завещание, и этот же нотариус уплачивал налоги по дому и даже делал мелкие ремонты, на что была оставлена какая-то сумма.

По завещанию свой дом в Париже, тот самый, где играли в бридж с покойниками, Анатас завещал Исаю Ильичу, кроме того пожизненную ренту, но с непременным условием, чтобы тот поселился в этом доме и только тогда он вступит в права владения. В Петербурге Анатаса считали очень богатым, русская революция, вероятно, значительно окарнала его состояние, но все-таки оставался еще в разных заграничных банках порядочный капитал, и кроме Исая Ильича наследником являлось американское общество «Пси», как известно, занимающееся вопросами телепатии и мозговых токов, исследованиями в этой области на строго научных основаниях.

Исай Ильич поражен был рассказом нотариуса. Несмотря на свою глубокую религиозность, он всю жизнь был склонен к суевериям, придавал большое значение числам и почему-то считал, что число 11 и число 22 играют какую-то особую роль в его жизни, и получивши тогда это странное письмо Анатаса, он подумал, что сегодня одиннадцатое ноября, одиннадцатое число одиннадцатого месяца, — а вот теперь оказывалось, что аэроплан погиб именно в этот день, тот самый, когда он получил письмо.

Очень странно было условие в духовном завещании, что он яв-

ляется наследником только в том случае, если поселится в этом доме. Нотариус пояснил, что это условие, как ни странно, но обязательно, хотя улыбаясь добавил, что ведь можно поселиться и таким образом вступить в права наследства, а затем когда угодно выселиться и остаться владельцем, смысл завещания этому не мешает.

Назавтра Исай Ильич уже все рассказывал доктору психиатру, теперь его приятелю, и тот при всем несогласии вводить в медицинские исследования непонятное и потустороннее, тоже был поражен этим совпадением дат, катастрофы с аэропланом и игрой в бридж.

Он вскочил с кресла, хлопнул себя ладонью по лбу и громче своего размеренного обычного голоса сказал:

— Какая глупость, мы столько раз с вами говорили и я ни разу не попросил вас показать мне это письмо Анатаса, пожалуйста покажите, на нем же должна быть дата или по крайней мере почтовый штемпель.

Исай Ильич стал нервно выдергивать из письменного стола один ящик за другим, переворачивая сложенные там письма, — он тоже забыл об этом письме, ни разу не вспомнил о нем с тех пор. Перерыл все в ящиках, письма не находилось, вывернул ящики на пол и стал откладывать каждое письмо и каждую бумажку, но письма не нашлось... Припоминал, что, прочитавши письмо, сунул его во внутренний карман пиджака, в этом пиджаке он провел за бриджем ночь в доме Анатаса, спал в нем, потом это жуткое происшествие на кладбище, арест, дом сумасшедших, все в том же пиджаке, — но когда ему вернули одежду при выходе из Сент-Анн, письма в кармане пиджака, видимо, не было и он забыл о нем.

И сам Исай Ильич и доктор смотрели на разбросанные по полу конверты и бумажки, оба молчали, оба были в недоумении — Исай Ильич потому, что так забыл о письме, а врач потому, что до сих пор не поинтересовался этим письмом.

Перешли на вопрос о завещанном доме, доктор находил, что было бы глупо отказаться от такого подарка, ровно ничего опасного в этом доме быть не может, надо решить, что это было временное затуманение мышления, что вполне допускается психиатрией, никакой ночной игры в бридж не было, все это игра воображения, но Анатас был, это полная действительность, и если он захотел оставить наследство своему другу, то как же этим не воспользоваться.

Все-таки еще несколько дней Исай Ильич колебался, принять ли это наследство, поговорил даже со священником, своим духовным отцом, и тот тоже посоветовал ему не отказываться от такого дара, особенно при ограниченных средствах и преклонном возрасте, и было решено отслужить в доме молебен, все комнаты окропить святой водой, на литургии Исай Ильич причастился и теперь можно было переезжать в дом.

*
* *

Он заявил о своем согласии на условия завещания и через день в присутствии нотариуса и двух свидетелей в дом были перевезены несложные пожитки нового владельца и он там поселился.

Исай Ильич пригласил жить с ним в качестве экономки пожилую женщину, Василису Саввишну, вдову священника, которую он давно знал и часто с нею встречался. Исай Ильич хорошо знал ее мужа не только по синодским делам, но и по личному общению и даже оказывалось, что они какие-то далекие родственники. Теперь, в эмиграции, в Париже, многие русские хорошо знали Василису Саввишну и за глаза и даже в глаза звали ее просто Саввишной, что она принимала, как должное и не только не обижалась, но даже считала, что такое обращение создает дружеские отношения. Когда-то Саввишна окончила духовное училище, была одно время учительницей в церковно-приходской школе, после многих мытарств попала в Париж и теперь, не имея никаких определенных занятий, никакого социального положения, была все-таки себе на уме, как-то скромно жила, иногда удачно лечила разными травками, шила по старинному обычаю для православных покойников шелковые или шерстяные туфли разного цвета, в зависимости от пола и возраста умершего, знала все, что нужно, когда человек умирает. Она оказывалась всегда полезной и даже необходимой при похоронах, и кроме того слыла за ясновидящую и если многие из ее предсказаний не исполнялись, что-то все-таки сбывалось, об этом запоминали и ее репутация предсказательницы уже установилась.

Исай Ильич давно намеревался поселить ее у себя, не только для услуг, но чтобы не было так одиноко, однако, не считал это возможным при своих двух скромных комнатках и быстром истощении денежных запасов, а теперь без колебаний это сделал и также без малейших колебаний согласилась на это и Саввишна. Она знала всю историю с этой ночной игрой в бридж, знала уже и о завещании Анатаса, знала и всех немногочисленных знакомых Исая Ильича, в том числе и доктора из дома сумасшедших, знала и о нотариусе.

Тотчас же решила переехать; Исай Ильич был ей приятен и родственен, и теперь у него большой собственный дом, а до сих пор жила в какой-то жалкой комнатушке без воды и отопления, да еще и за эту конуру надо было платить, и консьерж относился не совсем почтительно, потому что не могла давать больших чаевых.

Когда рано утром она на такси привезла свои старенькие чемоданы, калитка оказалась незапертой, но на звонок у входной двери никто не отвечал. Позвонила еще, подождала, опять позвонила, но никто не отворял. Обошла вокруг дома, постучала даже зонтиком в спущенные жалюзи, еще позвонила и уже встревоженная пошла

к соседнему консьержу посоветоваться, что делать. Вдвоем они опять звонили и стучали, но ответа не было. Тогда консьерж вызвал полицейских, потом пришел и комиссар местного участка, позвали слесаря, но он не мог отомкнуть замка, внутри был ключ и кроме того заперто на задвижку — дверь пришлось взломать.

Когда вошли в большую комнату, следующую за передней, именно в ту, где играли в бридж покойники, вошедшие увидели совсем необычайное: посреди комнаты стоял ломберный стол, затянутый голубым сукном, на нем были рассыпаны карты, а в кресле у стола, держа в руке несколько карт, сидел Исай Ильич — он был мертв.

Вызванный полицейский врач установил, что смерть произошла несколько часов назад, видимо, от кровоизлияния в мозг, и высказал даже удивление, что лицо умершего совершенно спокойно, никаких конвульсий не было, никакой слюны или пены у рта, глаза открыты и умерший как будто улыбается — смерть была без всяких страданий. Врач сразу подписал свидетельство о естественной смерти, никакого вскрытия трупа не требуется, тем более, что входная дверь была заперта изнутри.

Как-то само собой вышло, что всем стала распоряжаться Саввишна. Она не раз и не одному человеку говорила:

— Когда горе какое, человек помер, не плакать нужно, а распорядиться, благопристойно похоронить и потом за него молиться. Он оттудова уже никаких распоряжений сделать не может. Мы, еще здесь оставшиеся, должны все в порядок привести, как ему хотелось бы, а он, когда наш черед придет, там нам поможет...

Еще когда не ушли полицейские и врач, она неслышными шагами обошла весь дом и в спальне покойного пошарила под подушкой, там ничего не нашлось, но в изголовьи кровати под матрасом оказался портфель с бумагами, быстро их пересмотрела, узнала адрес нотариуса и доктора, но денег в портфеле не было, а она была уверена, что они должны быть, и надо их поскорее найти, а то комнаты могут запечатать. Вспоминая неоднократные разговоры с Исаем Ильичом о том, как прятали все ценное от большевиков, она внимательно осмотрела спальню, посмотрела на шкафу, вверху за портьерой, осмотрела даже, нет ли неплотных половиц в паркете, потом обратила внимание на туалетный столик с зеркальцем для бритья. В столике был видвижной ящик, но не во всю ширину. Она выдвинула ящик до конца, поставила на пол, а рукой стала ощупывать в столике налево и направо, и там оказались деньги, свернутые в трубочки кредитные билеты. Она была довольна своей догадкой, как раз о таком способе прятанья недавно говорили с Исаем Ильичом, и свою находку она считала следствием умного мышления, — Саввишна действительно была весьма неглупая, а некоторые даже называли ее Василисой Премудрой.

Везде и всегда, особенно во Франции, люди падки на всякие зрелища и происшествия, соседи уже узнали, что в доме полицейские и врач, уже передавали друг другу, что новый хозяин дома умер ночью за голубым карточным столом с картами в руках, десяток людей бродили около дома, заглядывая в двери и окна, а соседний консьерж ходил уже по дому, как у себя. Саввишна сунула ему тысячу франков и послала отправить сейчас же две телеграммы, одну нотариусу, а другую доктору психиатру, коротко написала, что ночью скончался Труази и подписалась «Саввишна».

На похороны дал деньги нотариус, из оставшихся у него еще значительных сумм Анатаса, он уже поговорил с Саввишной, очень заинтересовался тем, что она какая-то дальняя родственница умершего. Получался исключительно интересный юридический случай, наследник умер еще до судебного решения о введении его в права наследства, а теперь его наследником может оказаться эта пожилая и совсем не простенькая женщина и все это вместе обещает сложный процесс, от которого адвокату причтется существенная сумма.

* *
*

Хоронили Исая Ильича на монпарнасском кладбище в теплый солнечный день, был нотариус и доктор, и еще оказалось с десяток каких-то людей, знакомых покойного и незнакомых, был священник с псаломщиком, цветы, большой венок от Саввишны и на соседнем дереве или может быть в кустах все время пел дрозд, старался выводить какие-то новые мелодии, вероятно, молодой, только учился петь, и эта ничтожная как будто подробность делала похороны совсем не печальными. Они были вовсе непохожими на те первые, мрачные, холодные и ненастные, когда Исай Ильич вообразил, что это его хоронят.

Когда окончился чин погребения, старший могильщик подал, как полагается, лопатку с комом земли сначала священнику, потом Саввишне. Она бросила комок на крышку гроба, а затем вынула из сумочки несколько игральных карт и тоже их кинула веером на гроб, карты легли на крышку гроба крапом вверх, но одна перевернулась, это была девятка треф, и старый могильщик, улыбаясь, вполголоса сказал другому, но так, что все слышали:

— Девятка, дамблэ, всех побил...

Окружавшие могилу были удивлены этой странной выходкой Саввишны, особенно священник, он протянул руку к кадилу, которое держал псаломщик, и опять стал крестообразно кадить над могилой, а могильщики быстро засыпали ее землей, тяжелые комья гулко ударялись о гроб, карт уже больше не было видно.

Дрозд продолжал выводить свои импровизированные мелодии, не обращая никакого внимания на присутствие людей, и это казалось даже странным, дрозды обычно пугливы. Могилу зарыли, присутствовавшие разошлись, совсем не в печальном настроении, и всем особенно запомнились эти карты Саввишны, брошенные на крышку гроба.

* *
*

Доктору захотелось непременно поговорить с Саввишной, узнать от нее что-нибудь еще о покойном, она видела его за день до смерти и оказывалось, что много раз встречалась с ним раньше. Этот случай вероятно временного помешательства был совсем особенный, во всем остальном пациент сумасшедшего дома проявлял полную нормальность. Его тоже интересовала и внутренность дома, где была эта игра в бридж с покойниками, даже этот голубой стол и восковые свечи, все подробности рассказа этого душевнобольного, какие могли быть известны этой женщине.

Дня через два он приехал в дом Анатаса, а теперь неизвестно чей, расспрашивал Саввишну, была ли уже примята постель или Исай Ильич в этот вечер совсем не ложился, даже погладил рукой голубое сукно на ломберном столе, потрогал карты, рассыпанные по столу, Саввишна не тронула их, хотя видимо убирала комнату. Ничего ценного с медицинской точки зрения он все-таки не узнал, этот случай оставался загадочным, но сама Саввишна его заинтересовала, несмотря на ее корявый французский язык, и он попросил разрешения еще раз посетить ее.

Через несколько дней он снова приехал, оказалось, что Саввишна живет теперь одна в доме, никто ее не выселяет, никакие комнаты не запечатаны, ясно было, что нотариус принял уже какие-то меры. На этот раз доктор рассказал Саввишне, что мать его русская, что он в детстве говорил по-русски, потом постепенно во французской школе язык забывал, но теперь снова, несмотря на свою занятость, берет уроки русского языка, чтобы в подлиннике читать медицинские и другие книги на русском языке. Рассказ доктора сразу расположил к нему Саввишну и теперь она стала говорить много и охотно, то по-французски, то по-русски, поясняя одну фразу другой. Учитывая хорошее настроение Саввишны, доктор спросил:

— Скажите пожалуйста, почему вы бросили карты на крышку гроба, что это, какой-то старинный ритуал, какой в этом смысл?

— А вот вам они запомнились, и другим запомнились, будут о них рассказывать и вспоминать покойного. Была вот у человека жизнь самая обыкновенная, но один раз что-то особенное с ним случилось, так вот это люди и помнят потом. Покойнику на лоб веночек надевают и какую-нибудь вещицу, что он любил, в гроб кладут, а иной раз и драгоценное кольцо на пальце оставляют, так из древности ведется.

Доктор еще ничего не ответил, как Саввишна продолжала:

— А вы, доктор, в Бога верите или, как некоторые ученые, думаете, что ни Бога нет, ни чертей, а ведь есть и Бог, и черти есть?

У Саввишны с колен упал на паркет футляр от очков, она нагнулась поднимать и доктор за эти секунды подумал, что может быть и у этой женщины бывают зрительные галлюцинации и тогда к ее словам нужно относиться по-иному, говорит, что видела, а в действительности этого не было, только она видела. В дом сумасшедших попадают уже чем-то себя проявившие, когда явно для всех, что они ненормальны, а сколько других, остающихся на свободе, окружающие даже не понимают, что они тоже сумасшедшие, и эти может быть самые интересные для психоанализа.

— Вы так уверенно говорите, что и Бог есть и что черти есть, а вы когда-нибудь чертей видели? — улыбаясь спросил доктор.

— А и совсем правильно спрашиваете, Бога никтоже виде нигдеже, написано в катехизисе, а что до чертей, то такого как рисуют, с рожками и хвостом, я не видала, а черти есть и я встречала. Они совсем как люди, люди и есть, бывает, что хороший человек, а черт его захватит и делает он все, что черт приказывает, и думать начинает, как черт велит. Наипервейшее дело заставить его думать, что Бога нет, чтоб сам так думал и другим внушал и тогда выходит, что из добрых его желаний самое большое зло получается... Решает человек, что без Бога людям счастливее будет жить, а если еще нечистая сила власть ему в руки дает, то множество несчастий для людей он сделает, жить им станет тошно и скучно, самого любимого лишат, а сам думает по дьявольскому наваждению, что это для счастья их делает...

Ответ Саввишны был совсем неожиданным для доктора, он перевел разговор на другое:

— А вы живете тут теперь совсем одна? Не боитесь?

— Чего бояться? Ангелы от Бога, а черти не страшны, когда живешь с мыслью о Боге, они могут проходить через затворенные двери, а человек не пройдет, если все заперто, так не войдет. Если кто ко мне попробует, так не обрадуется... Револьверов у меня нету, а если бы и был, стрелять я не умею, а вот есть у меня такая сприн-

цовочка, что как прысну, то зрения лишится или на всю жизнь обезображен будет, а сплю я чутко.

— Спринцовочка? Какая же это у вас спринцовочка?

— Если вам интересно, могу вам рассказать, не секрет, она у меня всегда стоймя в коробочке стоит, а в ней царская водка, кислота такая, и прыскать можно так аршина на два, а то и дальше, пущай кто полезет, так я ему и прысну.

— Откуда же вы взяли такую спринцовочку, — спросил доктор, полагая, что Саввишна не совсем понимает, о чем говорит, но Саввишна рассказала подробно:

— С покойным мужем моим, священником, мы в небольшом городке в Финляндии жили, недалеко от Петербурга, в маленьком церковном домике, а под домом были подвалы с каменными сводами. Мужу моему Исай Ильич, который был важным чиновником при святейшем синоде, ведь он уже в генеральском чине помер, предлагал приход в Петербурге устроить, но покойный мой супруг, царство ему небесное, не хотел уезжать из Финляндии. Еще за год, а может и больше, точно видел, что большие беды будут в Петербурге, революцию предвидел, как теперь я понимаю. Сам-то ее не увидел, за месяц умер, а я оставалась еще в этом самом домике, пока нового священника не назначат, да и назначать уже некому было, многих уже в расход выводили... Так вот в это время, когда я уже одна жила в домике, поселился у меня один человек, такой приятный и обходительный, и как мне теперь по рассказам Исая Ильича припоминается, это и был тот Петр Семенович, с которым он в карты играл потом, с покойником, большевики его расстреляли. Очень хороший был человек и все в подвале какие-то опыты делал, когда у него деньги были мне предлагал, а потом взрывчик устроил в этом подвале, я испугалась и попросила его уехать... Так вот это он и оставил мне эту спринцовочку, объяснил, как надо ею действовать, лучше всякого револьвера, если несколько капель этой жгучей кислоты на открытое тело попадут, так про всякую стрельбу или грабеж забудет, помощи от боли просить станет... да и что у меня можно грабить, деньги, что я после Исая Ильича нашла, припрятала, в банк положила и чеками плачу, скромно для себя самой, для его душеньки что можно делаю, сорокоуст заказала, каждый день молюсь за него и так до конца дней молиться буду, кое-что бедным даю, что еще меня бедней.

Разговор был необычен и эта пожилая и как будто простенькая женщина становилась интересна доктору, он захотел вызвать ее на дальнейший разговор:

— А вот кто-нибудь ворвется к вам ночью, вы не успеете прыснуть на него и он заставит вас чек подписать.

— Это предусмотрено, я в банке к директору пошла, объяснила ему, что я одинокая старая женщина, что меня могут заставить чек подписать под угрозой с насилием, так вот чтобы на чеке была обязательно кроме моей подписи еще цифра 667 и только по такому чеку платить, а если чек будет с подписью, но без этой цифры, то не платить и того, кто придет с ним, арестовать. Директор смеялся, одначе согласился...

— Почему вы взяли цифру именно 667?

— Потому что 666 цифра апокалиптическая, а я вместо последней шестерки семерку взяла, — охотно объяснила Саввишна и опять спросила доктора:

— А вы, доктор, на мой вопрос мне не ответили, верите ли вы в Бога и в чертей, так и не отвечайте, если не хотите, многие ученые не верят, во многих книгах написано, что нет ни Бога ни чертей, а в других обратное написано, но я вам скажу, что жить лучше, когда в это веришь, не так пусто и одиноко на земле, а особенно еще если знаешь, что и другая жизнь есть за смертью...

Уже сколько-то времени слышались далекие раскаты грома, явно приближаясь. В одном из окон не было спущено жалюзи, блеснула молния, потом еще, гром был ближе, по стеклу окна забарабанили крупные капли и даже как будто град и вдруг одновременно с яркой вспышкой раздался оглушительный удар грома, казалось, что ударило в дом, окно растворилось, электричество потухло, сильный порыв ветра ворвался в комнату, что-то посыпалось. Доктор вздрогнул от этого необычно резкого удара, но Саввишна спокойно перекрестилась, в темноте вышла в соседнюю комнату, принесла большую тряпку, бросила ее у окна, где была уже лужа, затворила окно, спустила жалюзи, зажгла на голубом столе почти догоревшую восковую свечку и стала подбирать с пола карты, сдутые порывом ветра. Несколько карт лежали на паркете крапом вверх, а одна была перевернута, это был король бубен. Саввишна собрала карты, снова положила на голубой стол, а бубнового короля протянула доктору:

— Вот, доктор, только эта карта была открыта и это Исай Ильич, спросите любую ворожею и она скажет, что такой вот пожилой человек, как он, блондин, бритый, будет король бубен... Вы скажете — бабье пустословие и невежество, а можно думать и по-иному.

Гром еще гремел, но удары были слабее, гроза удалялась, дождь затихал. Саввишна опять подошла к голубому столу, взяла из колоды одну карту, двойку или тройку, где больше белого места, карандашом написала в разбивку А Н А Т А С, и подала карту доктору.

— Вот прочитайте это слово, вы русские буквы знаете, только не слева направо, как мы читаем, а справа налево, что выходит?

Выходило — С А Т А Н А. Доктор держал в руке карту, молчал, Саввишна продолжала:

— Я сама поняла это только после смерти Исая Ильича, не совсем знала фамилию бывшего владельца, а когда в документах прочитала, так и удивилась, и задумалась... Если бы Исай Ильич тоже так наоборот прочитал, может быть не принял бы наследства, испугался бы, но я его уговорила бы. Все деньги одинаковы, черти сами денег не печатают, деньги не меченые, от кого угодно можно взять, лишь бы на доброе употребить и сатана не страшен, если с Богом жить.

Доктор уходил от Саввишны взволнованный, никогда не бывал в таком настроении. Совсем ясное раньше, становилось теперь неясным, точно Саввишна повернула в его мозгу какой-то выключатель на другой ток мышления, и — «Может быть нужен психоанализ самого себя...»

ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

Э Х О (1)

Когда рояль дрожит струнами,
И ночь, готовя эпилог,
Прохладой, шорохом и снами
Вливается через порог,
И поздний сон оберегая,
Послушным клавишем звуча, —
Не ты, мой друг, но та, другая, —
Мой легкий сон, моя свеча,
Моя звезда, — иль отраженье
В уже распавшейся волне, —
Вечернее самосожженье,
Затрепетавшее в струне,
И все, что будет долго длиться
Земной любви наперекор, —
Летать и падать, и томиться,
Как это гор, как эхо гор — —

ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

Э Х О (2)

Тебя еще как будто нет,
И я загадывать не смею
Лицо под молодостью лет,
Любовь под нежностью твоею.
Предчувствие. Иль сон. Иль вздох, —
Почти печаль, почти страданье, —
Лишь имени начальный слог,
Любви назначивший свиданье.
Но вот уже, издалека,
Биенье сердца настигая,
Прощальной молнией смычка, —
О, дорогая, дорогая, —
Живой водой, ночной травой,
Разливом утреннего смеха, —
Во всех признаньях голос твой,
В ночь закатившееся эхо — —

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ

* *
*

Закатный свет и тающего снега
Прозрачный отблеск на лице дрожит.
Синеющее, нежащее небо
Тускнеет. Значит скоро заснежит.

Идешь тропинкой. Тихо и бездумно.
Ужель опять в морозное стекло
Ударит веткой ветер многошумный
И утром скажешь: снова замело!

Но даже в этом тусклом повечерьи
Весть о ином, какой-то тайный знак —
И в жизни есть не только лишь потери,
Не только суеверие и мрак!

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ

* * *

Двусмысленность второстепенных деталей —
Летучие сумерки, ясность звезды.
Когда-то мы здесь проходили, блуждали,
Но ветер замел на дорогах следы.

Какие-то ветки, сосновые шишки —
На ощупь песок сыроват и упруг.
Но все это в общем осечки, ошибки,
Какие-то странные вещи, мой друг...

«Ходить воспрещается» — значит не надо?
А вот мы пройдем, ни на что не смотря
Какое убожество райского сада
Под небом безжалостного ноября!

1956

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОИ

* *
*

Там столб. И на столбе луна.
Стихи с горчинкой. И холодный вихорь.
Вчера, сегодня — здесь не будет тихо
Над пустотой осенних эспланад.

Там столб. И на столбе луна
Давно сидит, как старый вещий филин.
Сегодня мы с тобой не говорили.
Я был один. И ты была одна.

1958

ЮРИИ ТРУБЕЦКОЙ

* *
*

... И стихов прелестная бессмыслица,
Как заката нежность, лес в снегу.
Может впереди влюбленность числится,
Но теперь — не знаю, не могу.

Не могу поверить в несусветицу,
Что и как. Все — беспредметный бред.
Вон, в окне чужом, лампада светится.
Возражаешь? Да, пожалуй, нет...

1959

ЛИТЕРАТУРА ИСКУССТВО

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

По поводу статьи Шестова „Творчество из ничего“

Лев Шестов мог бы стать одним из самых выдающихся и проницательных русских литературных критиков нашего века. Пишу «мог бы стать», а не «был» потому, что литературе — особенно во второй половине жизни — он уделял сравнительно мало внимания и что мысль его была занята вопросами преимущественно философскими. Жалеть об этом было бы нечего: то, что Шестов дал в философии, настолько оригинально и обнаруживает ум настолько пытливый, тревожный и смелый, что должно бы, как говорится, войти в нашу национальную духовную сокровищницу. Но обидно все-таки, что в литературной критике он был лишь дилетантом, или точнее — гастролером — обидно тем более, что критика — едва ли не беднейшая, самая скудная и по уровню своему самая элементарная часть русской литературы.

Мы нередко говорим о том или ином «великом» русском критике, — в частности о Белинском. За Белинским, разумеется, очень большие исторические заслуги: он первый расставил крупнейших русских писателей по принадлежащим им местам и сделал это и авторитетно, и почти безошибочно. Белинский уловил и понял гениальность Лермонтова, почувствовал что-то необычайное в юном Достоевском... Это бесспорно. Но все-таки, если Пушкин — великий поэт, если Толстой — великий романист, то применять тот же эпитет к писаниям Белинского можно лишь с оговоркой насчет крайней растяжимости понятия «величия». К писаниям его учеников и последователей — тем более. В большинстве случаев они по существу были не столько критиками, сколько публицистами, и не имея по

цензурным условиям возможности высказывать свои политические и социальные суждения открыто, прямо, прибегали с этой целью к разбору романов или повестей. Особенно это очевидно у Добролюбова, — например, в знаменитой статье «Что такое обломовщина». Критики иного, более консервативного лагеря были к художественному творчеству внимательнее и оставили образцы подлинного критического анализа, — как разбор романов Толстого, сделанный К. Леонтьевым, или статьи Н. Н. Страхова, правда, несколько вялые, будто анемичные, но порой, в отдельных замечаниях, тончайшие. Однако влияния они не имели и откликов не вызвали. Многоликий, нарицательный Скабичевский голоса их заглушал — и заглушил.

В наш век нарицательный Скабичевский популярность свою утратил, — если не в советской России, где он успешно «перестроился» на новейший лад, то по крайней мере в эмиграции и вообще в интеллигенции, сложившейся до революции. Но убогость русской критики осталась приблизительно той же, какой была прежде, и толстовское определение ее — «критика — это когда глупые пишут об умных» — по-прежнему верно. Конечно, были исключения. Но ни одного исключения решающего, несомненного, окончательного назвать нельзя, — кроме дилетантов, или скажу еще раз — гастролеров, которые напишут одну или две статьи и тут же переходят к делам, представляющимся им более важными.

Лев Шестов мог бы стать перворазрядным критиком, если бы вопрос о природе человеческого разума и об основательности претензии этого разума на всесилие и всезнание не волновал его гораздо больше, чем литература сама по себе. У него было острое чутье, острый слух, но подходил он к литературе со своих неизменных общих позиций и обращался лишь к тем писателям, которые давали для его раздумий нужную пищу. Только те писатели его и вдохновляли, которые имели какое-то касательство к его постоянному, измучившему, духовно его истерзавшему предположению-догадке, что дважды два вовсе не обязательно четыре, со всеми выводами отсюда: Достоевский, Толстой, Ибсен (о нем он написал замечательную, к сожалению, совсем забытую статью), вдалеке — Шекспир, о котором по справедливости, от лица человечества, можно бы сказать, что это — «наше все», как сказал это от лица России о Пушкине Аполлон Григорьев. Наконец — Чехов.

Статья «Творчество из ничего» написана давно, сразу после смер-

ти Чехова. Сейчас она едва ли покажется парадоксальной, как должна была показаться пятьдесят лет тому назад, когда о Чехове говорили, как о «мягком, нежном лирике», о «поэте сумеречных настроений» и «певце хмурых людей». Шестов характеризует Чехова, как писателя беспощадного и признает у него «удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди».

«В руках Чехова все умирало», — утверждает он.

Верно ли это? Бунин считал, что верно, и настойчиво выделял статью Шестова из всего, что вообще о Чехове было написано. Однако, если сопоставить то, что он сам о Чехове сказал, с тем, что сказал Шестов, обнаруживается противоречие: Бунин приписывал Чехову суровость, жестокость по отношению к людям, Шестов же говорит лишь о человеческих верованиях, об иллюзиях, о «цельных» и «стройных» мировоззрениях и миросозерцаниях, от которых Чехов не оставляет камня на камне. Жалости к людям он у Чехова не отрицает и даже склонен счесть, что человек, у которого иллюзии отняты, больше нуждается в помощи и сочувствии, чем тот, который видит «огоньки впереди». Не случайно он из всех чеховских повестей и рассказов охотнее всего останавливается на «Скучной истории», где бедный старый профессор на вопрос Кати «что делать?» отвечает «не знаю... по совести, Катя, не знаю», — не потому, что ему до Катиных мучений и недоумений нет дела, а потому, что он не хочет ее обманывать. «В руках у Чехова все умирало»: да, умирали надежды, разлагался упрощенный, наспех найденный «смысл жизни», но и только. Люди не умирали, и во всяком случае в пропасть Чехов их не толкал. Шестов в суждениях о Чехове — лишь частично союзник Бунина и оставляет его на полдороге. По-видимому, сам Бунин убедился в этом, когда в последние годы жизни перечитал «Творчество из ничего»: расхождение запечатлено в тех оговорках, которые воспроизведены в посмертной бунинской книге, Чехову посвященной.

Как бы то ни было, статья Шестова в высшей степени содержательна и своеобразна. Надо бы желать, чтобы с ней ознакомились советские читатели: она заставит их взвесить, проверить, пересмотреть те стереотипные фразы о художнике, будто бы «звавшем к светлому будущему» — фразы, столь же ребяческие и фальшивые, как и былая болтовня о «певце сумеречных настроений», — которые в московской печати обязательны. Чехов — явление сложное, в ду-

ховном смысле двоящееся, мало отчетливое. Статья Шестова сложность эту вскрывает и, соглашаешься с ней или нет, побуждает о многом задуматься. А в чем же ином назначение критики? Лишь в редчайших, исключительных случаях, критик вправе счесть себя учителем. Зато собеседником, как бы вслух думающим, принимающим за свои слова ответственность, предлагающим вопросы, на которые сам не нашел ответа, критик должен быть всегда. Шестов в качестве критика тем и ценен, что мыслит бесстрашно и самостоятельно, к этому же приглашая и нас.

ЛЕВ ШЕСТОВ

ТВОРЧЕСТВО ИЗ НИЧЕГО

(А. П. ЧЕХОВ)

Résigne toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute.

Ш. Бодлер

I

Чехов умер — теперь можно о нем свободно говорить. Ибо говорить о художнике — значит выявлять, обнаруживать скрывающуюся в его произведениях «тенденцию», а проделывать такую операцию над живым человеком далеко не всегда позволительно. Ведь была же какая-нибудь причина, заставлявшая его таиться, и, разумеется, причина серьезная, важная.

Мне кажется, многие это чувствовали, и отчасти потому у нас до сих пор нет настоящей оценки Чехова. Разбирая его произведения, критики до сих пор ограничивались общими местами и избитыми фразами. Знали, конечно, что это дурно: но все лучше, чем выпытывать правду у живого человека. Один Н. К. Михайловский попробовал ближе подойти к истокам творчества Чехова, и, как известно, с испугом, даже с отвращением отшатнулся от него. Тут, между прочим, покойный критик мог лишний раз убедиться в фантастичности так называемой теории искусства для искусства. У каждого художника есть своя определенная задача, свое жизненное дело, которому он отдает свои силы. Тенденция смешна, когда она рассчитывает заменить собою дарование, прикрыть беспомощность и отсутствие содержания, когда она заимствует на веру из запаса ходких в данную минуту идей. «Я защищаю идеалы — стало быть все должны мне сочувствовать» — в литературе такого рода претензии высказываются сплошь и рядом — и знаменитый спор о свободном искусстве, повидимому, держался только на двояком смысле употреблявшегося противниками слова «тенденция». Одни хотели думать, что благород-

Из книги «Начала и концы», С.-Петербург, 1908.

ство направления спасает писателя, другие боялись, что тенденция закабалит их на службе чуждым им задачам. Очевидно, обе стороны напрасно волновались: никогда готовые идеи не прибавят дарования посредственности, и, наоборот, оригинальный писатель во что бы то ни стало поставит себе собственную задачу.

У Чехова было свое дело, хотя некоторые критики и говорили о том, что он был служителем чистого искусства и даже сравнивали его с беззаботно порхающей птичкой. Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: тем или иным способом убивал человеческие надежды. В этом, на мой взгляд, сущность его творчества. Об этом до сих пор мало говорили — и по причинам, вполне понятным: ведь то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре. Но как казнить талантливого человека. Даже у Михайловского, показавшего на своем веку не один пример беспощадной суровости, не поднялась рука на Чехова. Он предостерегал читателей, указывал на «недобрые огоньки», подмеченные им в глазах Чехова. Но дальше этого он не шел: огромный талант Чехова подкупал ригористически строгого критика.

Может быть, впрочем, не последнюю роль в относительной мягкости приговора Михайловского сыграло и его собственное положение в литературе. Тридцать лет подряд молодое поколение слушало его, и слово его было законом. Но потом всем надоело вечно повторять: Аристид справедлив, Аристид прав. Молодое поколение захотело жить и говорить по-своему, и в конце концов старого учителя подвергли остракизму. В литературе существует тот же обычай, что и у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков. Михайловский отбивался, сколько мог, но он уже не чувствовал той твердости убеждения, которая вырастает из сознания своего права. Внутренне он как будто чувствовал, что правы молодые — не тем, конечно, что они знают истину: какую истину знали экономические материалисты! А тем, что они молоды, что у них жизнь впереди. Восходящее светило всегда светит ярче заходящего, и старики должны добровольно отдавать себя на съедение молодым. Михайловский, повторяю, это чувствовал и это, быть может, отнимало у него прежнюю уверенность и твердость в суждениях. Он, правда, по-прежнему, как мать гетевской Гретхен, не принимал попадавшихся ему случайно богатых даров, не посоветовавшись предварительно со своим духовником. Дар Чехова он тоже носил к пастору и, очевидно, он тем был заподозрен и отвергнут, — но идти против общественного мнения у Михайловского уже не было смелости. Молодое поколение ценило в Чехове талант, огромный та-

лант, и ясно было, что оно от него не отречется. Что оставалось Михайловскому. Он пробовал, говорю, предостерегать. Но его никто не слушал, и Чехов стал одним из любимейших русских писателей.

А между тем справедливый Аристид и на этот раз был прав, как он был прав, когда предостерегал против Достоевского: теперь Чехова нет, об этом уже можно говорить. Возьмите рассказы Чехова — каждый порознь или, еще лучше, все вместе: посмотрите его за работой. Он постоянно точно в засаде сидит, высматривая и подстерегая человеческие надежды. И будьте спокойны за него: ни одной из них он не просмотрит, ни одна из них не избежит своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее — переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал — не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди. Более того, в этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до виртуозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе. Я без колебания ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось делать напряжения, чтобы справиться со своей жертвой. От Мопассана сплошь да рядом жертва уходила хоть помятой и изломанной, но живой. В руках Чехова все умирало.

II

Нужно помнить, хотя все это знают, что в первых своих произведениях Чехов менее похож на того Чехова, к которому мы привыкли в последние годы. Молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку. Свои работы он печатает в юмористических журналах. Но уже в 1888-1889 годах, когда ему было всего 27-28 лет, появились две его вещи: рассказ «Скучная история» и драма «Иванов», которыми положено начало новому творчеству. Очевидно, в нем произошел внезапный и резкий перелом, целиком отразившийся в его произведениях. Обстоятельной биографии Чехова мы еще не имеем, да вероятно и иметь не будем, по той причине, что обстоятельных биографий не бывает — я, по крайней мере, не могу назвать ни одной. Обыкновенно, в жизнеописаниях нам рассказывают все, кроме того, что важно было бы узнать. Может быть, когда-нибудь выяснится с мельчайшими подробностями, у какого портного шил себе платье Чехов, но наверное мы никогда не узнаем, что произошло с Чеховым за то время, которое протекло между

окончанием его рассказа «Степь» и появлением первой драмы. Если хотим знать, нужно положиться на его произведения и собственную догадливость.

«Иванов» и «Скучная история» представляются мне вещами, носящими наиболее автобиографический характер. В них почти каждая строчка рыдает — и трудно предположить, чтобы так рыдать мог человек, только глядя на чужое горе. И видно, что горе новое, нежданное, точно с неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будет, а что с ним делать — неизвестно.

В «Иванове» главный герой сравнивает себя с надорвавшимся рабочим. Я думаю, что мы не ошибемся, если приложим это сравнение и к автору драмы. Чехов надорвался, в этом почти не может быть сомнения. И надорвался не от тяжелой, большой работы, не великий непосильный подвиг сломил его, а так, пустой незначительный случай: упал, споткнувшись, поскользнулся. И вот бессмысленный, глупый, невидный почти случай, и нет прежнего Чехова, веселого и радостного, нет смешных рассказов для «Будильника», а есть угрюмый, хмурый человек, «преступник», пугающий своими словами даже опытных и бывалых людей.

При желании легко отделаться и от Чехова и от его творчества. В нашем языке есть два волшебных слова: патологический и его собрат «ненормальный». Раз Чехов надорвался, мы имеем совершенно законное, освященное наукой и всеми традициями право не считаться с ним, в особенности, если он уже умер и, стало быть, не может быть обиженным нашим пренебрежением. Это при желании отделаться от Чехова. Но если такого желания почему-либо нет, слова «ненормальный» и «патологический» на вас не произведут никакого действия. Может быть, вы пойдете дальше и попытаетесь найти в чеховских переживаниях критериум наиболее незыблемых истин и предпосылок нашего познания. Третьего выхода нет: нужно либо отвергнуть Чехова, либо стать его соучастником.

В «Скучной истории» герой — старый профессор; в «Иванове» герой — молодой помещик. И, однако, тема в обоих произведениях одна и та же. Профессор надорвался и этим отрезал себя от своей прошлой жизни и от возможности принимать деятельное участие в человеческих интересах. Иванов тоже надорвался и стал лишним, ненужным человеком. Если бы жизнь была так устроена, что одновременно с утратой здоровья, сил и способностей наступала и смерть, старый профессор и молодой Иванов не могли бы просуществовать и часу. Для слепого ясно: оба они разбиты и для жизни не годятся. Но по непонятным для нас причинам мудрая природа не озаботилась о такого рода совпадении: сплошь и рядом человек продолжает жить после того, как он утратил способность брать от жизни то, в чем мы привыкли видеть ее сущность и смысл. И еще поразительнее: у раз-

битого человека обыкновенно отнимается все, кроме способности сознавать и чувствовать свое положение. Если угодно — мыслительная способность в таких случаях большей частью утончается, обостряется, вырастает до колоссальных размеров. Нередко средний, посредственный, банальный человек, попав в исключительное положение Иванова или старого профессора, изменяется до неузнаваемости. В нем появляются признаки дарования, таланта, даже гениальности. Ницше поставил когда-то такой вопрос: может ли быть осел трагическим? Он оставил его без ответа, но за него ответил гр. Толстой в «Смерти Ивана Ильича». Иван Ильич, как видно из сделанного Толстым описания его жизни, посредственная обыкновенная натура, одна из тех, которая проходит свой путь, избегая всего трудного и проблематического, озабоченная исключительно спокойствием и приятностью земного существования. И вот чуть только на него пахнуло холодом трагедии — он весь преобразился. Иван Ильич и его последние дни захватывают нас не меньше, чем история Сократа или Паскаля.

Замечу кстати — и это я считаю чрезвычайно важным — что в творчестве своем Чехов находился под влиянием Толстого и в особенности под влиянием его последних произведений. Это важно ввиду того, что таким образом часть «вины» Чехова падает на великого писателя земли русской. Мне представляется, что если бы не было «Смерти Ивана Ильича» — не было бы ни «Скучной истории», ни «Иванова», ни многих других замечательных произведений Чехова. Это менее всего, однако, значит, что Чехов заимствовал хоть одно слово у своего великого предшественника. У Чехова было достаточно собственного материала, и в этом смысле он в помощи не нуждается. Но едва ли молодой писатель решился бы предстать за свой собственный страх перед людьми с теми мыслями, которые составляют содержание «Скучной истории». Толстой, когда писал «Смерть Ивана Ильича», имел за собой «Войну и мир», «Анну Каренину» и прочно установившуюся репутацию первоклассного художника. Ему все было позволено. Чехов же был молодым человеком, весь литературный багаж которого сводился к нескольким десяткам мелких рассказов, приютившихся на страницах малоизвестных и не пользовавшихся влиянием периодических изданий.

Если бы Толстой не проложил пути, если бы Толстой своим примером не показал, что в литературе разрешается говорить правду, говорить что угодно, Чехову пришлось бы, может быть, долго бороться с собой, прежде чем он решился бы на публичную исповедь, хотя бы в форме рассказов. Да и после Толстого, какую ужасную борьбу пришлось выдержать Чехову с общественным мнением! «Зачем он пишет свои ужасные рассказы и драмы?» — спрашивали себя все. — «Зачем писатель систематически подбирает для своих

героев такие положения, из которых нет и абсолютно не может быть никакого выхода?» «Что можно сказать старому профессору и его воспитаннице, Кате, в ответ на их нескончаемые жалобы?» То есть, в сущности, есть что сказать: в литературе с давних пор заготовлен большой и разнообразный запас всякого рода общих идей и мировоззрений, метафизических и позитивных, о которых учителя вспоминают каждый раз, как только начинают раздаваться слишком требовательные и неспокойные человеческие голоса. Но в том-то и дело, что Чехов, будучи сам писателем и образованным человеком, заранее, вперед отверг возможные утешения, метафизические и позитивные. Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова. Он хорошо знает, что мировоззрения полагается чтить и уважать, свою неспособность преклониться перед тем, что считается образованными людьми святыней, он считает своим недостатком, с которым нужно всеми силами бороться. Он даже и борется с ним всеми силами, но безуспешно. Борьба не только ни к чему не приводит, но наоборот, чем больше живет Чехов, тем больше ослабевает над ним власть высоких слов — вопреки собственному разуму и сознательной воле. Под конец он совершенно эмансипируется от всякого рода идей и даже теряет представление о связи жизненных событий. В этом самая значительная и оригинальная черта его творчества.

Забегая несколько вперед, я уже здесь укажу на его комедию «Чайку», в которой, наперекор всем литературным принципам, основой действия является не логическое развитие страстей, не неизбежная связь между предыдущим и последующим, а голый д е м о н с т р а т и в н о ничем не прикрытый с л у ч а й. Читая драму, иной раз кажется, что перед тобой номер газеты с бесконечным рядом fails divers, нагроможденных друг на друга без всякого порядка и заранее обдуманного плана. Во всем и везде царит самодержавный случай, на этот раз дерзко бросающий вызов всем мировоззрениям. В этом, говорю, наибольшая оригинальность Чехова и — странно подумать — источник его мучительнейших переживаний. Он не хотел оригинальности, он делал нечеловеческие напряжения, чтобы быть, как все, — но от судьбы не уйдешь! Сколько людей, особенно среди писателей, из кожи лезут, чтобы быть непохожими на других и все-таки не могут освободиться от шаблона — а вот Чехов против воли стал своеобразным! Очевидно, что условием своеобразности является не готовность во что бы то ни стало высказывать неприятные суждения. Самая новая и смелая мысль может оказаться и часто оказывается пошлой и скучной. Чтобы стать оригинальным, нужно не выдумывать мысль, а совершать дело, трудное и болезненное. И так как люди бегут от труда и страданий, то обыкновенно, действительно, новое рождается в человеке против его воли.

III

«С совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет». «Действовать» при таких условиях невозможно, стало быть остается «упасть на пол, кричать и биться головой об пол». Так говорит Чехов об одном из своих героев, но мог бы сказать обо всех без исключения. Заботами автора они поставлены в такое положение, что им остается только одно: упасть на пол или колотиться головой о стену. Со странным, загадочным упорством они отвергают все принятые способы спасения. Николай Степанович, старый профессор, мог бы попытаться забыться или утешиться воспоминанием из своего прошлого. Но воспоминания только раздражают его. Он был выдающимся ученым — теперь работа валится из его рук. Он умел два часа на лекции удерживать внимание аудитории, теперь его не хватает и на четверть часа. У него были друзья и товарищи, он любил своих учеников и помощников, свою жену, своих детей, теперь ему ровно ни до кого нет дела. Если люди и возбуждают в нем какие-либо чувства, то разве только ненависть и злобу. Он должен признаться себе в этом с той правдивостью, которая неизвестно почему, зачем и откуда пришла к нему на смену прежнего, свойственного всем умным и нормальным людям дипломатического искусства видеть и говорить лишь то, что способствует добрым человеческим отношениям и здравым внутренним настроениям. Все, о чем он теперь думает, все, что он видит — только отравляет ему и другим те небольшие радости, которыми красится человеческая жизнь. Он чувствует с ясностью, которой не достигал никогда в лучшие дни и часы своих прежних теоретических изысканий, что он стал преступником — ничего не преступив. Все, что он прежде делал, было хорошо, нужно, полезно. Он рассказывает о своем прошлом, и вы видите, что он всегда был прав и мог бы разрешить самому суровому судье во всякое время дня и ночи прийти к нему — проверить не только дела его, но и помыслы. А теперь не только посторонний осудил бы его — он сам себя осуждает. Он откровенно признается, что весь соткан из зависти и ненависти.

«Самое лучшее и святое право королей, — говорит он, — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево... Но теперь я уже не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен... Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться такая перемена? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я

ведь болен и каждый день теряю в весе, то положение мое жалко: значит: мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их, считать ничтожными...»

Такой вопрос ставит старый, умирающий профессор, а вместе с ним и Чехов. Что лучше? Быть ли королем, или старой, завистливой, злой «жабой», как он называет себя в другом месте? Вопрос оригинальный, спору нет. Вы чувствуете в приведенных словах, что́ стоила Чехову его оригинальность — и с какой великой радостью, в ту минуту, когда для него выяснилась его «новая» точка зрения, отдал бы он все свои оригинальные мысли за самую обыкновенную, банальную способность доброжелательства. Для него сомнений нет, его образ мыслей жалок, отвратителен, постыден. Его настроения ему так же противны, как и его наружность, которую он описывает в следующих выражениях:

«Я изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставленными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки трясутся от слабости, шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону, когда улыбаюсь, все лицо покрывается старческими, мертвенными морщинами».

Хороша фигура? Хороши настроения? Поглядеть со стороны на такого урода, и в сердце самого доброго и сострадательного человека невольно шевельнется жестокая мысль: поскорее добить, уничтожить эту жалкую и отвратительную гадину, или если нельзя в силу существующих законов прибегнуть к такой решительной мере — припрятать его подальше от человеческих глаз, куда-нибудь в тюрьму, в больницу, в сумасшедший дом: приемы борьбы, разрешенные не только законодательством, но, если не ошибаюсь, и вечной моралью. Но тут вы наталкиваетесь на особый вид сопротивления. Физических сил для борьбы с тюремщиками, палачами, больничными служащими и моралистами у старого профессора нет: его и малый ребенок свалит. Убеждения и просьбы — он знает это — не помогут. И он пускается на отчаянное средство: страшным, диким, раздирающим душу голосом он начинает кричать на весь мир о каких-то правах своих.

«Мне хочется прокричать не своим голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь, в аудитории, будет хозяйничать другой. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, которых я не знал раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в то же время мое положение представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы

все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом ужасе, с отчаянным криком, бросились к выходу».

Доводы профессора едва ли на кого-нибудь подействуют — да я и не знаю, есть ли в приведенных словах доводы. Но этот ужасающий, нечеловеческий стон! Представьте себе картину: лысый, безобразный старик, с трясущимися руками, с искривленным ртом, с высохшей шеей, с обезумевшими от страха глазами, валяется, как зверь, на земле и вопит, вопит, вопит!.. Чего ему нужно?! Он прожил длинную интересную жизнь, теперь осталось бы красиво закончить ее, возможно тихо, спокойно и торжественно распростившись с земным существованием. Но он ревет и мечется, призывает к суду чуть ли не всю вселенную и судорожно цепляется за оставшиеся ему дни. А Чехов? Что делает Чехов? Вместо того, чтобы равнодушно пройти мимо, он берет сторону чудовищного урода, он посвящает десятки страниц его «душевным переживаниям» и постепенно доводит читателя до того, что вместо естественного и законного чувства негодования, в его сердце зарождаются ненужные и опасные симпатии к разлагающемуся и гниющему существованию. Ведь помочь профессору нельзя — это знает всякий. А если нельзя помочь, то стало быть, нужно забыть: это прописная истина. Какая польза, какой смысл может быть в бесконечном расписывании, гр. Толстой сказал бы — размазывании, невыносимых мук агонии, неизбежно приводящей к смерти?

Если бы «новые» мысли и чувства профессора блистали красотой, благородством, самоотверженностью — тогда дело иное: читатель мог бы кое-чему поучиться. Но, как видно из рассказа Чехова, все эти качества принадлежат старым мыслям его героя. Теперь, с началом болезни, в нем зародилось непобедимое отвращение ко всему, что хоть слегка напоминает высокие чувства. Когда его воспитанница, Катя, обращается к нему за советом, что делать — он, знаменитый ученый, друг Пирогова, Кавелина и Некрасова, воспитавший столько поколений молодежи, не знает, что сказать ей. Бессмысленно перебирает он в своей памяти целый ряд хороших слов, — но они потеряли для него всякое значение. Что ответить ей? — спрашивает он себя.

«Легко сказать — трудись или раздай свое имущество бедным или познай самого себя и потому, что легко сказать, я не знаю, что ответить».

Катя, еще молодая, здоровая и красивая женщина, стараниями Чехова попала, как и профессор, в мышеловку, из которой человеческими силами не вырваться. И с тех пор, как она познала безнадежность, она завоевала все симпатии автора. Пока человек пристроен к какому-нибудь делу, пока человек имеет хоть что-нибудь впереди себя — Чехов к нему совершенно равнодушен. Если и описы-

вает его, то обыкновенно наскоро и в небрежно ироническом тоне. А вот когда он запутается, да так запутается, что никакими средствами его не выпутаешь — тогда Чехов начинает оживляться. Тогда у него являются краски, энергия, подъем творческих сил, вдохновение.

В этом, может быть, секрет его политического индифферентизма. Несмотря на все свое недоверие к проектам будущего, Чехов, как и Достоевский, очевидно, не был вполне убежден в том, что общественные реформы и наука бессильны. Как ни труден социальный вопрос, но все же он может быть разрешим. Может, когда-нибудь людям и суждено хорошо устроиться на земле, так, чтобы и жить и умирать без мук, и что дальше этого идеала человечество не может идти; может быть, авторы толстых трактатов о прогрессе угадывают и прозревают что-то. Но именно потому их дело чуждо Чехову. Его сначала инстинктивно, а потом и сознательно влекло к неразрешимым по существу проблемам, вроде той, которая изображена в «Скучной истории»; в наличности бессилие, инвалидство, впереди неизбежная смерть, и никаких надежд, хоть сколько-нибудь изменить положение.

Такое влечение, все равно, инстинктивное или сознательное, явно противоречит требованиям здравого рассудка и нормальной воли. Но от Чехова, от надорвавшегося человека, нельзя ожидать ничего другого. О безнадежности всякий знает или слыхал. Сплошь и рядом на наших глазах разыгрываются ужасные, невыносимые трагедии и если бы каждый погибающий по примеру Николая Степановича по поводу своей гибели поднимал такую ужасную тревогу, жизнь обратилась бы в кромешный ад. Николай Степанович обязан не выкрикивать о своих муках на весь мир, а озаботиться о том, чтобы возможно меньше беспокоить людей. И Чехов обязан был бы всячески помогать ему в этом почтенном деле. Мало ли скучных историй на свете — всех не перечтешь! Особенно такого рода историй, так та, о которой рассказывает Чехов — их бы следовало с особенным старанием припрятывать как можно дальше от человеческих взоров. Ведь здесь мы имеем дело с разложением живого организма. Что бы сказали человеку, который воспротивился бы преданию земле трупов, который стал бы выкапывать из могил разлагающиеся и гниющие тела, хотя бы на том основании, вернее, под тем предлогом, что это тела близких ему, даже знаменитых, прославленных, гениальных людей?! Такое занятие в нормальном, здоровом духе не может вызвать ничего, кроме страха. В старину колдуны, кудесники, волхвы, по народному поверию, водились с мертвецами и находили в этом странном занятии что-то вроде удовлетворения или даже настоящее удовлетворение. Но они обыкновенно прятались от людей в леса и пещеры, уходили в пустыни и горы, чтобы там в одиночестве преда-

ваться своим противоестественным склонностям. И если случайно удавалось обнаружить их дела, здоровые люди отвечали им кострами, виселицами, пытками. То, что называется злом, худший вид зла обыкновенно имел своим источником и началом интерес и вкус к мертвечине. Человек прощал всякое преступление — жестокость, насилие, убийство, но никогда он не прощал бескорыстной любви и искания тайны смерти. В этом смысле свободная от предрассудков современность немного дальше зашла, чем средневековье. Может быть, разница лишь в том, что мы, занятые практическими делами, утратили естественное чутье добра и зла. Мы теоретически даже убеждены, что колдунов и волхвов в наше время не бывает и быть не может. Наша уверенность и беспечность в этом отношении доходила до того, что все даже в Достоевском видели только художника и публициста и серьезно спорили с ним о том, нужны ли русскому народу розги и брать ли нам Константинополь.

Один Михайловский смутно догадывался, в чем тут дело, и называл автора «Карамазовых» кладоискателем. Я говорю, смутно догадывался, ибо мне представляется, что это замечание было сделано покойным критиком отчасти в иносказательном, как будто даже в шутливом тоне. А между тем никто из других критиков Достоевского не обмолвился даже случайно более метким словом. И Чехов был кладоискателем, волхвом, кудесником, заклинателем. Этим объясняется его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, к безнадежности.

Не один Чехов, конечно, брал сюжетом для своих произведений смерть. Но дело не в сюжете, а в том, как сюжет трактуется. Чехов понимает это:

«Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, — рассказывает он, — нет чего-то общего, что связывало бы все в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, литературе, учениках, даже во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, богом живого человека. А раз нет этого, значит нет ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость моей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья».

В приведенных словах выражается одна из самых новых мыслей Чехова — ею же определяется и все последующее творчество его. Выражена она в скромной, покаянной форме — человек признается в неспособности подчинить свои мысли высшей идее, и в такой неспособности видит свою слабость. И этого было достаточно, чтобы до некоторой степени отвести от него громы критики и общественного мнения. Кающихся грешников мы охотно прощаем! Совершен-

но напрасная снисходительность: недостаточно признать себя виновным, чтобы искупить свою вину. Что с того, что Чехов посыпал пеплом главу и публично признавал себя «виновным», если внутренне он остался неизмененным? Если в то время, когда он на словах признавал общую идею богом (правда, с маленькой буквы), он ровно ничего не сделал для нее. На словах воскуривается фимиам «богу», на деле он проклинается. Прежде, до болезни, «мировоззрение» приносило ему радость — теперь оно разлетелось в клочья! Не естественно ли поставить вопрос: да приносило ли ему «мировоззрение» когда бы то ни было радость. Может быть, радости имели свой собственный, автономный источник; а мировоззрение приглашалось только в качестве свадебного генерала, для внешней торжественности, и никогда никакой существенной роли не играло?

Чехов обстоятельно рассказывает о том, какие радости ему приносили научные работы, занятия с учениками, семья, хороший обед и так далее. При всем этом присутствовало и мировоззрение с идеей, и не только не мешало, но как будто бы украшало жизнь. Так что казалось, что ради идеи и работаешь, и семью создаешь, и обедаешь. А теперь, когда приходится ради идеи бездействовать, мучиться, не спать по ночам, с отвращением глотать постылые куски — мировоззрение разлетелось в клочья! Выходит, стало быть, что мировоззрение с обедом годится, обед без мировоззрения тоже годится (это доказательства не требует), а мировоззрение «в себе и для себя» не имеет никакой цены...

В этом сущность приведенных слов Чехова. Он с ужасом признает в себе присутствие такой «новой» мысли. Ему кажется, что это только он такой слабый и ничтожный человек, что всех других — хлебом не корми, только подавай идеи и мировоззрения... Так оно собственно и выходит, если поверить тому, что люди в книгах рассказывают... Чехов всячески бичует, мучает и терзает себя, но дела изменить не может. Хуже того. Мировоззрения и идеи, к которым очень многие относятся довольно равнодушно — в сущности другого отношения эти невинные вещи и не заслуживают — становятся для Чехова предметом тяжелой, неумолимой и беспощадной ненависти. Он не умеет сразу освободиться от власти идей, и потому начинает долгую, упорную и медленную, я бы сказал, партизанскую войну с поработившими его тиранами. Борьба его в общем и в отдельных эпизодах представляет большой захватывающий интерес именно вследствие того, что еще до сих пор наиболее видные представители литературы убеждены, что идеям присуща чудодейственная сила. Чем занимается большинство писателей? Строят мировоззрения — и полагают при этом, что занимаются необыкновенно важным, священным делом! Чехов оскорбил очень многих деятелей литературы. Если его все-таки относительно щадили, то это произошло, во-пер-

вых, оттого, что он был очень осторожен и воевал с таким видом, как будто приносил дань врагу, а, во-вторых, таланту многое прощается.

IV

Содержание «Скучной истории», таким образом, сводится к тому, что профессор, делясь своими «новыми» мыслями, в сущности заявляет, что он не находит возможным признать над собой власть «идеи» и добросовестно выполнить то, что люди называют высшей целью и в служении чему принято видеть назначение, святое назначение человека. «Пусть меня судит Бог, — у меня не хватает мужества поступить по совести», — вот единственный ответ, который находит в своей душе Чехов на все требования «мировоззрения». И такое отношение к мировоззрению становится второй природой Чехова. Мировоззрение требует, человек признает справедливость требований и методически не исполняет ни одного из них. Причем признание справедливости требований постепенно идет на убыль. В «Скучной истории» идея еще судит человека и терзает его с той беспощадностью, которая свойственна всему неживому и неодухотворенному. Точно заноза, впившаяся в живое тело, чуждая и враждебная организму, идея безжалостно выполняет свою высокую миссию — до тех пор, пока у человека не созревает твердая решимость вырвать ее из себя, как бы болезненна ни была эта трудная операция. Уже в «Иванове» роль идеи меняется. Уже не она преследует Чехова, а Чехов преследует ее самыми отборными презрениями и насмешками. Голос живой природы берет верх над наносными культурными привычками. Правда, борьба еще продолжается, если угодно, даже ведется с переменным счастьем. Но прежней покорности нет. Все больше и больше Чехов эмансипируется от прежних предрассудков и идет — куда? На этот вопрос он едва ли умел бы ответить. Но он предпочитает оставаться без всякого ответа, чем принять какой бы то ни было из традиционных ответов.

«Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода: казалось бы, меня теперь должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой замогильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум сознает всю их важность».

Ум снова, в противоположность тому, что было раньше, почтительно выталкивается за дверь, и его права передаются «душе», темному, неясному стремлению, которому Чехов теперь, когда он стоит перед роковой чертой, отделяющей человека от вечной тайны, инстинктивно доверяет больше, чем светлому, ясному сознанию, напе-

ред предопределяющему даже замогильные перспективы. Научная философия возмутится? Чехов подкапывается под незыблемейшие ее устои? Но ведь Чехов надорвавшийся, ненормальный человек. Его можно не слушать, но раз вы уже решились его выслушать, нужно наперед быть ко всему готовым. Нормальный человек, если он даже метафизик самого крайнего, заоблачного толка, всегда пригоняет свои теории к нуждам минуты; он разрушает лишь затем, чтобы потом снова строить из прежнего материала. Оттого у него никогда не бывает недостатка в материале. Покорный основному человеческому закону, уже давно отмеченному и формулированному мудрецами, он ограничивается и довольствуется скромной ролью искателя форм. Из железа, которое он находит в природе готовым, он выковывает меч или плуг, копье или серп. Мысль творить из ничего едва ли даже приходит ему в голову. Чеховские же герои, люди ненормальные «по преимуществу», поставлены в противоестественную, а потому страшную, необходимость творить из ничего. Перед ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дела. А между тем они живут, не умирают...

Тут является любопытный и необыкновенно важный вопрос. Я сказал, что противно человеческой натуре творить из ничего. Но вместе с тем природа часто отнимает у человека готовый материал и вместе с тем повелительно требует от него творчества. Значит ли это, что природа противоречит самой себе? Что она извращает свои создания? Не правильнее ли допустить, что понятие об извращении имеет чисто человеческое происхождение? Может быть, природа гораздо экономнее и мудрее наших мудрецов и, может быть, мы узнали бы гораздо больше, если бы взамен того, чтобы делить людей на лишних и нелишних, полезных и вредных, добрых и злых, мы, подавив в себе на время склонность к субъективной оценке, попытались бы доверчивей отнестись к ее творениям? А то сейчас «недобрые огоньки», кладоискатель, кудесник, колдун — и воздвигается между людьми стена, которую не только логическими доводами, но и пушками не разобьешь. Я мало надеюсь, что приведенное соображение покажется убедительным для тех, кто привык охранять норму. Да, вероятно, и не нужно, чтобы сгладилось живущее между людьми представление о принципиальной противоположности добра и зла, как не нужно, чтобы молодые рождались с жизненным опытом взрослых, чтобы исчезли с лица земли румянец и черные кудри. Во всяком случае, это невозможно. Много тысячелетий насчитывает мир, много народов жило и умирало на земле, но, насколько мы знаем по сохранившимся книгам и преданиям, спор добра со злом не прекращался. И всегда было так, что добро не боялось дневного света, что добрые жили общественной жизнью, а злые всегда были одинокими. Иначе и быть не может.

Чеховские герои все боятся света, чеховские герои — одиноки. Они стыдятся своей безнадежности и знают, что люди им не могут помочь. Они идут куда-то, может быть и вперед, но никого за собой не зовут. У них все отнято, и они все должны создать. Вероятно, отсюда то нескрываемое презрение, с которым они относятся к наиболее ценным продуктам обыкновенного человеческого творчества. О чем бы не заговорили с чеховским героем, у него на все один ответ: меня никто не может ничему научить. Вы предлагаете ему новое мировоззрение, но он, с первых слов ваших, уже чувствует, что все оно сводится к попытке на новый манер переложить старые кирпичи и камни и нетерпеливо, часто грубо, отворачивается от вас. Чехов крайне осторожный писатель. Он боится общественного мнения и считается с ним. И все-таки, какую нескрываемую брезгливость проявляет он к принятым идеям и мировоззрениям. В «Скучной истории» он, по крайней мере, сохраняет внешне почтительный тон и позу. Впоследствии он бросает всякие предосторожности и, вместо того, чтобы упрекать себя в неспособности покориться общей идее, открыто возмущается и даже высмеивает ее. Уже в «Иванове» это выражено в достаточной степени — недаром эта драма в свое время вызвала такую бурю негодования.

Иванов, как я уже говорил, покончен ный человек. Все, что может сделать с ним художник — это прилично похоронить его, то есть похвалить его прошлое, пожалеть о настоящем и, затем, чтобы смягчить безотрадное впечатление, производимое смертью — пригласить на похороны общую идею. Можно вспомнить о мировых задачах человечества в какой-либо из бесчисленных готовых форм — и трудный, казавшийся неразрешенным, случай устранен. Наряду с умирающим Ивановым следовало бы нарисовать светлую, молодую, многообещающую жизнь, и впечатление смерти и разрушения потеряло бы всю свою остроту и горечь. Но Чехов поступает прямо обратно: вместо того, чтобы дать молодости и идее власть над разрушением и смертью, как то делалось во всех философских системах и во многих художественных произведениях, он демонстративно делает центром всех событий ни на что негодную развалину Иванова. Наряду с Ивановым есть молодые жизни, идее тоже дан свой представитель. Но молодая Саша, прелестная и обаятельная девушка, всей душой полюбившая разбитого героя, не только не спасает своего возлюбленного, но сама гибнет под бременем непосильной задачи.

А идея? Достаточно только вспомнить фигуру доктора Львова, которому Чехов доверил ответственную роль представителя всемогущей властительницы, и вы сразу поймете, что он считает себя не подданным и данником ее, а злейшим врагом. Стоит доктору

Львову разинуть рот, и все действующие лица, точно сговорившись, наперерыв, самым оскорбительным образом торопятся оборвать его — насмешками, угрозами, чуть ли не подзатыльниками. А между тем, юный доктор исполняет свои обязанности представителя великой державы не менее умело и добросовестно, чем его предшественники — Стародумы и другие почтенные герои старинной драмы. Он вступается за обиженных, хочет восстановить попранные права, возмущается неправдой и т. д. Разве он вышел за пределы своих полномочий? Нет, конечно. Но там, где царствуют Ивановы и безнадежность, нет и не может быть места для идеи.

Вместе жить им невозможно. И на глазах у изумленного читателя, привыкшего думать, что все царства могуть пасть и погибнуть, и что лишь мощь царства идеи несокрушима на веки веков — происходит невиданное зрелище: идея свергается с трона беспомощным, разбитым человеком! Чего только не говорил Иванов! Уже с первого действия он выпаливает такую тираду, и не перед первым встречным, а перед олицетворенной идеей — Стародумом-Львовым:

«Я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом об стены. Да хранит вас Бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей... Запритесь себе в свою раковину и делайте себе свое маленькое, Богом данное дело... Это теплее, честнее и здоровее».

Доктор Львов, представитель всемогущей, самодержавной идеи, чувствует, что его повелительница оскорблена в своих державных правах, что терпеть подобные оскорбления значит фактически отказаться от суверенитета. Ведь Иванов был и должен оставаться вассалом. Как повернулся у него язык советовать, как смел он возвысить голос там, где он должен был благоговейно слушать и безмолвно, безропотно повиноваться?! Ведь это бунт! Львов пытается выпрямиться во весь рост и с достоинством ответить дерзкому мятежнику. Но у него ничего не выходит. Дрожащим, нетвердым голосом он бормочет привычные слова, которые еще так недавно имели всепобеждающую силу. Но они не оказывают обычного действия. Их сила ушла. Куда? Львов даже и признаваться себе не смеет: к Иванову. И это уже больше ни для кого не тайна. Каких бы подлостей и гадостей не наделал Иванов, — а Чехов не скупится в этом смысле, и в послужном списке его героя значатся всевозможные преступления, вплоть до почти сознательного убийства преданной ему женщины, — все же перед ним, а не перед Львовым

склоняется общественное мнение. Иванов — дух разрушения, грубый, резкий, безжалостный, ни перед чем не останавливающийся. А слово «подлец», которое с мучительным усилием вырывает из себя и посылает ему доктор, к нему не пристает. Он как-то прав, своей особенной, никому непонятной, но бесспорной, если верить Чехову, правотой. Саша, молодое, чуткое, даровитое существо, идет к нему поклоняться, равнодушно минуя фигуру честного Стародума-Львова. Вся драма на этом построена. Иванов, правда, под конец стреляется — и это, если угодно, может дать формальное основание думать, что окончательная победа все же осталась за Львовым. И Чехов хорошо сделал, что так закончил пьесу — не затягивать же ее до бесконечности. А досказать историю Иванова дело не легкое. Чехов потом еще 15 лет писал, все досказывал недосказанное, а все-таки пришлось оборвать, не дойдя до конца...

Тот, кто вздумал бы обращенные Ивановым к Львову слова истолковывать в том смысле, что Чехов, подобно Толстому времени «Войны и мира», видел в обыденном устройстве жизни свой «идеал», плохо понял бы автора. Чехов только оборонялся против «идеи» и говорил ей самое обидное, что приходило в голову. Ибо что может быть обиднее для идеи, чем выслушивать похвалу обыденности?! Но при случае Чехов умел не менее ядовито обрисовать и обыденность. К примеру хотя бы рассказ «Учитель словесности». Учитель совсем живет по преподанному Ивановым рецепту. И служба, и жена Манюся — не еврейка, не психопатка, не синий чулок, — и дом-раковина и т. д., и все это не мешает Чехову полегоньку да помаленьку загнать бедного учителя в обычную западню-мышеловку, довести его до такого состояния, что остается только «упасть на пол, кричать и биться головой о пол». У Чехова «идеала» не было, даже идеала обыденности, который с таким неподражаемым, несравненным мастерством воспел в своих ранних произведениях граф Толстой. Идеал предполагает подчинение, добровольный отказ от своих прав на независимость, свободу и силу — такого рода требования, даже намеки на такого рода требования возбуждали в Чехове всю силу отвращения и омерзения, на которые только он был способен...

V

Итак, настоящий, единственный герой Чехова — это безнадежный человек. «Делать» такому человеку в жизни абсолютно нечего — разве колотиться головой о камни. Нет ничего удивительного, что такой человек невыносим для окружающих. Он всюду вносит смерть и разрушение. Он сам это зна-

ет, но не в силах сторониться от людей. Он всей душой стремится вырваться из своего ужасного положения. Больше всего его влечет к свежим, молодым, нетронутым существам: он надеется с их помощью вернуть свое утраченное право на жизнь. Напрасная надежда! Начало разрушения всегда оказывается всепобеждающим, и чеховский герой, в конце концов, остается предоставленным самому себе. У него ничего нет, он все должен создать сам. И вот «творчество из ничего», вернее возможность творчества из ничего — единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда он обобрал своего героя до последней нитки, когда герою остается только колотиться головой о стену, Чехов начинает чувствовать нечто вроде удовлетворения, в его потухших глазах зажигается странный огонь, недаром показавшийся Михайловскому недобрым. Творчество из ничего! Не выходит ли эта задача за пределы человеческих сил, человеческих прав? Для Михайловского, очевидно, не было двух ответов на этот вопрос... Что до самого Чехова, то если бы ему предложили этот вопрос в такой умышленно резкой формулировке, — он, вероятно, не умел бы на него ответить, хотя постоянно имел с ним дело или, лучше сказать, потому что постоянно имел с ним дело. Можно, не боясь ошибиться, сказать, что те люди, которые без колебаний отвечают на него в том или ином смысле, никогда близко не подходили к нему, да и вообще ко всем так называемым последним вопросам бытия. Колебание — необходимый составной элемент в суждениях человека, которого судьба подводила к роковым задачам. Как дрожала рука у Чехова, когда он дописывал заключительные строки своей «Скучной истории»! Воспитанница профессора, — самое близкое и дорогое ему, но также надорванное, потерявшее надежды, хотя еще молодое, существо, — приехала к нему за советом в Харьков. И вот между ними происходит следующий разговор:

« — Николай Степанович! — говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. — Николай Степанович, я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога, скажите скорей, сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я. — Ничего не могу.

— Говорите, умоляю вас! — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. — Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет!

Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами. Шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.

— Помогите мне, помогите! — умоляет она. — Не могу я дольше!

— Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. — Ведь вы

мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованы, долго жили. Вы были учителем! Говорите же, что мне делать?

— По совести, Катя, не знаю.

Я растерялся, сконфузился, тронут рыданиями Кати и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будет плакать!

И тотчас же прибавляю упавшим голосом:

— Меня скоро не станет, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачет она, протягивая ко мне руки...»

Но этого слова не нашлось у профессора. Он переводит разговор на погоду, Харьков и прочие безразличные вещи. Катя встает и, не глядя на него, протягивает ему руку.

«Мне хочется спросить, — кончает он свой рассказ: — значит, на похоронах у меня не будешь? Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая... Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!..»

«Не знаю», только этими словами умеет ответить на вопросы Кати умный, образованный, долго живший, всю жизнь свою бывший учителем Николай Степанович! Во всем его огромном опыте прошлых лет не находится ни одного приема, правила или совета, который бы хоть сколько-нибудь соответствовал дикой необразованности новых условий его собственного и Катиного существования. Катя не может так больше жить, но и он сам не может дольше выносить своей отвратительной и позорной беспомощности. Они оба — он старый, она молодая — оба всей душой хотели бы поддержать друг друга, и оба ничего не умеют придумать. На ее «что мне делать», он отвечает: «меня скоро не станет», т. е. вопросом же, на его «меня скоро не станет» она отвечает безумным рыданием, ломанием рук и нелепым повторением одних и тех же слов. Лучше было бы ни о чем не спрашивать, не начинать «душевного», откровенного разговора. Но они еще в этом не дали себе отчета. В их прежней жизни разговор облегчал, откровенные признания сближали. Теперь наоборот: после такого свидания люди уже не в состоянии выносить друг друга. Катя уходит от старого профессора, от своего приемного, от своего родного отца и друга с сознанием, что он ей стал чужим. Она даже, уходя, не обернулась к нему. Она почувствовала, что им осталось только колотиться головой об стену. В этом занятии каждый действует за свой страх, и об утешающем единении душ уже нельзя мечтать...

VI

Чехов знал, до чего он договорился в «Скучной истории» и в «Иванове». Некоторые критики тоже знали и поставили ему это на вид. Не берусь сказать, что именно — боязнь ли общественного мнения, или ужас перед сделанными открытиями, или то и другое вместе, но, очевидно, у Чехова был момент, когда он решился во что бы то ни стало покинуть занятую им позицию и повернуть назад. Плодом такого решения была «Палата № 6». В этом рассказе действующим лицом является все тот же знакомый чеховский человек, доктор. И обстановка довольно привычная, хотя несколько изменяется. В жизни доктора ничего особенного не произошло. Он попал в провинциальную дыру и постепенно, все сторонясь от людей и жизни, дошел до состояния совершенной безвольности, которая в его представлении стала идеалом человеческого существования. Он ко всему равнодушен, начиная со своей больницы, в которой он почти не бывает, где царствует пьяный и грубый фельдшер, где обирают, залечивают больных.

В психиатрическом отделении хозяйничает сторож из отставных солдат, справляющийся кулаками с неспокойными пациентами. Доктору — все равно, точно он живет где-то далеко, в ином мире, и не понимает того, что происходит на его глазах. Случайно попадает он в психиатрическое отделение и вступает в беседу с одним из больных. Больной жалуется ему на порядки, точнее, на отвратительные беспорядки в отделении. Доктор спокойно выслушивает его слова, но реагирует на них не делом, а словами же. Он пытается доказать своему сумасшедшему собеседнику, что внешние условия не могут иметь на нас никакого влияния. Сумасшедший не соглашается, говорит ему дерзости, представляет возражения, в которых, как в мыслях многих помешанных, наряду с бессмысленными утверждениями, встречаются очень глубокие замечания. Даже, пожалуй, первых очень мало, так что по разговору и не догадаешься, что имеешь дело с больным. Доктор в восторге от своего нового знакомства, но пальцем о палец не ударяет, чтобы облегчить чем-нибудь его. Теперь, как и прежде, несчастный находится во власти сторожа, который, при малейшем неповиновении, бьет его. Больной, доктор, окружающие, вся обстановка больницы и квартиры доктора описаны с удивительным талантом. Все настраивает к абсолютному несопротивлению и фантастическому равнодушию: пусть пьянствуют, дерутся, грабят, насильничают — все равно так видно предопределено на высшем совете природы. Исповедуемая доктором философия бездействия точно подсказана и нашептана неизменными законами человеческого существования. Кажется, нет сил вырваться из ее власти. До сих пор все более или менее в чехов-

ском стиле. Но конец — совсем иного рода. Доктор сам, благодаря интригам своего коллеги, попадает в психиатрическое отделение больницы в качестве пациента. Его лишают свободы, запирают в больничном флигеле и даже бьют, бьет тот самый сторож, с которым он учил мириться своего сумасшедшего собеседника. Доктор мгновенно пробуждается, точно от сна. В нем является жажда борьбы, протеста. Правда, он тут же умирает, но идея все-таки торжествует. Критика могла считать себя вполне удовлетворенной — Чехов открыто покаялся и отрекся от теории непротивления. И, кажется, «Палату № 6» в свое время очень сочувственно приняли. Кстати прибавим, что доктор умирает очень красиво: в последние минуты видит стадо оленей и т. д.

И в самом деле, построение рассказа не оставляет сомнения. Чехов хотел уступить и уступил. Он почувствовал невыносимость безнадежности, невозможность творчества из ничего. Колотиться головой о камни, вечно колотиться головой о камни, это так ужасно, что лучше уж вернуться к идеализму. Оправдалась дивная русская поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Чехов примкнул к сонму русских писателей и стал воспевать идею. Но — не надолго! Ближайший по времени рассказ его «Дуэль» носит уже иной характер. Развязка в нем тоже как будто идеалистическая, но только как будто. Главный герой Лаевский — «паразит», как все чеховские герои. Он ничего не делает и ничего делать не умеет, даже не хочет, живет наполовину на чужой счет, входит в долги, соблазняет женщин и т. д. Положение его невыносимое. Живет с чужой женой, которая опостылела ему, как и собственная особа, но от которой он не умеет избавиться, вечно нуждается и кругом в долгах, знакомые его не любят и презирают. Он всегда так чувствует себя, что готов бежать без оглядки все равно куда, лишь бы уйти с того места, где он сейчас живет. Его незаконная жена приблизительно в таком же, если не более ужасном, состоянии. Неизвестно зачем, без любви, даже без влечения она отдается первому встречному пошляку. Потом ей кажется, что ее с ног до головы облили грязью, что эта грязь так пристала к ней, что не смоешь даже целым океаном воды. И вот такая парочка живет на свете, в глухом городке Кавказа, и естественно привлекает внимание Чехова. Тема интересная, что и говорить: два облитых грязью человека, не выносящих ни себя, ни других...

Для контраста Чехов сталкивает Лаевского с зоологом фон-Кореном, приехавшим в приморский город по важному, всеми признаваемому важным, делу — изучать эмбриологию медузы. Фон-Корен, как видно по фамилии, из немцев, стало быть нарочито здоровый и нормальный, чистый человек, потомок гончаровского Штольца, прямая противоположность Лаевскому, в свою очередь состоящему в

близком родстве со стариком Обломовым. Но у Гончарова противопоставление Обломову Штольца имело совсем иной характер и смысл, чем у Чехова. Романист 40-х годов надеялся, что сближение с западной культурой обновит и воскресит Россию. И сам Обломов изображен не совсем еще безнадежным человеком. Он только ленив, неподвижен, непредприимчив. Кажется, проснись он — он десяток Штольцев за пояс заткнет. Иное дело Лаевский. Этот уже проснулся, давно проснулся, — но его пробуждение не принесло с собой добра...

«Природы он не любит. Бога у него нет, все доверчивые девочки, которых он знал, сгублены им или его сверстниками, в родном саду своем он за всю жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки, а, живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал, лгал».

Добродушный увалень Обломов выродился в отвратительную и страшную гадину. А чистый Штольц остался и в своих потомках чистым!.. Только с новыми Обломовыми он уже иначе разговаривает. Фон-Корен называет Лаевского негодяем и мерзавцем и требует к нему применения самых строгих кар. Помирить Корена с Лаевским невозможно. Чем чаще им приходится сталкиваться друг с другом, тем глубже, неумолимей и беспощадней они ненавидят один другого. Вместе жить им на земле нельзя. Одно из двух: либо нормальный фон-Корен, либо вырожденец, декадент Лаевский. Причем вся внешняя материальная сила на стороне фон-Корена, конечно. Он всегда прав, всегда побеждает, всегда торжествует и в поступках своих и в теориях.

Любопытная вещь: Чехов непримиримый враг всякого рода философии. Ни одно из действующих лиц в его произведениях не философствует, а если философствует, то обыкновенно неудачно, смешно, слабо, неубедительно. Исключение представляет фон-Корен, типичный представитель позитивизма материалистического направления. Его слова дышат силой, убежденностью, в них есть даже пафос и максимум логической последовательности. В рассказах Чехова много героев материалистов, но с оттенком скрытого идеализма, по выработанному в 60-х годах шаблону. Таких Чехов держит в загоне и высмеивает. Идеализм во всех видах, явный и тайный, вызывает в нем чувство невыносимой горечи. Ему легче было выслушивать беспощадные угрозы прямолинейного материализма, чем принимать худосочные утешения гуманизирующего идеализма. Есть в мире какая-то неизбежная сила, давящая и уродующая человека — это ясно до осязаемости. Малейшая неосторожность, и самый великий, как и самый малый, становится ее жертвой. Обманывать себя можно только до тех пор, пока знаешь о ней только понаслышке. Но кто однажды побывал в железных лапах необходи-

мости, тот навсегда утратил вкус к идеалистическим самообольщениям. Он уже не уменьшает — он скорее склонен преувеличивать силу врага. А чистый, последовательный материализм, который проповедует фон-Корен, наиболее полно выражает нашу зависимость от стихийных сил природы. Фон-Корен говорит, точно молотом бьет, и каждый его удар попадает не в Лаевского, а в Чехова, в самые больные места его. Он дает Корену все больше и больше сил, он сам подставляет себя под его удары. Зачем? Почему? А вот подите же! Может быть, жила в Чехове тайная надежда, что самоистязание для него единственный путь к новой жизни. Он этого нам не сказал. Может и сам не знал, а может быть боялся оскорбить позитивистический идеализм, так безраздельно властвующий в современной литературе. Он не смел еще выступать против европейского общественного мнения — ведь наши философские мировоззрения не нами выдуманы, а занесены к нам из Европы. И, чтобы не спорить с людьми, он придумал для своего страшного рассказа шаблонную, утешительную развязку. В конце рассказа Лаевский «исправляется», женится на своей любовнице, бросает беспутную жизнь и начинает старательно переписывать бумаги, чтобы уплатить долги. Нормальные люди могут быть вполне удовлетворены, ибо нормальные люди в басне читают только последние строчки — мораль, а мораль «Дуэли» самая здоровая: Лаевский исправился и стал бумаги переписывать. Правда, может показаться, что такого рода конец больше похож на насмешку над моралью, но нормальные люди не слишком проницательные психологи: они боятся двойственности и с присущей им «искренностью» все слова писателя принимают за чистую монету. В добрый час!

VII

Единственная философия, с которой серьезно считался и потому серьезно боролся Чехов — был позитивистический материализм, именно позитивистический, т. е. ограниченный, не претендующий на теоретическую законченность. Всем существом своим Чехов чувствовал страшную зависимость живого человека от невидимых, но властных и явно бездушных законов природы, а ведь материализм, в особенности научный материализм, сдержанный, не гоняющийся за последним словом и логической закругленностью, целиком сводится к обрисовке внешних условий нашего существования. Ежедневный, ежечасный, даже ежеминутный опыт убеждает нас, что одинокий слабый человек, сталкиваясь с законами природы, постоянно должен приспособляться и уступать, уступать, уступать. Нельзя старому профессору вернуть свою молодость, нельзя надорвавшемуся Иванову скрепить себя, нельзя Лаевскому отмыть облепив-

шую его грязь и т. д. — без конца ряд неумолимых, чисто материалистических нельзя, против которых человеческий гений не умеет выставить ничего, кроме покорности или забвения: «Résigne toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute» *) — иных слов мы не найдем перед лицом картин, развернувшихся в чеховских произведениях. Покорность внешняя, а под ней затаенная, тяжелая, злобная ненависть к неведомому врагу. Сон, забвение только кажущиеся — ибо разве спит, разве забывается человек, который свой сон называет sommeil de brute?

Но как быть иначе. Бурные протесты, которыми наполнена «Скучная история», потребность излить наружу накопившееся негодование скоро начинают казаться ненужными и даже оскорбительными для человеческого достоинства. Последняя протестующая пьеса Чехова — «Дядя Ваня». Дядя Ваня, как старый профессор, как Иванов, бьет в набат, поднимает неслыханную тревогу по поводу своей загубленной жизни. Тоже не своим голосом он вопит на всю сцену: пропала жизнь, пропала жизнь, — точно и в самом деле кто-нибудь из окружающих его людей, кто-нибудь во всем мире может быть в ответе по поводу его беды. Ему мало крика и воплей. Он осыпает оскорблениями родную мать. Как безумный, без всякой цели, без всякой нужды он начинает палить из револьвера в своего воображаемого врага, жалкого и несчастного старика, отца некрасивой Сони. Собственного голоса ему мало, и он прибегает к револьверу. Он готов был бы палить из всех пушек, какие есть на свете, бить во все барабаны, звонить во все колокола. Ему кажется, что все люди, весь мир спит, что нужно разбудить ближних. Он готов на какую угодно нелепость, ибо разумного выхода для него нет, а сразу признаться, что нет выхода — на это ни один человек не способен.

И начинается чеховская история: примириться невозможно, не примириться тоже невозможно, остается колотиться головой о стену. Сам дядя Ваня проделывает это открыто, на людях, но как потом больно ему вспоминать о своей невоздержанной откровенности! Когда все разъезжаются после мучительной и бессмысленной сцены, дядя Ваня понимает, что молчать нужно было, что нельзя признаваться никому, даже самому близкому человеку в известных вещах. Посторонний глаз не выносит зрелища безнадежности. «Проворонил жизнь», — пеняй на себя, ты уже больше не человек, все человеческое тебе чуждо. И ближние для тебя уже не ближние, а чужие. Ты не в праве ни помогать другим, ни ждать от других помощи. Твой удел абсолютное одиночество. Понемногу Чехов убеждается в этой «истине»: «Дядя Ваня» послед-

*) Буквальный перевод: «Смирись мое сердце, спи своим животным сном». (Ред.)

ний опыт шумного, публичного протеста, вызывающей «декларации прав». Даже и в этой пьесе неистовствует один дядя Ваня — хотя в числе действующих лиц есть и доктор Астров, и бедная Соня, которые тоже в праве были бы бушевать и даже из пушек палить. Но они молчат. Они даже повторяют какие-то хорошие, ангельские слова на тему о счастливом будущем человечества — иначе выражаясь, они удвоенно молчат, ибо в устах таких людей «хорошие слова» обозначают совершенную оторванность от мира. Они ушли от всех и никого к себе не подпускают. Хорошими словами они, как китайской стеной, оградили себя от любопытства и любознательности ближних. Снаружи они похожи на всех — значит внутренней их жизни никто коснуться не смеет.

Какой смысл, какое значение этой напряженной внутренней работы покончепных людей? Чехов, вероятно, на этот вопрос ответил бы теми же словами, какими Николай Степанович отвечал на вопросы Кати: «Не знаю». Больше бы он ничего не прибавил. Но эта жизнь, больше похожая на смерть, чем на жизнь — она одна только привлекала и занимала его. Оттого и речь его из года в год становилась тише и медлительней. Среди наших писателей — Чехов тишайший писатель. Вся энергия героев его произведений направлена во внутрь, а не наружу. Они ничего видимого не создают, хуже того — они все видимое разрушают своей внешней пассивностью и бездействием. «Положительный мыслитель» вроде фон-Корена без колебания клеймит их страшными словами, тем более довольный собой и своею справедливостью, чем больше энергии вкладывает он в свои выражения «мерзавцы, подлецы, вырождающиеся, макаки» и т. д., чего только не придумал фон-Корен по поводу Лаевских! Явный положительный мыслитель хочет принудить Лаевского переписывать бумаги. Неявные положительные мыслители, т. е. идеалисты и метафизики, бранных слов не употребляют. Зато они заживо хоронят чеховских героев на своих идеалистических кладбищах, именуемых мировоззрениями. Сам же Чехов от «разрешения вопроса» воздерживается с настойчивостью, которой большинство критиков, вероятно, желало бы лучшей участи, и продолжает свои длинные рассказы о людях, о жизни людей, которым нечего терять — точно в мире только и было интересного, что это кошмарное висение между жизнью и смертью.

О чем говорит оно нам? О жизни, о смерти? Опять нужно ответить «не знаю», теми словами, которые возбуждают наибольшее отвращение положительных мыслителей, но которые загадочным образом являются постоянным элементом в суждениях чеховских людей. Оттого им так близка враждебная им материалистическая философия. В ней нет ответа, обязывающего к радостной покорности. Она бьет, уничтожает человека, — но она не называет себя разумной, не требует себе благодарности, ей ничего не нужно, ибо она

бездушна и бессловесна. Ее можно признавать и вместе ненавидеть. Удастся справиться с ней человеку — он прав, не удастся — vae victis. Как отрадно звучит голос откровенной беспощадности неодушевленной, безличной, равнодушной природы сравнительно с лицемерно сладкими напевами идеалистических, человеческих мировоззрений! А затем, и это самое главное, с природой все-таки возможна борьба! И в борьбе с природой все средства разрешаются. В борьбе с природой человек всегда остается человеком и, стало быть, правым, что бы он не предпринял для своего спасения. Даже если бы он отказался признать основной принцип мироздания — неуничтожимость материи и энергии, закон инерции и т. д. Ибо самая колоссальная мертвая сила должна служить человеку, кто станет оспаривать это?

Иное дело «мировоззрение»! Прежде, чем изречь слово, оно ставит неоспоримое требование: человек должен служить идее. И это требование считается, мало того, что само собой разумеющимся — еще необыкновенно возвышенным. Удивительно ли, что в выборе между идеализмом и материализмом Чехов склоняется на сторону последнего — сильного, но честного противника? С идеализмом можно бороться только презрением, и в этом смысле произведения Чехова не оставляют ничего желать... Как бороться с материализмом? И можно ли его победить? Может быть читателю покажутся странными приемы Чехова, но, очевидно, он пришел к убеждению, что есть только одно средство борьбы, к которому прибегали уже древние пророки: колотиться головой о стену. Без грома, без пальбы, без набата, одиноко и молчаливо, вдали от близких, своих и чужих, собрать все силы отчаяния в давно осужденной наукой и здравым смыслом попытке. Но разве от Чехова вы вправе были ожидать санкции научной методологии? Наука отняла у него все: он осужден на творчество из ничего, т. е. на такое дело, на которое нормальный человек, пользующийся только нормальными приемами, абсолютно неспособен. Чтобы сделать невозможное, нужно прежде всего отказаться от рутинных приемов. Как бы упорно мы не продолжали научные изыскания, они не дадут нам жизненного элексира. Ведь наука с того и начала, что отбросила, как принципиально недостижимое, стремление к человеческому могуществу: ее методы таковы, что успехи в одних областях исключают даже искания в других. Иначе говоря, научная методология определяется характером задач, поставленных себе наукой. И действительно, ни одна из ее задач не может быть достигнута колочением головой об стену. Этот, хотя и не новый метод (повторяю, его уже знали, им пользовались пророки) для Чехова и его героев обещает больше, чем все индукции и дедукции (к слову сказать, тоже не выдуманные наукой, а существующие с основания мира). Он подсказывается человеку таинственным инстинктом, и каждый раз, когда в нем

является надобность, он является на сцену. А что наука осуждает его, в этом нет ничего страшного. Он в свою очередь осуждает науку.

VIII

Теперь может быть станет понятным дальнейшее развитие и направление чеховского творчества и то характерное для него и не повторяющееся у других сочетание «трезвого» материализма с фантастическим упорством в искании новых, всегда окольных и проблематических путей. Он, как Гамлет, хочет подвести под своего противника «подкоп аршином глубже», чтобы разом взорвать на воздух и инженера и его строение. Терпение и выдержка его при этой тяжелой, подземной работе прямо изумительны и для многих невыносимы. Везде тьма, ни одного луча, ни одной искры, а Чехов идет вперед медленно, едва-едва подвигаясь. Неопытный, нетерпеливый взор может быть совсем и не заметит движения. Да, пожалуй, и сам Чехов не знает наверное, подвигается ли он вперед или топчется на одном месте. Рассчитывать вперед нельзя. Нельзя даже и надеяться. Человек вступил в ту полосу своего существования, когда разум, загадывающий вперед и ободряющий, отказывает в своих услугах. Нет возможности составить себе ясное и отчетливое представление о происходящем. Все принимает фантастически бессмысленную окраску. Всему веришь и не веришь.

В «Черном монахе» Чехов рассказывает о новой действительности и таким тоном, как будто сам недоумевает, где кончается действительность и начинается фантасмагория. Черный монах влечет молодого ученого куда-то в таинственную даль, где должны осуществиться лучшие мечты человечества. Окружающие люди называют монаха галлюцинацией и борются с ним медицинскими средствами — бромом, усиленным питанием, молоком. Сам Коврин не знает, кто прав. Когда он беседует с монахом, ему кажется, что прав монах, когда он видит перед собой рыдающую жену и серьезные, встревоженные лица докторов, он признается, что находится во власти навязчивых идей, ведущих его прямым путем к помешательству. Побеждает в конце концов черный монах. Коврин не в силах выносить окружающую его обыденность, разрывает с женой и ее родными, которые ему кажутся палачами, и идет куда-то, но не приходит на наших глазах никуда. Под конец рассказа он умирает, чтобы дать автору право поставить точку.

Это всегда так бывает: когда автор не знает, что делать с героем, он убивает его. Вероятно, рано или поздно этот прием будет оставлен. Вероятно, в будущем писатели убедят себя и публику, что

всякого рода искусственные закругления — вещь совершенно ненужная. Истощился материал — оборви повествование, хотя бы на полуслове. Чехов иногда так и делал, — но только иногда. Большей же частью он предпочитал, во исполнение традиционных требований, давать читателям развязку. Этот прием не так безразличен, как может показаться на первый взгляд, ибо он вводит в заблуждение. Взять хотя бы «Черного монаха». Смерть героя является как бы указанием, что всякая ненормальность, по мнению Чехова, ведет обязательно через нелепую жизнь к нелепой смерти. Между тем едва ли Чехов был твердо в этом убежден. По-видимому, он чего-то ждал от ненормальности и оттого уделял так много внимания выбитым из колеи людям. Он убедился, что выхода из запутанного лабиринта нет, что лабиринт, неопределенные блуждания, вечные колебания и шатания, беспричинное горе, беспричинные радости, словом все, чего так боятся и избегают нормальные люди, стало сущностью его жизни. Об этом и только об этом нужно рассказывать. Не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считают настоящей действительностью?

Одним из самых характерных для Чехова, а потому и замечательных его произведений, должна считаться его драма «Чайка». В ней с наибольшей полнотой получило свое выражение истинное отношение художника к жизни. Здесь все действующие лица или слепые, боящиеся сдвинуться с места, чтобы не потерять дорогу домой, либо полусумасшедшие, рвущиеся и мятущиеся неизвестно куда и зачем. Знаменитая артистка Аркадьина словно зубами вцепилась в свои семьдесят тысяч, свою славу и последнего любовника. Тригорин — тоже известный писатель, изо дня в день пишет, пишет, пишет, не зная, для чего и зачем он это делает. Люди читают и хвалят его произведения, и он не принадлежит себе; он как перевозчик Марко в сказке, не покладая рук работает, переезжая и перевозя пассажиров с берега на берег. И река, и лодки, и пассажиры до смерти надоели, — но как от них избавиться. Бросить весла первому встречному — это решение так просто, но за ним, как в сказке, нужно идти на небо.

Не только Тригорин, все не слишком молодые люди в сочинениях Чехова напоминают перевозчика Марко. Их дело им явно не нужно, но они, точно загипнотизированные, не могут вырваться из власти чуждой им силы. Однообразный, ровный, унылый ритм жизни усыпил их сознание и волю. Чехов повсюду подчеркивает эту странную и загадочную черту человеческой жизни. У него люди всегда говорят, всегда думают, всегда делают одно и то же. Тот строит дома по раз выдуманному шаблону («Моя жизнь»), другой с утра до вечера разъезжает по визитам, собирая рубли («Ионыч»), третий

скупает дома («Три года»). Даже язык действующих лиц умышленно однообразен, по поговорке — заладила сорока Якова, твердит про всякого. Кто неизменно, при случае и без случая, твердит «недурственно», кто «хамство» и т. д. Все однообразны до одурения и все боятся нарушить это одуряющее однообразие, точно в нем таится источник необычайных радостей. Прочтите монолог Тригорина:

«...давайте говорить... Будем говорить о моей прекрасной жизни... Ну-с, с чего начать? (подумав немного). Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть такая своя луна... День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен. Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что это за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорей мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую, авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться — ан нет: в голове уже ворочается тяжелое, чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить писать и опять писать. И так всегда, всегда и нет мне покоя от самого себя и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который к отдаю кому-то, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мной, как со здоровым? «Что пишете?» «Чем нас порадуете?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение, все это обман, меня обкрадывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом».

Зачем же все это? Брось весла и начни другую жизнь. Нельзя — пока с неба не придет ответ, Тригорин не бросит весел, не начнет новой жизни. О новой жизни у Чехова говорят только молодые, очень молодые и неопытные люди. Им все грезится счастье, обновление, свет, радости. Они летят очертя голову на огонь и сгорают, как сгорают неразумные бабочки. В «Чайке» Нина Заречная и Треплев, в других произведениях другие герои, женщины и мужчины. Все живут врозь, каждый целиком поглощен своею жизнью и равнодушен к жизни других. И странная судьба чеховских героев: они напрягают до последней степени возможности свои внутренние силы, но внешних результатов не получается никаких. Все они жалки. Женщина нюхает табак, неряшливо одета, не причесана, не интересна. Мужчина раздражается, брюзжит, пьет водку, надоедает

окружающим. Говорят некстати, действуют некстати. Приспособить к себе внешний мир не умеют, я готов сказать, не хотят. Материя и энергия сочетаются по собственным законам — люди живут по собственным, как будто бы материи и энергии совсем не было.

В этом отношении чеховская интеллигенция ничем не отличается от неграмотных мужиков и полуграмотных мещан. В усадьбе живут так же, как и в овраге, как и в деревне. Никто не верит, что изменив внешние условия, можно изменить и свою судьбу. Везде царит, хотя и не сознанное, но глубокое и неискоренимое убеждение, что воля должна быть направлена к целям, ничего общего с устроением человечества не имеющим. Хуже — устроение кажется врагом воли, врагом человека. Нужно портить, грызть, уничтожать, разрушать. Спокойно обдумывать, предугадывать будущее — нельзя! Нужно колотиться, без конца колотиться головой о стену. К чему это приведет. И приведет ли к чему-нибудь? Конец это или начало? Можно видеть в этом залог нового, нечеловеческого творчества, творчества из ничего? «Не знаю», ответил старый профессор рыдающей Кате. Не знаю — отвечал Чехов всем рыдающим и замученным людям. Этими, и только этими словами можно закончить статью о Чехове. Résigne toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute.

ЮРИЙ ИВАСК

Похвала российской поэзии

ГИМНЫ

Не музы — ангелы парили над юной Русью. Ангельские лики (хоры) пели ей божественные гимны[1]). Язык этим гимнов — небесный, чуждый жизни. Это тот церковнославянский язык, который родился мертвым; на нем ведь никогда не говорили: только писали, пели, читали. Его творцы — два брата, св. св. Кирилл (Константин) и Мефодий, сыновья византийского друнгария, цвет византийской аристократии 9 века. В качестве сырого материала они использовали один из болгарско-македонских диалектов, который они знали с детства, в родной Солуни. Казалось бы, это дикое наречие могло быть уместным лишь на конюшне или в девичьей (геникее) знатной византийской семьи; или же — на рынке, в казарме. Но ученые набожные братья думали иначе: они постигли вселенскость благой вести Христа Спасителя; ведь в день пятидесятницы апостолы и их ученики заговорили на всех языках; значит — дурных языков нет; каждый хорош для проповедания Слова Божиего и для приближения к Богу, обожения (теозис).

Перелагая Св. Писание на варварское наречие, Кирилл и Мефодий избегали греческих слов. Словарь созданного ими литературного языка — чисто-славянский; но, переводя понятия сложные, они и их преемники вводили неологизмы (буквальные переводы с греческого, кальки, например, богословие — теология). Не морфология, а семантика (значение слов), синтаксис были в значительной степени — греческие. Этот эллинизированный славянский язык всех тонкостей «божественной эллинской речи» не передает, но все же он упорядочил, «образил» другие славянские языки, и творчески на них воздействовал; и русский язык, более чем все прочие, впитал в себя церковнославянские элементы.

[1]) Для изучения древнерусской словесности за пределами России много сделали: Д. И. Чижевский, Р. О. Якобсон — в области стилистики; о. Г. Флоровский — для истолкования византийской православной культуры на Руси; Г. П. Федотов, В. В. Вейдле — для понимания духа той эпохи.

Прав Г. П. Федотов, утверждавший, что церковнославянский язык внес несоответственную торжественность в евангелие синоптиков: ибо слишком приукрасил бедных галилейских рыбарей, нарядив их в драгоценные ризы, которых у них не было[2]), но зато он прекрасно передает еврейские псалмы или византийские гимны Андрея Критского.

Мерная, звучная проза псалмов и гимнов стала образцом для древнерусской поэзии. Лучшие художественные памятники Киевской Руси, Сказание о Борисе и Глебе и Слово о Полку Игореве могут восприниматься, как стихи белые (без рифмы), свободные (без определенного ритма), богатые звуками (звуковые повторы) и еще, вдобавок, с напевными интонациями (в восклицаниях и вопрошаниях)[3]).

Примеры эвфонии в Сказании о Борисе и Глебе: багряница и брячины (пиры)... брашна честная и быстрыи кони... или шипящие (в момент приближения убийц князя Бориса): И яко услышаше шопот (шопот или топот?) зол окрест шатра... А в плаче юного князя Глеба воющие *у* смягчаются жалобным блеяньем — *(м)ни, мн, ре*: Увы мне! Уне бы ми с тобою умрети, неже уединену и усирену от тебе в сем житии пожити... В Слове о Полку Игореве слышатся победные раскаты плавного *р* в созвучии с другими согласными: врани граяху(ть); прыщеши на вое стрелами, гримлеши о шеломы мечи харалужными (каролингскими, франкскими, по толкованию Р. О. Якобсона). Эти грозди звучных согласных имеются во всех индоевропейских языках и испокон веков соблазняют поэтов.

Есть музыка речи в древнерусской поэзии. Так, в Сказании о Борисе и Глебе повышение голоса на один тон подсказывается этими восклицаниями, выражающими крайнее, горестное изумление:

Милыи господине,
Наю и драгыи!
Колико благости исполнен бысть
Яко не восхоте противитися брату
Любове ради Христовы.
А коликы вои держа
В руку своею.

Героический пафос Слова о Полку Игореве достигает

[2]) Г. П. Федотов. Славянский и русский язык богослужений, Путь, 56, 1938.

[3]) Как именно пелись или напевались (речитативом) Сказание и Слово в древней Руси, мы не знаем и вероятно никогда не узнаем. Но явно — это памятники скорее поэтические, чем прозаические. Границу же между стихами и прозой провести трудно и даже невозможно.

предельной высоты в лирической похвале юному князю полоцкому, павшему на поле брани:

Един же изрони
Жемчюжну душу
Ис храбра тела
Чрес злато ожерелие.

Уныли голоси,
Пониче веселие.

Трубы трубят Городеческые (Городеньскии).

После яркого звона о гибели героя, звуки, передавая уныние, меркнут. Потом опять слышатся громы: битва продолжается (трубы трубят...). В этом отрывке голос три раза меняется. Интонационная мелодика древнерусской поэзии не богаче ли мелодики стихов, подчиненных метрам современной силлабо-тонической версификации? Даже гибкие ямбы и хореи, допускающие пропуск ударений (пиррихии), несколько ослабляют смысловые (синтаксические) интонации; они более монотонны. В свободной гимнической поэзии язык выразительнее: в них словесность «не убивается» монотонией так называемых правильных размеров. Слово в древней Руси — жило, пело на воле (однако — не своевольничало!). Даже в Евгении Онегине оно связано ямбом, допускающим большое, но все же ограниченное количество вариантов. А в Слове и в Сказании ничто не предопределяется метром: читателя везде подстерегает неожиданное, и он должен постоянно менять голос, согласуя его со смыслом текста, а не с метром, хотя бы и очень разнообразным. Заостряя и обобщая, можно утверждать, что в свободных стихах древней Руси слово «делало музыку». А в новой русской поэзии (после Ломоносова) метр часто подчиняет слово и, тем самым, его ослабляет, хотя оно и противится метрической механике; и лучшие поэты одерживают над ней победу[4]). Вольности же нашей древней поэзии — не варварские. В ней есть скрытый ритм: в каждой стиховой единице два-три-четыре слова[5]); и постоянно встречаются звуковые повторы (не случайные).

Сказание о Борисе и Глебе (написанное около 1100 года) сравнительно мало известно; оно кажется бледным по сравнению с яркой живописью Слова о Полку Игореве (конец 12 века). В Слове — щедрая роскошь; оно изобилует князьями, кметями (героями), птицами, зверями, в нем столько ярких кон-

[4]) Борис Эйхенбаум. Мелодика русской поэзии, 1922. Это лучшая, хотя и фрагментарная, работа об интонациях в русском стихе.

[5]) Моя разбивка текстов на минимальные синтаксические единицы (в 2-3-4 слова) представляется мне самой естественной, но академически она не «узаконена». Здесь я не имею возможности обсуждать эту проблему.

трастов: звериная магия оборотня Всеслава и нежные жалобы зегзицы-Ярославны. Логика изложения постоянно взрывается лирическими эмоциями. Певец Слова так же растекался (разлетался) мыслию по древу, как и легендарный Боян (хотя и утверждает обратное)! Нервный «импрессионизм» поэмы даже отзывается декадентством, всегда завершающим героические эпохи; когда подвиги реже совершаются, они чаще воспеваются и иногда стилизуются.

Сказание — житие в форме гимна. Борис и Глеб не полуязыческие герои, как Игорь и Всеволод. Смерть их ужасает; но в конце концов они смиряются и, по дерзновенному замыслу неведомого их певца, в самый момент гибели уподобляются страдающему Христу, который является истинным героем этой поэмы. Словарь прост, благородно-беден, но слова, звуки даны в лучшем и, вместе с тем, незаметном порядке. Гармония, стройство Сказания не сразу приоткрывается; оно не оглушает, как Слово. Борис, его «попин» и верный юноша-венгерец Георгий, которого он любит «паче меры», а также и младший брат Глеб — смиренные братья во Христе, страстотерпцы, тогда как в Слове блистают живописные «братья-разбойники» Игорь и Всеволод и их дружина. Там и здесь источники вдохновения — братство (филия), но оба эти братства резко противоположны; одно — христианское, другое — языческое. Музыка Сказания — тихий чистый ручей, а музыка Слова — водовороты, бурлящие у порогов. Сказание изящно, гармонично и аскетично по духу, а в Слове — великолепная дисгармония красок и кликов, воплей, вздохов.

Звучные свободные стихи гимнического строя и лада встречаются и в проповедях, еще у Илариона Киевского и потом у Кирилла Туровского (середина 12 века):

*Мла*денцы *яко крылати*
Окрест Иисуса паряще,
Вопияху: Осанна
Сыну Давидову...

и в Ипатьевской летописи (12-13 вв.), где упоминаются половецкий гудец Орь и словутый певец Митус. Несомненно, были и другие певцы, имена и творения которых не сохранились. Жалкие же крохи княжеско-дружинного лиро-эпоса были подобраны невежественными сказителями, сохранившими устную традицию вплоть до нашего века. Старины (былины) передают древний эпос в очень искаженном виде. Словарь и ритм старин — примитивны. Любой более или менее начитанный читатель может легко овладеть их стилем и день-деньской сказывать былины на любую тему (подобно советским сказителям, прославлявшим батюшку Сталина). Настоящего искусства в этом фольклоре нет. А подделать Сказание или Слово невозможно (или очень трудно). Фольклор — это gesun-

kenes Kulturgut. Из русских ученых эту теорию развивал еще даровитейший Всеволод Миллер. А гимны набожных певцов Киевской Руси выродились в песни духовные (все же художественные и значительные, чем старины) [6]).

Есть смелые гимнические обороты в так называемом Молении Даниила Заточника (первая четверть 13 века): Ударим в бубны ума своего! Патетический и иронический Даниил — искусный словесник. Он мастер игры слов (которую находим и в Ипатьевской летописи, и в Слове, но не в возвышенном Сказании): Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбиво, а мне горе лютое; кому Белоозеро, а мне чернее смолы; кому Лаче озеро, а мне много плача...

В ранней Московии 14 века рязанец Софония создает Задонщину, которая является слабым, но не бездарным подражанием Слову. В эпоху политического расцвета и культурного упадка Московской Руси звучные, свободные стихи обнаруживаем в пышно-орнаментальном титуле Степенной книги (около 1563 г.): Сад доброраслен и красен листвием. В этой же летописи прекрасно звучит плач вдовы Дмитрия Донского:

Юность не отыде от нас,
И старость не постиже нас!

Есть прелесть в величавом (дьяконском) рокоте Степенной книги, но ее звон — пустой звон по сравнению с богатыми переливами Киевской Руси. Эту книгу писал утонченный словесник, но она очень уж бедна мыслью. Лесть и ложь раболепного «московита» — сомнительный источник вдохновения.

Есть гимнические «воскликновения» в писаниях загадочного Иоанна Вышенского (умер в первой четверти 17 века):

и, без пестроты,
в простоте сердца
Бога хвалете.

Вышенский — украинец, афонский монах, аскет, страстный обличитель латынской и греческой «пестроты», враг богатых, друг бедных.

Московия 17 века. «Как стихи» звучат многие строки Урядника Алексея Михайловича (новое уложение и устроение чина сокольничьего пути):

Красносмотрителен и радостен
Высокова сокола лет.

---

[6]) Тем не менее, народная поэзия представляет большой интерес; Р. О. Якобсон утверждает, что ее метрика восходит к древнеевропейскому фольклору (Studies in Comparative Slavic Metrics, Oxford Slavonic Papers, III, 1952; см. также его работу Kernel of Comparative Slavic Literature, Harvard Slavic Studies, I, 1953).

Эта Соколиная книга (и, вместе с тем, трактат по эстетике!) восхищала Державина, С. Т. Аксакова. Есть ритм, эвфония и заумная эзотерика в некоторых охотничье-обрядовых выражениях, передававшихся в сокращенном виде: Вре-ли го-рь со-ть ло? (Время ли, государь, сотворить дело?).

Забавны пародии на церковные гимны в Празднике кабацких ярыжек (17 века): Приидите безумнии и воспойте песни нелепые пропоицам. Монотонный фольклорный распев слышится в Горе-Злосчастье; эта надрывная поэма была, однако, написана индивидуальным автором и явно богаче, художественнее так называемой народной поэзии.

Эвфоническая, ритмическая проза или звучные, белые, свободные стихи — все творчество неведомых певцов Киевской Руси и их значительно более слабых преемников в Московии, вдохновлялось церковнославянскими псалмами и гимнами нашего византийского богослужения. Может быть их ритмы в какой-то степени воспроизводят греческие размеры, но этот вопрос еще не исследован. А эвфоничность русских гимнологов явно чужда всей вообще греческой поэзии и скорее восходит к германскому эпосу с его Stabreime (однако, это предположение до сих пор не было подтверждено). Если бы мы были менее ленивы и более любопытны, то лучше бы знали древнерусскую поэзию и, в особенности, киевскую, которая все еще остается достоянием преимущественно ученых, не понимающих, да и не обязанных понимать ее живую красоту. Только Слово о Полку Игореве привлекает внимание непосвященных и в самом искаженном виде «перелагается» на современный русский язык...

Наша древняя поэзия — не только прошлое; она может стать и настоящим и будущим русской поэзии. Мне лично кажется, что творческое истолкование ее облегчит неизбежный переход от нашей «классической» метрики и даже от «дольников», «паузников», и от рифмованных стихов — к стихам белым (без рифм), свободным (без строгого метра) и звучным (с звуковыми повторами). Этот переход уже совершается в поэзии французской, немецкой, англо-американской. А «консервативные» русские поэты (и в Советской России, и в эмиграции) все еще подыскивают рифмы и подсчитывают стопы[7]). Так или иначе, наша древняя гимнология, и духовная (Сказание), и светская (Слово), остается самоценным и совершенным искус-

[7]) Хлебниковская революция в царстве-государстве российской поэзии все еще остается непонятой и недооцененной в литературных кругах. В ближайшем будущем появится книга В. Ф. Маркова о Хлебникове; может быть ему удастся разъяснить, в чем именно заключается революционное значение Хлебникова, мастера «самовитого» (автономного) слова.

ством, созданным в Киевской Руси согласно образцам церковнославянских песнопений, переведенных с языка греческого[8]).

ВИРШИ

Первые рифмованные стихи, в и р ш и, мы встречаем в Острожской Библии (1581 г.). Их автор — подскарбий Герасим Смотрицкий (умер в 1594 г.). За образец он взял польскую силлабическую версификацию, но плохо в ней разобрался, как и другой белорусский рифмоплет Андрей Римша. Здесь ирония судьбы: Польша в 16 веке переживала золотой век поэзии, но русскую поэзию она, к сожалению, не оплодотворила.

Несколько выразительнее вирши незадачливого князя И. А. Хворостинина (умер в 1625 г.), называвшего себя по-западному дуксом Иваном: Груб аз сый, неучен беседою, / От Афин и Итталий никако не ведаю... Его современник Иван Фруников писал в стиле, напоминающем так называемый сказ раешника, который Пушкин использовал в своей С к а з к е о п о п е и р а б о т н и к е е г о Б а л д е. Этот размер народный, но и на него вероятно оказала влияние польская книжная поэзия: А мужики, что ляхи, / Дважды приводили к плахе, / За старые шашни, / Хотели сбросить с башни.

Правильное силлабическое стихосложение, опять таки по польскому образцу, вводит ученый белорус украинской школы Симеон Полоцкий (1629-1680), придворный проповедник и пиита Алексея Михайловича, наставник Федора Алексеевича. Подражательное барокко этого ученого мужа — явление глухо-провинциальное, бедное по стилю и идеям. Сносны лишь отдельные — случайно-тонические стихи его: Время слезам есть, веселию время (дактиль). Столь же бездарны были его ученики-московиты — С. Медведев и К. Исто-

[8]) P. S. Может быть Гоголь был последним певцом, вдохновлявшимся строем и ладом церковнославянской гимнологии. Архаизмов у него сравнительно мало, но «величавое лирическое течение» в некоторых фрагментах п о э м ы М е р т в ы е д у ш и неожиданно напоминает «свободные стихи» древнерусской поэзии: «Русь! чего же ты хочешь от меня?.. Что пророчит твой необъятный простор?.. Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!.. Русь! куда же ты несешься, дай ответ. Не дает ответа» (глава 11). Есть свободный ритм и в менее патетических отрывках, например, в описании сада Плюшкина. Лирическая риторика Гоголя, отзывающаяся скорее пафосом проповедей украинской барочной традиции, все же перекидывает мост между 19 веком и древней поэзией, прозвучавшей также и в проповедях Илариона Киевского или Кирилла Туровского.

мин. Более интересны евфонические вирши украинского пииты Ивана Величковского:

Не Бог есть на сем свете, свет есть в Бозе...[9])

Последний и лучший русский силлабик — князь Антиох Кантемир (1708-1744), сын молдаванского господаря. Этот первый настоящий русский европеец (греческого происхождения) был по культуре своей на голову выше всех других русских поэтов 18 века. Силлабику своих бездарных предшественников он усовершенствовал цезурой. Словарь его очень богат и включает и церковнославянские словеса и просторечивые словечки (Румяный, трожды рыгнув, / Лука подпевает... Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома...). Есть счастливые выражения в его обращении к своей музе (сатира IV): Музо! свет мой... или:

Но вижу, музо, ворчишь, жмешься и краснеешь...

За эти лирические в з д о х и да простятся скромному и благородному Кантемиру все грехи его скрипучей силлабики! Есть у него и техническая заслуга: обогащение рифмы (латыни-ныне, русски-узкий, скоком-глубоком, вечерни-черни, сердцем-перцем). До него жалкие западнорусские силлабики придерживались преимущественно глагольных рифм. Свою ограниченность культурный Кантемир осознавал: ...вру по-русски / То, что по-римски давно уж и по-французски / Сказано красивее... Кто знает, если бы был он не последним силлабиком, а первым тоником, то стал бы соперником Ломоносова.

Основные признаки силлабического стихосложения — равенство слогов (13, 11, 9, 7) и цезура. Ударения в счет не идут. Высказывалось предположение, что чтецы силлабических стихов их скандировали, выделяя каждый слог, что является насилием над русским языком. Все же стихи Кантемира вроде следующих — какофония: Пусть не чтит, кто мои мнит мнения неправы... А некоторые его стихи тоничны и звучат приятно: Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу... (ямбы).

Так или иначе, проблема силлабики остается нерешенной; может быть поэт-мастер мог бы найти mots justes, которые оживили бы силлабику и сблизили бы ее с паузниками, дольниками. Кантемиру, обладавшему несомненным словесным дарованием, сделать этого не удалось. Никто после него о реставрации силлабики всерьез не помышлял. А культуру его верно оценил Батюшков, написав-

[9]) Не хотелось бы обременять этот очерк библиографией. Все же отмечаю здесь статью С. А. Зеньковского о кн. Хворостинине (Опыты, 6, 1956), а также работы Д. И. Чижевского о Иоанне Вишенском и Иване Величковском (в сборнике Aus zwei Welten, Leiden, 1956).

ший прелестный Вечер у Кантемира (1816 г.). — Монтескье, застав его за переводом Персидских писем, рассуждает о бесполезности сатир в России: «Как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно, вторым — бесполезно». А друг Монтескье, аббат В., отрицает самую возможность просвещения на русском севере: «Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!» Кантемир же в этом очерке Батюшкова оспаривает «тезисы» своих французских друзей...

Кантемир остается ярким представителем русско-европейской культуры, но его силлабическая поэзия — достояние прошлого.

СТИХИ

ОСЬМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Ангелы вывелись в петровской империи. Пусть в храме ангельские лики славословят Господа и по сей день, но музыка гимнов уже не вдохновляет поэтов. Правда, церковнославянский язык, славянщина, еще продолжает звучать в русской поэзии от Тредьяковского, Ломоносова до В. Иванова, М. Цветаевой; но как ни хороши многие счастливые стихи «славян», опыты эти еретические: им надлежит быть, но все же они на периферии. А музыкальный ключ к ритмам псалмов и гимнов — утерян и еще не найден.

Уже в конце 18 века (с эпохи Карамзина и Дмитриева) церковнославянский язык становится «жертвой шутки», его убивает смех. Словеса, телеса вовсе не «высокие» речения, а просто вульгарные (ниже русских выражений слова, тела). Славянщина оказывается семинарщиной, расхаживающей в смазных сапогах. Противен грубый семинарский смешок: Блажен муж иже — сидит к каше ближе[10]).

Православная церковь, униженная, обезглавленная Петром и его жутким церковных дел мастером Феофаном Прокоповичем, еще продолжает управляться барочным украинским духовенством (в 18 веке). Оно было более образовано, чем нахватавшееся французских словечек российское дворянство, но творческого огня у ученых монахов не было.

[10]) Все эти примеры находим в статье Г. П. Федотова о церковнославянском языке (Путь, № 56, 1938). Добавим, что теперь этот язык прежних ассоциаций не вызывает. Духовенство перестало быть сословием наследственным. Исчезли семинарии прежнего типа. Для советского гражданина церковный язык вероятно мало понятен (архаичен). Если православие в России возродится, то изменится и отношение к славянщине, которая остается нераздельной частью русского языка и прелести своей не утрачивает. См. очерк князя Н. Г. Трубецкого в его сборнике «К проблеме русского самосознания», 1927.

Жалок высмеянный И. П. Елагиным кавалер-петиметр (Жоликер), разодетый во «флеровый кафтан с гирляндами» и с ленточкой, прицепленной к эфесу шпажному. Но все же дворянство быстро двигалось вперед, просвещалось. При Анне кавалеры рукоплескали Езде на остров любви Тредьяковского (1731 г.), где он еще в силлабических стихах воспевает нагую деву, тающую-умирающую в объятиях, «не чиня ни мала зева»! Но уже при Елизавете другие кавалеры распевали приятный романс ее фаворита Н. А. Бекетова (в 50 гг.): Ты лютейшу грусть сугубишь / Сожалением своим...

Несчастный Петр III указом 1762 года освободил благородное сословие: теперь самое существование дворянства перестало оправдываться службой царской; но некоторая, лучшая часть его, по своей воле отдала себя служению «на ниве просвещения» при Елизавете, Екатерине. Пусть Екатерина, корреспондентка Вольтера, Дидерота, — хитрая лгунья, присяжная лицемерка; все же она заслуживает звания матери русской культуры... На малых выходах в Эрмитаже и в разных журнальчиках она развитию просвещения и даже оппозиции способствовала (вплоть до рокового 1789 года). Два культурных типа (иногда совпадающих) «имели хождение» в ее царствование: это просвещенец светский, вольтерьянец, и просвещенец духовный, масон. Первый — острее, занимательнее, второй — благороднее, скучнее. А огромная просветительная литература в так называемое новиковское десятилетие (1779-1789 гг.) проникала в массы, дотоле плодов просвещения лишенные, к купцам и даже к крепостным. Крестьяне-книгочии иногда собирали целые вифлиофики новиковских изданий. Масон-вельможа, граф Н. И. Панин, наставник цесаревича Павла, и Фонвизин, в своем узком кружке лелеяли планы конституционные. Князь М. И. Щербатов в утопическом Путешествии в землю офирскую упивался идеалами социализма, насаждаемого, увы, при помощи мер полицейских. По утверждению человека александровской эпохи, князя П. А. Вяземского, свободы при Екатерине было больше, чем в царствования ее внуков. В своем замечательном труде о Фонвизине он дает импрессионистический, но очень живой, проницательный обзор культурного общества екатерининской эпохи. Новый круг читателей отчасти отражает жизнь парижской республики письмен (rèpublique des lettres), но имеет и свои оригинальные черты. Вяземского увлекает размах личности в русском Осьмнадцатом веке — исполинские фигуры Орловых, Потемкиных, Румянцевых, Суворовых; они «живые выходцы из Илиады»; «стройные имена их придавали какое-то благозвучие русскому стиху...» При Александре же «жизнь измельчала» (по мнению Вяземского).

Размашистая личность в 18 веке вела себя дико, но как-то живописно (чудачества Потемкина, Суворова). Существенно же другое: эта личность в условиях абсолютной монархии (ограниченной, одна-

ко, цареубийством!) осознала свое достоинство, которого не было у дворянства в Московии (но оно было у князей и кметей, у летописцев и певцов почти легендарной Киевской Руси). Размах, удаль пленяли, восхищали, но культивировались и другие, противоположные, черты новой личности: умеренность, уравновешенность. Кантемир в стихе силлабическом утверждает: Ползать не советую, хоть спеси гнушаюсь (Сатира II, 1743 г.). Через тридцать лет Сумароков, вторя Кантемиру, то же самое рекомендует в стихе тоническом: Не ползай ни пред кем, не буди и спесив (1774 г.).

Если не в плане государственном, то в плане культурном и моральном российское дворянство (вернее — его меньшинство) свои вольности заслужило: еще в 18 веке оно наметило, определило творческое развитие русской культуры — дворянской, национальной, мировой (Пушкин, Толстой); на свободе оно начало выковывать прежде отсутствовавшее понятие личного достоинства; и оно уже вполне осознает, что привилегии в смысле этическом — сомнительны. Князь Кантемир восклицает: Адам дворян не родил... Та же и в свободных, и в холопах течет кровь... А Сумароков формулирует: Не в титле, а в действии быть должно дворянином.

При Екатерине рабство крестьянское развилось, закрепилось, но дворянство от рабской своей зависимости (в терему или во дворце) понемногу освобождается. При императрикс Анне состоял в шутах князь Голицин, но позднее это было уже невозможно.

Екатерининские любовники-исполины завоевывали новые провинции, живописно чудачили при дворе, в подмосковных своих, а кавалеры-шляхтичи на балах, вольтерьянцы в салонах, масоны в ложах, с большим или меньшим успехом, создавали новое культурное общество; поэты же «выкликали» с Запада богинь пения; явились музы, заступившие место ангелов древней Руси.

Тридцатые годы 18 века — десятилетие знаменательное в истории русской поэзии. В 1735-36 гг. выходит книга Тредьяковского Краткий и новый способ к сложению российских стихов. Это еще робкая попытка введения силлабо-тонического стихосложения. Много позднее, в 1752 году, Тредьяковский, переделав свой Способ, целиком принимает новую версификацию ненавистного своего противника Ломоносова. Ломоносовское Рассуждение о правилах российского стихотворства появляется в 1739 году, и тогда же была им написана первая ямбическая ода «На взятие Хотина».

И первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал... —

восклицает Ходасевич. Так, согнав с парнаса музу силлабическую, муза тоническая впервые запела по-русски; и — во весь голос.

Василий Тредьяковский (1703-1769), ученый семинарист, уни-

жаемый вздорной Анной и однажды избитый ее кабинет-министром Волынским — фигура жалкая. Все же почин его заслуживает уважения. Он учился не только в Московской академии, но и в Сорбонне; однако ни вкуса, ни дара у него не было. Особенно жалки его игривые стишки о певичках-синичках или о *личишке* и *глазенках* Эрота: «Это неумелые, жеманные прыжки путающегося в длинных полах семинариста или дьячка» (Бонди). Однако, стихотворство его многое предвосхищает: барочную дикую красочность Державина (пень с белью, с сребром), правильный средний стиль классиков (Всем бы в простоте святой жилось), разнообразие в гекзаметрах, восхищавших Дельвига (Корабль Одиссеев / Бегом волны деля, из очей ушел и сокрылся); забавен его «сказ раешника» (Плешницы, волочайки и скверные б . . . ., / Ах, вижу, как вы теперь ради. . .). А вот совсем «некрасовская баба» —

Накормивши деток, наряжает,
Встретить с ними мужа б своего.

Так, у Тредьяковского можно найти в *зачатке* чуть ли не все мотивы «музыки будущего» (русской поэзии 18 и 19 вв.).

Но первый счастливый любовник музы не Тредьяковский, а щедро одаренный и чрезмерно расточительный Михайло Ломоносов (1711-1765), сын «простого рыбаря»-помора (который, однако, был владельцем нескольких торговых судов).

Наконец мы слышим голос поэта:

Царей и царств земных отрада
Возлюбленная тишина.

(1747 г.)

Эти пиррихии, убыстряющие ямб — *возлюбленная тишина* (- / - - - - - /) навсегда обольстили воображение русских поэтов. Удавались Ломоносову и чистые, ударные ямбы, «сжимающие» мысль:

Звездам числа нет, бездне — дна.

Ломоносов — поэт, хотя занятие поэзией было для него делом побочным. Его большая тема: огромная, постепенно просвещающаяся империя Петра Великого; это Россия, которую он рифмует с *химия*; это страна, которая будет рождать «. . .собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов» (но поэты здесь не упоминаются!). Имперско-просвещенческий оптимизм Ломоносова увенчивается оптимистическим же деизмом в его *Рассуждениях о Божьем величестве*.

Ломоносов свое достоинство просветителя ставил высоко: «Не токмо у стола знатных господ, или у каких земных владетелей дураком быть не хочу; но ниже у самого Господа Бога, который дал мне смысл, пока разве не вынемет».

У Ломоносова, певца империи, мастера высокого штиля, были на-

следники — громкие стихотворцы Василий Петров (1736-1799) и Семен Бобров (176?-1810). Последний иногда подымается до ломоносовского пафоса:

Не юные ли полубоги
В полуночных полях растут...

Александр Сумароков (1718-1777) тоже писал оды, но ориентировался он не на империю, не на двор, а на новое дворянское общество — на кавалеров и дам, еще не вполне отесанных Европой. Он «кладет основание» литературному среднему стилю, чуждому славянщины семинаристов, Тредьяковского и Ломоносова. Настоящего дарования у суетливого, вздорного Сумарокова не было, но он не заслуживает эпитета «жалкий», которым наградил его Осип Мандельштам. Да, он пролепетал заученную роль (по Мандельштаму же), но очень существенную: из L'Art poètique Буало. Следуя ему в своих епистолах, Сумароков поучает: Коль хочешь ты писать, помысли ты сперва... Или: Коль хочешь ты писать, так прежде ты влюбись... Оба эти совета поэтам — благие! Хороши и эти: Слог песен должен быть приятен, прост и ясен, / Витийств не надобно; он сам собой прекрасен. Вообще же: ступай за Боалем... прекрасный наш язык способен ко всему... В этих скучноватых формулах поэзии нет, но все же именно добрыми пожеланиями Буало была позднее вымощена столбовая дорога российской поэзии, по которой «покатили» Богданович, Карамзин с Дмитриевым, Батюшков, Пушкин. Пусть у Сумарокова не было широкой тематики и дарований Ломоносова и Державина; именно он создает школу.

Бóльшего мастерства в среднем штиле (чем Сумароков) достиг сенатор Алексей Ржевский (1737-1804), искусный, изящный поэт мысли. В строго выверенном сонете — Где смертным обрести на свете сем блаженство, — он вопрошает:

Иль между всех когда стояло бы равéнство,
Тогда печали бы не стали дух крушить?

Это почти на уровне Боратынского...[11]).

Следуя за своим учителем Боалем (с его культом золотой середины), Сумароков остается стихотворцем; но в садике легкой поэзии — он поэт:

В ту минуту, как раждалось
Вспламенение в крови,
Мне препятства не казалось
Ни малейшего в любви.

[11]) К сожалению, о Ржевском известно очень мало; его стихи не переиздавались. Ржевский сильнее и Сумарокова, и ученого, плодовитого Михаила Хераскова (1733-1807), стихотворца очень скучного, хотя иногда мы и находим у него «счастливые стихи» (в стиле среднем).

Его тоненький жеманный тенорок был подхвачен хором голосов других влюбчивых кавалеров. Два-три поколения поэтов культивировали жанр песенок — сладострастный Николай Николаев (1758-1815), скорее сентиментальный князь Иван Нелединский-Мелецкий (1752-1828), наконец, Иван Дмитриев (см. ниже).

Из розовых кусточков легкой поэзии выпорхнула прелестная Душенька «в платьице простом и ненарядном» (1775).

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша:
По образу ль какой царицы ты одета,
Пастушкою ли где сидишь у шалаша.

Счастливая легкость этого всем памятного восклицания, сладостный шепоток *ш*, трели плавного *л* — прелести своей не потеряли. Творец Душеньки Ипполит Богданович (1743-1803), меланхолик с птичьим личиком, «поэт живой, затейливый и нежный» (Боратынский). Он и прочие поэты-пичужки утишили, унежили российскую поэзию; ведь до него царили рыкающие львы и клекочущие орлы — певцы империи. Пусть в Душеньке именно души-то маловато; она скорее соблазнительная куколка; все же ее чуть жеманный лепет услаждал и даже развивал слух Батюшкова, Боратынского, Пушкина.

Особняком стоит князь Иван Долгорукий (1764-1823), певец Каминов, селадон, сибарит; поэт неловкий, но выразительно пишущий. Этот рюрикович любил, и не без успеха, разыгрывать мужика (Гудок Ивана Горюна). Развалка некоторых его стихов напоминает Державина:

По рюмке поднесли еще нам дрей-мадеры, —
Тут новые у всех родилися химеры:
Кто в шахи захотел, кто в знатны господа,
Кто хочет миллион рублей иметь всегда,
Иной стрельнул в Мадрит с Испанцами подраться...

Николай Карамзин (1766-1826), как известно, очистил русский язык от «славянизмов» — в поэзии, в прозе художественной, но не в исторической (его История начинается со слова сия). Однако, Карамзин вместе с тем и «засорил» стиль вычурными перифразами, высмеянными Пушкиным. Поэт он был слабый, безголосый, хотя и намечает в своих стихах новые темы, например, тему уединения, которую впоследствии наполнит содержанием и оформит поэтически Боратынский. Карамзинское уединение — еще очень пустенькое, сентиментальное. Талантливее Карамзина его сподвижник Иван Дмитриев (1760-1837). Есть ладная упругость в его песенках:

Амуры, утирая
Ручонками глаза,
Уж вьются, воздыхая
Под самы небеса.

Из классического сада легкой поэзии поэты заглядывали иногда на огороды и выгоны псевдонародной поэзии. Все тем же сладким тенорком распевали хореи Нелединский-Мелецкий (Выйду ль я на реченьку), Дмитриев (Стонет сизый голубочек), позднее Дельвиг (Не осенний мелкий дождичек). Державин, сюда захаживая, подпевает (но скорее баском):

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в саду весной б ы ч к а
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка.

Все это — «рококо», в котором за невинностью зачастую скрывается похоть. Д у ш е н ь к а Богдановича — его вершина.

Псевдонародной была и поэзия певца из крепостных, Федора Слепушкина (1783-1848); голос его очень чистый:

Но урву какой часочек
От бессонницы своей,
Взяв бумажки лоскуточек
За стихи я поскорей.

В этих рифмах — ч а с о - о ч е к - л о с к у т о - о ч е к — его петушиный тенорок вдруг взвивается в жаворонковую высь.

Другие эпигоны. — Даровитым карамзинистом был казанский поэт Гаврила Каменев (1770-1803). Михаил Милонов (1792-1821) — один из последних громких поэтов 18 века в веке 19, не обессмертил ли свое скромное имя мраморным стихом:

По отзывам лиры ценят времена.

А эпигон русского рококо Владимир Панаев (1792-1856) достиг п р и я т н о г о совершенства в своих элегиях и песенках. Вот пастушка и пастух. Она —

У Амурова кумира
Молвила ему тишком,
Что уж больше не сердита,
И просила пособить
Жертвенник малютке богу
Вязью миртовой обвить.

Есть прелесть в этом ворковании...

Басни. — Дмитриева-баснописца затемнил Крылов-баснописец (1769-1844). Его басенный классицизм — малое и замкнутое в себе совершенство. Есть античная грация в русском просторечии крыловских басен; есть выверенная дикция, неслучайная эвфония и ямбическое разнообразие в известных всем стихах: А Ларчик просто открывался... Ай, Моська! Знать она сильна, / Что лает на слона... Но самый этот жанр в нашу эпоху сомнителен, ибо подчиняется здравому смыслу. Современные же лирические поэты ему не дове-

ряют. Баснописцы (в пушкинском смысле) — не глуповаты, т. е. рассудочны. Когда-то рассудочность нравилась, но вкусы меняются.

А Мельпомена, муза трагедии? Она прославляется в Евгении Онегине:

А там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
И машет мантией мишурной
Она над хладною толпой...

Но актеры-трагики в России были талантливее авторов трагедий... Все же трагический театр Владислава Озерова (1769-1816) — подобие удачи. Что-то смутно напоминающее Расина прозвучало в его Поликсене. Обреченная героиня восклицает на могиле Ахилла:

О, Греки, не стыжусь в торжественный сей час
О страсти сей вещать еще в последний раз.

В этих александрийских стихах (шестистопные ямбы) — и «протяжный вой» и «торжественная боль», восхищавшая Осипа Мандельштама:

И для меня явленье Озерóва
Последний луч трагической зари.

Однако, запоздалое славословие Мандельштама мы все-таки предпочтем всем озеровским трагедиям (хотя новая постановка их могла бы в далеком будущем обновить русский театр).

Комедии в стихах или с вкрапленными стихами (водевили) также забыты, как и александрийские трагедии 18 века. Забавны и хорошо звучат некоторые куплеты в Мельнике А. Аблесимова (1742-1783); у М. Матинского (1750-18?) завирающийся «крючкодей» (отставной регистратор) распевает à la раешник: Я крючок, / Я сучок, / Хамка, / Амка... / Я волчок... Веселее всего Трумпф Крылова. Главный герой — заезжий немецкий принц; он говорит: Мой люпит фесел шить: скакать, плясать, ресфиться, / И палькой на дворца сконяит феселиться... Его домогания дерзко отвергает дочь царя Вакулы Подщипа: О, царский сын! ты мне противней горькой редьки! / Почто, увы! не дочь конюшего я Федьки!.. Но все это только курьезно и несоизмеримо с творением Грибоедова. Василий Капнист (1757-1823), автор прославленной комедии Ябеда, с пользой осуждает взяточничество, но остроумием не блещет. Приятнее его легкая поэзия.

В подвале храмины поэзии обитали поэты-зубоскалы: Николай Львов (1751-1803), высмеивавший чухонскую речь (Дудорова Гора), Николай Осипов (1751-1799), прежде украинца Котляревского перелицевавший Энеиду. Наконец, Василий Майков (1728-1778). Его Елисей или Раздраженный Вакх задуман то-

же как пародия на Энеиду, но не Гомера, а Василия Петрова... Приключения пьяниц воспеваются в александрийских стихах, — скорее монотонных и мало остроумных: Герой купеческий ямских героев бьет / И нумерит им на задницах пашпорты, / Трещат на ямщиках рубашки там и порты... Высказывалось мнение, что зубоскалы 18 века, включая Ивана Баркова (1732-1768), автора «срамных» или «еротико-приапейских стихов», снижая стиль, будто бы демократизовали российскую поэзию. Это неверно. Высокий «штиль» снижался этажами повыше — еще в сатирах Кантемира и позднее в одах Державина, в Каминах князя Ивана Долгорукого. Так что срамники здесь не при чем.

Есть очарование в нашем Осьмнадцатом веке! И в него не раз влюблялись: Вяземский в пушкинскую эпоху, в 20 веке «Мир Искусства», Кузмин, Сологуб, Ходасевич, Д. П. Мирский... Но если исключить великого Державина, то не окажется ли, что жизнь в ту эпоху была поэтичнее ее поэзии. Больше élan, charmes в дикой, великолепной жестикуляции Потемкина или Суворова... Они не только побеждали, чудили, но были и замечательными словесниками. Словечки Суворова всем известны, но ведь и Потемкин был мастером речи («Люди — все, деньги — сор»). Прав Вяземский, утверждавший, что тогда русское общество и отдельные личности были «плечистее, громогласнее своей литтературы», еще очень «щедушной»[12]).

Наконец, Гаврила Державин (1743-1816). Он гремел на российском парнасе, когда громы метались преимущественно эпигонами. На фоне екатерининского общества — он невежда, дворянин необтесанный, по-солдатски, даже по-мужицки, грубый. Но он личность (как Потемкин, Суворов). Пусть сумароковцы, карамзинисты мостят столбовую дорогу «среднего стиля» для Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Боратынского. Державину — «наплевать». Он сам по себе. Прелестная поэзия Богдановича — это поэзия горлышка,

---

[12]) Исследователя поражает обилие в 18 веке потенций, позднее осуществленных более счастливыми словесниками. Мы их находим еще у Тредьяковского (см. выше). Вот еще два примера:

Петров:	Пушкин:
Герою Муза будь послушна...	Веленью Божию, о, муза, будь послушна.
Львов:	Боратынский:
Тебя лишь сердце разумеет...	И мнится сердцем разумею...

Здесь могло и не быть влияния, хотя и Пушкин, и Боратынский прекрасно знали поэзию 18 века. Существенно же, что позабытые поэты (Петров, Львов) уже выковывают строки, которые позднее, в измененном, лучшем виде, украсят прекраснейшие стихи их внуков или правнуков на российском парнасе.

сердчишки. А Державин поет всем своим существом — всеми органами души и тела! Иногда он берет высокие ноты:

Душа моя! гостья ты мира;
Не ты ли перната сия?

(1792)

Иногда же, насилуя грамматику и забивая рот кашей, невнятно бормочет:

И се уж, кожа, зрю, перната,
Вкруг стан обтягивает мой.

(1805)

А то, завернувшись в халат, он почесывается, зевает:

Утром, раза три в неделю
С нежной музой порезвлюсь,
Там опять пойду в постелю
И с женою обоймусь.

Что бы он ни делал, что бы ни вытворял, все полноценно: все слова, звуки, ритмы завязаны, скручены в крепкие узлы мускулов, нервов могучего, хотя и по-медвежьи косолапого стиха. У Державина — и великолепие славянщины и сочность просторечия («языка дурного общества...» — по замечанию Пушкина). У него — любые, самые неожиданные, повороты ямбов и всегда — своя интонация, свой голос — сиплый, резкий, иногда зловеще-трепетный; нельзя его не заслушаться.

Вот Державин, старый сановник, отдыхает в своей новгородской Званке, нажитой не рассчитанной ли лестью и грубостью; свою монархиню, Екатерину, он воспевал под именем Фелицы и на нее же топал ногами, и он знал, что и то, и другое государыне нравилось.

Дворовых между тем, крестьянских рой детей,
Сбирается ко мне не для какой науки:
А взять по нескольку баранок, кренделей,
Чтобы во мне не зрели буки.
Письмоводитель мой тут должен на моих
Бумагах мараных, пастух как на овечках,
Репейник вычищать. — Хоть мыслей нет больших;
Блестят и жучки в епанечках.

(1807)

Это крепостническая идиллия! Дворяне еще не каялись, а жили полной жизнью. После раздачи кренделей ребятам (которых лет через 50 будет просвещать яснополянский мудрец), после знаменитого прославления багряной ветчины, щуки с голубым пером — осеннее, дребезжащее memento mori:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не воспомянется нигде и имя Званки;

Но сов, сычей из дупл огнезеленый взгляд,
И разве дым сверкнет с землянки.

В Званке — мощь ямбов, мощь языка. У Державина-поэта мышцы обреченных исполинов древности, Геркулеса, Самсона. Все — неповоротливо, косолапо и царственно-свободно. Все — сильно и смертно... Пора, давно пора признать великого Державина единственным соперником Пушкина.

Со смерти жизнелюбец Державин начал, еще в 1779 году, сразу наперед — все определив ясно, точно: Где стол был яств, там гроб стоит. И со смертью прожил он всю свою жизнь. И ею же он кончает в памятных всем, последних стихах своих (Река времен). С каким-то остервенелым упоением и зловещим восторгом выкликает старик: да, в пропасти забвенья потонут народы, царства, цари, а звуки лиры и трубы пожрет жерло вечности. Здесь, конечно, нет никакой декадентской влюбленности в конец. Но есть завороженность. Не была ли для него смерть органической частью его «живой жизни»? Жутью, стимулирующей гастрономию и поэзию! Державин любил яства, блага мира. Но всего напряженнее жил он и пел, — ужасаясь, вздыхая в полубреду вдохновения. Слава ему, певцу империи, жизни и смерти!

Запоздалое барокко Державина восхищало Гоголя: «дико, громадно все! все у него крупно» (Выбранные места, 1847). А Пушкин писал Дельвигу (1824): «Чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка», стихи его «перевод с какого-то чудного подлинника». В данном случае не поверим Пушкину, его прозорливости, его вкусу, его русско-европейской культуре! Державин на русский лад ломал немецкую ли, латинскую грамматику Ломоносова или греческую грамматику церковнославянского языка Смотрицкого: в этом его оригинальность, подлинность. Державин из той же породы матерых медведей, что и неистовый Аввакум, что и правдолюбец Толстой. Кости у русского языка трещат под их медвежьими лапами, но как в бане, на полке; и вот, вывалявшись еще в обжигающем снегу, он, этот дикий русский язык — несмертельный голован, волшебный ванька-встанька, расправляет измученное, могучее тело и, полной грудью дыша счастьем жизни и смерти, вякает по-аввакумовски, рявкает, гудит по-державински, поет, звенит по-пушкински, лепит великолепные периоды Гоголя или же ищет выхода из дремучего леса причастий Толстого. Русской речи чуждо законченное совершенство французского способа выражения, но есть ли какой другой язык — его свободнее, выразительнее? Однако, после гимнов ему Ломоносова, Гоголя, язык русский в похвале не нуждается! Иное — поэзия, особенно допушкинская, полузабытая...

Ломая шею и бока школьным грамматикам и пособиям, русский

язык закона или законов, вольно избранных, не отрицает. Законы эти — разные — или эллинизированный строй церковнославянской гимнологии, или германская тоника, которую Державин ломал, но все-таки не сломал. Перечитывая державинские стихи, читатель часто улыбается, как и Пушкин! Но и последний иногда отдавал должное старику. Эпиграфом к своей Осени (1833) он поставил этот вот вздыхающий стих Державина:

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум...

Вздыхают и эти его стихи:

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной...

Батюшков понимал Державина лучше Пушкина. Для себя лично он ничего из поэтического хозяйства старика не взял. Его плавная элегия — антитезис громыхающей оде Державина. Но державинским Водопадом, описанием потемкинского праздника, Батюшков восхищался, доходя до исступления, даже впадая в бред.

Стилистику Державина пытался канонизировать адмирал А. С. Шишков (1758-1828) в своем замечательном Рассуждении о старом и новом слоге (1803). Этот «славянороссс» поучает: нужно «уметь высокий Славянский слог с просторечивым Российским так искусно смешивать, чтобы высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого». На самом же деле у Державина, и у его «ученицы» в 20 веке, Марины Цветаевой, оба эти слога вовсе не «приятно обнимаются», а борются, даже грызутся между собой, и шумная их драка русскому языку на пользу. «Приятные» же объятия этих слогов скорее характерны для Осипа Мандельштама. Интонации державинского голоса, его высокие ноты — слышатся у Тютчева, а низкие (рявканье, рычанье) у Маяковского. Есть «нечто» от Державина и в поэме Мертвые души (смешение высокого и низкого стилей).

Итак, барочная державинская стилистика продолжает привлекать поэтов. Яркая дисгармония Державина чрезвычайно выразительна. Но и гармония привлекала русских певцов и поэтов. Есть согласованность в гимническом житии Бориса и Глеба. Есть соразмерность в поэзии Батюшкова, Пушкина, Дельвига. А русский язык у себя дома и в гармонии, и в дисгармонии.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

О ГОГОЛЕ

«Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом». Это сказал Толстой. В какой-то степени это напоминает очень короткий и беспощадный диагноз или, если угодно, приговор. Но эти слова Толстого, эта его фраза лаконична, как видите, и похожа на алгебраическую формулу, которую следует раскрыть, чтобы понять до конца трагический смысл этого определения. И всякая попытка понять, что же, в конце концов, представлял собой этот удивительный и действительно ни на кого непохожий писатель, убеждает нас в том, что мы оказываемся перед почти неразрешимой задачей.

Первое, что мне хотелось бы сразу же отметить, это необходимость отказаться от тех ложных и необъяснимо наивных представлений о Гоголе, которые обычно фигурируют в учебниках литературы, где о Гоголе говорится, что он писатель-реалист, изображавший быт и действительность в России первой половины 19-го столетия, что он родоначальник натуралистической школы, что в «Мертвых душах» впервые представлена подлинная картина помещичьей жизни и так далее. В биографическом очерке Владимира Шенрока, который оказался у меня под рукой и который написан с детской беспомощностью, так и сказано, что Гоголь положил начало реальному направлению, господствующему доныне в русской литературе. Гоголь назван отцом натуральной школы и родоначальником все того же злополучного реального направления. Вообще говоря, сказать, что те или иные писатели представляют реальное направление в литературе или романтическую школу или одну из школ или одно из направлений, можно с известной натяжкой только о писателях второстепенных.

Нет ничего более спорного, чем утверждение о существовании «школ» в литературе. Спорность понятия «школа» в применении к литературе становится особенно очевидной, если мы поставим вопрос — к какой школе можно отнести Шекспира или Сервантеса, Толстого или Бальзака, Достоевского или Пруста? Как можно при-

менить к неповторимому гению Гоголя какие-то понятия о школе или направлении? Гоголь — это, я думаю, истина неоспоримая — писал так, как не писал никто до него и как не писал никто после него. Это не помешало Белинскому сказать, что, в сущности, неповторимость Гоголя заключалась в том, что он будто бы воспроизводил действительность. Не стоит, однако, мне кажется, упрекать Белинского в этой явной аберрации: над большинством русских критиков и критиков литературы тяготеет какой-то рок. Они написали множество трудов, но достаточно взять любую — или почти любую — книгу по истории русской литературы, чтобы убедиться в том, что ее автор чаще всего — просто плохо разбирается в том, что он читает.

Легенда о Гоголе, как представителе реалистического направления в литературе, продолжает существовать до сегодняшнего дня, и нет оснований думать, что в дальнейшем это изменится. Вместе с тем для самого неискушенного читателя, который знает творчество Гоголя, совершенно очевидно, что автор «Портрета» или рассказа «Нос» никак не может быть причислен к реалистам. Чтобы покончить с этим недоразумением, отметим еще одну, совершенно азбучную истину: ни один настоящий писатель никогда не воспроизводил действительности. Каждый писатель с о з д а е т свой собственный мир, а не воспроизводит действительность, и вне этого подлинного творчества литература, настоящая литература, не существует. Читая Достоевского, Толстой морщился и говорил: «Не говорят так люди, не действуют так люди». Действительно, что может, казалось бы, звучать более фальшиво, чем знаменитые слова: «Не тебе кланяюсь, страданию человеческому кланяюсь». Но чудо заключается в том, что в мире, который создал Достоевский, эти слова звучат убедительно и не кажутся фальшивыми. У Гоголя тоже, в том мире, который был создан его чудовищным воображением, есть необыкновенная убедительность.

Но этот мир Гоголя — действительно страшный мир. Все творчество Гоголя — это какой-то бред, принимающий разные формы, начиная от «Пропавшей грамоты» и «Вия» и кончая «Мертвыми душами», «Ревизором», «Записками сумасшедшего», «Носом» и книгой «Выбранные места из переписки с друзьями».

> «Он увидел вдруг такое множество отвратительных крыл, ног и членов, каких не в силах был бы разобрать обхваченный ужасом наблюдатель. Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног;

вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, летали и ползали в разных направлениях; одно состояло из головы, другое из отвратительного крыла, летающего с каким-то нестерпимым шипением».

И дальше:

«Почти насупротив его стояло высокое, которого черный скелет выдвинулся на поверхность и сквозь темные ребра его мелькало желтое тело. В стороне стояло тонкое и длинное как палка, состоявшее из одних только глаз с ресницами. Далее занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло в перепутанных волосах, как будто в лесу. Сквозь сеть волос этих глядели два ужасных глаза. Со страхом глянул он вверх: над ним держалось в воздухе что-то вроде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками».

Это цитаты из «Вия», написанного в 1833-34 году; Гоголю было 25 лет в это время. В том же сборнике «Миргород» напечатана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там есть описание экипажей, съехавшихся на двор городничего, который давал ассамблею:

«Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком, другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое».

В этой же повести бурая свинья входит в суд и съедает жалобу Ивана Никифоровича на Ивана Ивановича. Все это, конечно, совершенно неправдоподобно. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — произведение юмористическое. Но юмор этот чрезвычайно тревожный. В конце концов «Нос» тоже рассказ, в сущности, юмористический. Но то, что сам Гоголь назы-

вал «Видным миру смехом и незримыми неведомыми ему слезами», нам представляется скорее, как смех сквозь странный бред, похожий на начало безумия.

Я не говорю сейчас о чисто литературном гении Гоголя, его несравненном изобразительном даре, его словесном великолепии и том неудержимом и безошибочном ритме повествования, какого нет ни у одного из наших классиков. «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» по сравнению с «Мертвыми душами» кажутся ученическими сочинениями. Тому, как писал Гоголь, можно посвятить обстоятельное и подробное исследование, но и оно, в конечном счете, не объяснило бы нам, вероятно, самого существенного. Но стоит быть может остановиться на некоторых других вопросах, на некоторых противоречиях в творчестве Гоголя. Возьмем «Мертвые души». Сам Гоголь говорил о том, что у него никогда не было воображения и чтобы создать тот или иной тип, он должен был отправляться от кого-то, кого он знал. Не следует, конечно, это понимать слишком буквально. Те, кого видел и знал Гоголь, пройдя через его творческую переплавку, конечно, изменялись настолько, что от оригинала оставалась, быть может, одна черта. Но все-таки, той областью, из которой начинался бред Гоголя, было то, что он знал и видел. Откуда же взяты титанические и беспощадные карикатуры «Мертвых душ»?

Биография Гоголя в этом смысле показательна: того помещичьего быта, который описан в «Мертвых душах», Гоголь не знал. 19-летним юношей он уехал в Петербург, где началась его литературная жизнь. Потом были — Москва, Рим, Париж, Флоренция, Неаполь, Германия, общество писателей, сановных людей, — все, что угодно, но никак не помещичья Россия. Откуда же появилась Коробочка, откуда появились Ноздрев, Собакевич, Манилов? Сам Гоголь дает на это косвенный ответ, говоря, что взял своих героев из того быта, который знал — «только, — как он пишет, — в разжалованном виде из генерала в солдаты». Каким же видел Гоголь тот мир, который он описывал? В каждом из героев «Мертвых душ» — мы говорим пока о первой части поэмы — есть нечто, что его разъедает, как рак: глупость, подлость, ничтожество. Ни одной подлинно человечной черты — ни у героев, ни у автора, который их описывает: трудно найти что-либо более беспощадное, чем отношение Гоголя к своим героям, трудно найти такое ледяное презрение к людям, как у Гоголя.

По замыслу Гоголя, как известно, в первой части «Мертвых душ» должны были найти отражение отрицательные черты русского общества. Вторая часть должна была прозвучать, как торжественная симфония, в которой нашли бы отражение самые героические и благородные черты русского народа и русского государ-

ства. Первый том «Мертвых душ» — одно из самых замечательных произведений в мировой литературе. Но второго тома Гоголь не мог написать. Когда он захотел изобразить людей, которых можно было бы поставить всем в пример по их благородству и высоким нравственным качествам, то он описал читателям откупщика Муразова, состояние которого исчислялось десятками миллионов, и кулака Костанжогло. На большее у Гоголя вдохновения не нашлось.

Трудно себе представить, впрочем, что это могло быть иначе. Какая-то часть мира — область положительных понятий, выражаясь очень приблизительно — была для Гоголя наглухо закрыта. Но в силу явной аберрации Гоголь считал, что его призвание состоит именно в том, чтобы представить России именно эту положительную часть мира. Все его творчество, казалось бы, доказывает, что это никак не могло быть его задачей, но вопреки очевидной невозможности ее выполнить, он всю жизнь стремился к этому. Возьмем его героев: майор Ковалев изображен со свирепой гоголевской убедительностью совершенным идиотом. Иван Федорович Шпонька — то же самое. Даже старосветские помещики, — что может быть более убогим, более, так сказать, душевно-нищим, чем их существование? Врун и дурак Хлестаков, взяточник городничий, взяточники чиновники, наконец, бедный Акакий Акакиевич, тоже описанный с необыкновенной жестокостью, — вот то, что изображал Гоголь, вот тот мир, который он видел.

Откуда же в этом мире могла бы вдруг прозвучать та торжественная симфония, которая должна была заключаться во второй части «Мертвых душ»? Можно было бы, конечно, сказать, что в Гоголе надо различать несколько начал: его литературный гений, его личность — Гоголь, как человек, — и, наконец, его призвание быть учителем и наставником. Но такое разделение носило бы, мне кажется, искусственный характер. В Гоголе непостижимым образом уживались одновременно все эти противоречивые начала. Гоголь не мог не понимать, что он обладает литературным гением. Когда Анненков, которому Гоголь диктовал шестую главу «Мертвых душ», сказал, — «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью», — Гоголь ответил: «Поверьте, что и другие не хуже ее». Но тот же Гоголь, рассуждая о «Мертвых душах», пишет: «Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое — душа и прочное дело жизни». В предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголь говорит: «Мне хотелось хоть сим искупить бесполезность всего мною напечатанного, потому что в письмах моих... находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях».

Эта идея пользы — вернее, работы на пользу родине, — никогда не покидала Гоголя. Надо, однако, сказать, что его представления

о том, как именно и в какой области он может принести пользу родине, совершенно не соответствовали действительности. Достаточно вспомнить о его профессорской деятельности в Петербурге, где он короткое время занимал кафедру истории. Матери своей он написал об этом письмо, извещая ее, что занять эту кафедру ему поручила императрица. Это даже не ложь: это все тот же гоголевский бред. О том, как Гоголь преподавал историю, прекрасно рассказано в воспоминаниях Тургенева. Тургенев пишет:

> «Я был одним из его слушателей в 1835-ом году, когда он преподавал историю в Санктпетербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, — он не говорил, а шептал что-то несвязное, показывая нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран — и все время ужасно конфузился. Мы были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам, как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал за него студентов профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: 'Непризнанным взошел я на кафедру — и непризнанным схожу с нее!' Он был рожден для того, чтобы быть наставником своих современников, но только не с кафедры».

«Быть наставником своих современников». Тургенев понимал это, конечно, в другом смысле, чем сам Гоголь. Но у Гоголя это стремление быть наставником приняло ту чудовищно-фантастическую форму, которая заставила его выпустить книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголевская мания величия, носившая вначале, так сказать, литературную форму, проскальзывает, в частности, уже в первой части «Мертвых душ», в шестой главе, той самой, которую Анненков назвал гениальной вещью. Гоголь — в лирическом отступлении — пишет:

> «Русь, чего же ты хочешь от меня? Что глядишь ты так и все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»

Это чем-то все-таки напоминает — страшно сказать — Поприщина. «В Испании есть король. Он отыскался. Этот король — я». В самом деле, как можно было думать, что «все, что ни есть в Рос-

сии», устремило свои взоры на Гоголя, ожидая от него чего-то вроде нагорной проповеди? «Все, что ни есть» — то есть немногочисленная русская интеллигенция того времени — потому что ни о народе, не знавшем грамоты, ни о государственных чиновниках, большинство которых не слышало имени Гоголя, говорить, конечно, не приходится. Но это было написано в 1841 году. А через пять лет после этого, в декабре 1846 года, была напечатана книга «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот где вспоминается определение Толстого — «Гоголь был человеком с большим талантом, но с узким и темным умом». И все-таки даже это не может объяснить, как Гоголь мог написать такую книгу. Действительно непонятно, почему Гоголь мог считать, в силу какого необъяснимого недоразумения, какой чудовищной ошибки, что он может давать советы всем — помещику, губернаторше, поэтам, вообще кому угодно.

Гоголь, никогда не занимавшийся хозяйством, не имевший об этом никакого понятия, советует помещику объяснить крестьянам, что он родился помещиком и поэтому крестьяне должны ему повиноваться, что не для денег он это делает — «и в доказательство — пишет Гоголь — тут же сожги перед ним ассигнацию». Все это следует подкрепить чтением соответствующих мест в Писании. Плохие крестьяне должны снимать шапки, встречая хороших крестьян. «И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро». Грамоте крестьян учить не надо, а надо им объяснять, что всякая власть от Бога. И пусть священник им читает Златоуста. И это пишет автор «Мертвых душ» и «Ревизора»! Или заглавие одного из писем: «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России». «Произносите в себе и поутру и в полдень и ввечеру и во все часы дня: 'Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!' и действуйте в продолжение целого года так, как я Вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это». «Разделите ваши деньги на семь равных куч. В первой куче. . . » и так далее. «Крепитесь, молитесь, просите Бога. . .»

Гоголь никогда не был женат и вообще не знал женщин. Что касается финансовых дел, то трудно представить себе в этом смысле более беспомощного человека: его биограф, Шенрок, пишет, что Гоголь, неоднократно обращаясь к правительственной помощи, в просьбах о пособии «всегда указывал с одной стороны на свое горячее желание принести своими сочинениями посильную помощь родине, с другой на то, что он не состоит на службе и не имеет никаких определенных средств к жизни». В 1838 году Николай I отдал распоряжение послать Гоголю в Рим 5000 рублей. В 1845 году, — пишет тот же Шенрок — «Дружным содействием Жуковского, Смирновой и Плетнева Гоголю было исходатайствовано у Государя

на три года пособие по тысяче рублей». И этот человек дает советы помещику, как сделать так, чтобы его мужики гребли деньги лопатой, а жене «в простом домашнем быту», как распределить деньги.

Другой совет — не надо помогать деньгами погорельцу, если ему при этом не делается поучения, как он должен жить. Совет губернаторше: объехать всех чиновников и задать каждому три вопроса. «Первый вопрос: в чем его должность? Предмет и пределы. Второй вопрос: чем именно и сколько в этой должности можно сделать добра? Третий вопрос: сколько можно сделать зла?» И главный совет: «Попросите вашего супруга прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского правления были честные люди». Что это такое? Бред? Записки сумасшедшего? Но даже в том письме, где говорится, например, о лиризме русских поэтов, Гоголь с восторгом отмечает в этом лиризме одну черту: любовь к царю. Не к тому или другому государю, а к царю вообще. Тому самому царю, который, по словам Гоголя, «сам должен умилиться перед святостью звания своего».

В письме к Языкову по поводу Одиссеи в переводе Жуковского — что-то совсем удивительное: «Участь Одиссеи странна: в Европе ее не оценили». «Виной этого отчасти недостаток перевода, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы... красоты эллинской речи, отчасти недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера». «Теперь перевод... производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков». И дальше: «Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Нет, народ наш скорее почешет у себя в затылке...» и так далее. В этом непостижимом тексте все неверно с начала до конца. Откуда это фантастическое утверждение, что Одиссею будто бы не оценили в Европе? «Недостаток языка, на который ее можно было бы перевести», — а английский, французский, немецкий, испанский, итальянский? Это что — примитивные наречия примитивных народов? Жуковский, к тому же, греческого языка не знал и переводил Одиссею с немецкого. Наконец — «народ, который почешет у себя в затылке» — ясно, что речь идет о простых людях — и не соблазнится многобожием — какой это народ будет читать Одиссею в каком бы то ни было переводе, в то время, как этот народ грамоты не знает, да к тому же, в письме к помещику, сам Гоголь пишет, что учить мужика грамоте незачем.

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, — что Вы делаете? Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездной». Это строки из знаменитого письма Белинского Гоголю, написанного в Зальцбрунне 15 июля 1847 года. Бурное негодование Белинского

вполне понятно. Но теперь, больше чем через сто лет с того времени, когда было написано это письмо, мы судим о Гоголе, конечно, не с теми чувствами, какие мы могли бы разделить, если бы были современниками Белинского. Теперь это не действительность, а далекая история. И «Выбранные места из переписки с друзьями» нам кажутся показательными не потому, что в них выражены политические взгляды, которые Белинский назвал мракобесием и обскурантизмом, а оттого, что в них, в силу своеобразного возмездия, происходит что-то одновременно парадоксальное и страшное: рукой Гоголя в этой книге точно водят созданные им герои, и прежде всего Манилов, Хлестаков и Поприщин. Потому что, если Гоголь считал, что он может давать советы помещику и губернаторше, то почему, собственно, Хлестаков не мог управлять департаментом, и если Гоголь считал, что вся Россия смотрит на него и ждет от него указаний на то, как ей следует жить, то почему собственно Поприщин не мог себя считать Фердинандом Восьмым, на которого смотрит вся Испания?

Жизнь Гоголя по-настоящему начинается с того дня, когда он — ему было девятнадцать лет — покинул свою родную Малороссию и приехал в Петербург. Там началась его литературная деятельность и возникли его знакомства с теми, кого он впоследствии разжаловал, по его собственным словам, из генералов в солдаты, превратил в Коробочку, Манилова, Плюшкина, Ноздрева, Собакевича и Шпоньку. Что же собой представлял — как человек — писатель Николай Васильевич Гоголь? Белинский в сердцах сказал про него, что он всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сатану. У меня нет, к сожалению, под рукой очень многих показаний современников Гоголя, людей, которые его хорошо знали лично. Те, которые мне удалось прочесть, в большинстве случаев неинтересны, так как написаны как-то невыразительно: там говорится о незначительных вещах, и основывать на этих бледных высказываниях какое бы то ни было суждение нельзя. Но есть воспоминания о Гоголе Аксакова и Анненкова, и в этих воспоминаниях есть некоторые замечания, которые дают о Гоголе известное представление. Аксаков писал:

> «Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому нравился бы Гоголь и кто ценил бы его вполне».

Знакомым и близким Гоголя его поведение часто казалось непонятным — как, например, его первый судорожный отъезд за границу, когда он из Петербурга уехал вдруг в Любек, откуда очень скоро вернулся. В письме к своей матери он объяснил необходимость своего отъезда тем, что будто бы встретил какую-то замечательную женщину и, в ужасе от охвативших его чувств, должен был бежать из России. Но этой женщины в действительности никогда не суще-

ствовало. Это был такой же бред, как то, что императрица поручила Гоголю занять кафедру профессора истории в Петербургском университете.

Чаще всего своего поведения, причин тех или иных своих поступков, он не считал нужным объяснять вообще. В лучшем случае он ограничивался утверждениями, которые считал лишним как бы то ни было обосновывать. «Путешествие и перемена мест мне так же необходимы, как насущный хлеб». Даже обращаясь к Николаю Первому с просьбой о денежной помощи, он считал, что его аргументация в данном случае неопровержима и уж во всяком случае достаточна: он стремится принести пользу родине своими сочинениями и, кроме того, не состоя на службе, не имеет постоянных источников дохода. Жил он в то время в Риме, где намерен был оставаться еще несколько лет. Если перенести это в область нормальных понятий, то недостаточность подобных доводов становится совершенно очевидной: желание принести пользу родине есть вещь похвальная, но каких бы то ни было ставок для оплаты этого желания не существует; то, что Гоголь не состоял на службе, происходило потому, что он не хотел служить — и опять-таки за то, что человек не служит, ему государство не обязано платить. И, наконец, если бы все то же самое государство считало себя обязанным платить тем, у кого нет постоянных источников дохода, то ему пришлось бы совершенно перестроить весь свой бюджет. Но надо полагать, что Гоголь был действительно убежден в логической непогрешимости своих доводов, когда писал прошение о пособии. Анненкову Гоголь говорил вполне серьезно, что по своей природе он устроен иначе, чем другие люди: у него извращенный, как он выражался, желудок, кроме того, у него не бывает испарины. В марте 1841 года Гоголь пишет Аксакову: «Меня теперь нужно беречь и лелеять». Он сравнивает себя с вазой, в которой заключено сокровище и которую поэтому нужно беречь.

Все в Гоголе противоречиво. Он был настолько не похож на других людей, что его действительно никто не понимал до конца, — ни те, кого он называл друзьями, ни даже его близкие, его семья. За границей — и только за границей, по его словам, — он мог думать о России. А когда он приезжал в Россию, его тотчас же тянуло обратно, за границу. Кажется, единственный город, в котором он мог жить, это был Рим. Он умер 43-х лет. Литературную деятельность он начал 20-ти лет, стало быть она продолжалась 23 года, из которых 18 он провел вне России. В общем, всю свою жизнь он точно пытался уйти и уехать от самого себя. Он очень заботился о своем здоровьи и очень боялся болезней. Но потом он писал, что человеку необходимы тяжкие недуги, что только тогда он начинает понимать то, чего без них не мог бы понять. Он боялся, впрочем, не только не-

дугов. Ощущение постоянного ужаса было для него особенно характерно. По словам Смирновой, его пугала гроза. Анненков рассказывает, что Гоголь боялся лечь в кровать и проводил ночь, дремля в кресле, а утром разбрасывал постель, чтобы горничная думала, что он в ней спал. Самые поразительные слова о Гоголе сказал Аксаков. Он пишет:

> «Гоголь для меня был так мало похож на живого человека, что я, который боюсь мертвецов и не мог их видеть без ужаса, — я ничего подобного не испытал, когда увидел труп Гоголя».

Последние годы своей жизни Гоголь провел в состоянии, которое можно было бы назвать религиозным исступлением. Оно носило явно болезненный характер, и очень вероятно, что именно оно свело его в могилу. Этот человек и жил не так, как другие, и умер не так, как другие. Все в нем странно, необычно и необъяснимо; его личная жизнь, его литературное творчество, его мания величия, его постоянные утверждения, что он стремится сделать добро людям и его ледяное презрение к этим людям. Вспомните в «Мертвых душах» описание смерти прокурора:

> «Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер. Параличем ли его или чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: 'Ах, Боже мой!' послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Только тогда с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он, по скромности своей, никогда ее не показывал. А между тем, появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников со своими густыми бровями и мигающими глазами, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил, — об этом один Бог ведает».

Не менее выразительно то короткое надгробное слово, которое над прокурором произносит Чичиков:

> «Он вздохнул, произнесши от души: 'Вот, прокурор! жил-жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если ра-

зобрать хорошенько дело, так на проверку у тебя всего только и было, что густые брови'.»

А описание — сделанное, казалось бы, в самых положительных тонах — времяпрепровождения Ивана Федоровича Шпоньки? . .

«Когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он сидел на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели...» «Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан. вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено; снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».

Есть в этом, на первый взгляд благодушном описании, что-то беспощадно-издевательское, какое-то почти жуткое отсутствие сколько-нибудь человеческого отношения к герою. А рассуждения Чичикова над списком купленных крестьян?

«Мастер ли ты был или просто мужик и какой смертью тебя прибрало? В кабаке ли или середи дороги переехал тебя, сонного, неуклюжий обоз? — Пробка Степан, плотник, трезвости примерной... где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся о-земь и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, примолвил: 'Эх, Ваня, угораздило тебя!' а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место». «Григорий доезжай не доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или может быть и сам, лежа на полатях. думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом в прорубь и поминай как звали? Эх, русский народец! Не любит умирать своею смертью!»

Это написано с таким гениальным литературным искусством, что нужно сделать усилие внимания — и только тогда замечаешь, что, стоя рядом с разбившимся насмерть Степаном Пробкой, дядя Ми-

хей говорит: «Эх, Ваня», — вместо того, чтобы сказать — «Эх, Степан!» Вот он, тот русский народ, который описывал в своих рассуждениях Павел Иванович Чичиков и в котором чудовищная фантазия Гоголя увидела читателя Одиссеи в переводе Жуковского.

Какая жуткая жизнь была у автора «Мертвых душ»! Ни жены, ни детей, ни собственного очага, ни дома, ни друзей, ни привязанности, ни пристанища, ни любви, ни даже России, из которой его все время тянуло в чужие земли; скитания, унижения, непонятый им самим литературный гений, презрение к тем, кого он хотел любить и кому, по его словам, он стремился принести пользу, безнадежное одиночество, бедность и мания величия и смертельный религиозный бред. И кроме того, конечно, страшный, нечеловеческий мир, который создало его чудовищное, распаленное воображение, похожий на видение того раскаленного ада, в котором сгорел Гоголь, оставив нам в наследство то, что было создано его неповторимым литературным гением, и неразрешимую загадку его кратковременного пребывания на земле, и его смерти, — столь же непостижимой, как его жизнь.

Я. БЕРГЕР

Написанное и недосказанное

К СТОЛЕТИЮ ЧЕХОВА

В творчестве и личности Чехова поневоле ищешь прежде всего то, что составляет его новизну и своеобразие, его секрет глубокой индивидуальности в большой русской литературе. Достоевский, Толстой, Тургенев были людьми и писателями законченного, абсолютного мировоззрения, определенной моральной, нравственной концепции, хотя, конечно, форма и содержание этой концепции могли и должны были претерпевать в их жизни, с течением времени, те или иные изменения.

Трудность категорической социальной трактовки Чехова — в отсутствии у него этого ощутимого стержня, расплывчатость или, точнее, мнимость и аберрация взглядов на людей и эпоху, на зло и добро. И может быть, как раз в этом — его свежесть и новизна, его творчески-индивидуальная манера. В этом, может быть, секрет необычайной близости и современности Чехова, его видимой адекватности нынешнему, в частности, западному искусству. Вместе с тем, в этом нарочито подчеркнутом безразличии к установленным или установившимся взглядам, в естественной эклектичности взглядов, в великом многообразии чеховских возможностей, одним словом, в его полной внутренней свободе — источник возможности «модернизации» Чехова и приспособления его к потребностям советского социализма.

«Через двести лет земля будет цветущим садом!» — восклицают на сцене чеховские интеллигенты, по существу не только ничего как следует не видящие и ни к чему не приспособленные, но может быть даже и брезгливо безразличные к непосредственно их окружающему. Вот эту иронически мягкую, трогательную, светло-розовую, по-чеховски безнадежную краску вечернего заката, — ее-то

и приходится грубыми пальцами размазывать нынешним идеологам, слепым или жестоким, во всяком случае, утратившим вкус к поэзии. Чтобы изобразить Чехова не только вольнодумцем и обличителем, но даже и бунтарем, «несознательным» социалистом-анархистом по типу, может быть, Бакунина или Чернышевского.

Продолжать в этом духе трудно. Времена меняются, а с ними меняется и предисловие к Чехову. Один из талантливых советских писателей в связи со 100-летием со дня рождения Чехова с какой-то удивительной непосредственностью и с откровенным удивлением заметил, что Чехов, вопреки всему, что принято говорить, предстает перед ним, как убежденный эпикуреец, завзятый женолюб, как чувственная и восторженная натура. А классический «социалистический» Чехов, по словам этого писателя, был аскетичным суровым пророком, неустанно, в поте лица, бичевавшим язвы капиталистического общества конца 19-го и начала 20-го века. И заодно свою собственную плоть, ради будущего, после 1917 года, социального прогресса.

Если пытаться как-то «классифицировать» Чехова, то, может быть, его скорее следовало бы назвать интеллектуалом-западником первой половины 20-го века, своим появлением как бы преградившим широкий и мощный поток русской литературы, с ее социально-христианской направленностью. С Чеховым, на арене большого искусства, появилась новая, динамически собранная, кинематографическая форма отражения жизненных контрастов и взглядов. Форма, которая в конце концов опирается не на идею, заключенную в материале, а на видимое впечатление от самого этого материала, т. е. в конечном счете на очень широко понятую красоту всего жизненного спектра.

Осенняя грусть и яркое молодое счастье, немыслимая косность и суматошная людская разбросанность — у Чехова это не закономерность и не следствие внутренних или каких-то (скажем, социально) интерпретированных процессов. Это просто — разговор от души к душе, в чем бы он, этот разговор, не выражался: в оттенках или полутонах, в необъяснимой странности человеческих характеров или в неожиданных нюансах бытового пейзажа.

С Чеховым русская литература все настойчивее обращается к самой этой игре нюансов на странице книги, — а по существу к тому спутанному и случайному, и к тому все же прекрасному в своем видимом хаосе, чем становилась сама жизнь в глазах людей 20-го века. Тонкая подчеркнутость ритма (может быть, только ритма), рисунок до предела отточенным карандашом на фоне колеблющегося, угасающего полусвета, — это тот Чехов, который вошел в мир искусства вместе с Монэ и Ренуаром, французами, подарившими ис-

кусству неповторимые краски, — краски, которыми светится человеческая грусть, его сердце.

И хотя на родине Чехова принято теперь говорить, что Чехов как-то и что-то отрицал, или даже противостоял окружавшей его действительности, вернее было скорее обратное. Чехов любил эту действительность, как может любить один художник, человек, глубоко чувствующий ее краски, ее контрасты, ее фон и ее перспективу, воспринимающий всем существом своим и безбрежное море молодого счастья, и спокойную иронию смерти.

Смерть в хмурый осенний день одинокого человека в калошах или похороны мелкого начальника, по ошибке принятого за другого, такого же, как и он... Вот на таком зыбком дождливом фоне — временами, как недолгая радуга, возникали мечты добрых и беспомощных людей о счастье, о будущем разумном и красивом устройстве. Возникали, как глубокая ирония и контраст, как утверждение факта жизни и ее единственного исхода.

И все-таки порой кажется, что еще более чеховское — это его молодые, светло и совершенно безмятежно голубые, как первый сентябрьский день, «дачные» миниатюры. В них как бы ощущаешь просторное и свежее дыхание начала осени. Веранда с плетеным креслом и тинистое, зеленоватое, неподвижное озеро за оградой сада. Людям, кажется, пора уезжать с этой деревянной дачи, и потому они особенно ко всему прислушиваются. А много видевший, и от этого, может быть, несколько насмешливый хозяин рассказывает мягким вкрадчивым голосом о милых дачных происшествиях, о соседних барышнях и о местных чудаках-рыболовах. О чем бы он ни рассказывал, — все приобретает какую-то особую прелесть от самого его голоса, оттого, что на задумчивом озере — вечерний закат, и потому, что все-таки в этих самых ничтожных по виду и смешных происшествиях — неповторимая прелесть временного дачного сезона, — той жизни, от которой вот-вот придется отказаться.

К слову сказать: то, что совершенно невозможно — это чему-нибудь научиться у Чехова. Невозможно потому, что для этого нужна и старая дача, и компания, где хорошее слово любят ради него самого, где и не требуют от жизни, да еще насильственно, ничего такого, чего в ней нет, — ее только любят, эту жизнь, ради нее самой, и умеют любить...

«Как-будто умный человек пришел и сказал людям: Скучно вы живете!..» — написал как-то о нем Горький. И действительно, Чехов это сказал. Но вышло так, что он не только сказал тогда, но и потом, в куда более безотрадные и более скудные времена, помогал людям несколько приподняться, посмеяться над этой скукой. И ощутить утешение и новые надежды.

ГОЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Только что пронеслась над страной буря революции, страшный ураган, камня на камне не оставивший, кажется, от цивилизации. И в пустынно-грустный осенний день пришел на Петроградскую сторону молодой газетный репортер. Один в обнищавшей, разграбленной, а некогда блистательной столице Империи.

В воротах запущенных дворов свистел ветер. С жалобным завыванием, порывами из подворотен. И, боязливо озираясь, с истощенными, вытянувшимися от голодного изумления лицами, за пришедшим выстраивались в колеблющиеся вереницы, в ожидании чего-то, люди новой эпохи, оставшиеся в опустелом городе для созидания будущих устоев: советского быта и социалистических традиций.

Миновала уже и та эпоха. Многое с тех пор передумано и написано о делах тех дней, когда навеки рухнуло старое здание России. Но никому другому не довелось, по-моему, сказать об этом проще, образнее, точнее. И ни один рассказ, ни одного, пожалуй, из самых убежденных и убедительных противников революции, не навевает на меня большей жалости и беззаветной печали, чем те, в которых изображена безыскусственная галерея удрученных, беспомощных, теснящихся друг к другу, как бы духовно и материально голых людей, где страница за страницей предстают они перед будто бы иронизирующим, насмешливым, а на деле глубоко-человечным, любовно-сочувственным взглядом газетного хроникера.

Человек потерял номерок от белья. Голый человек, уныло и безнадежно бродящий между другими, с крепко привязанными к ноге номерами. Человек, ценность которого — не меньше и не больше, чем наличие или отсутствие номерка, в переполненной подобными ему общественной бане.

Этот символический человек может по праву возглавить печальное шествие. Скупым, доведенным до соответствующего эпохе обнаженного примитивизма языком, повествует Михаил Зощенко и о любви, о той любви, которую можно обменять на пару сапог или за половину полужилой каморки. О любви голого человека к теплому углу, где чудится ему спасение от затопившего все на свете беспросветного ненастья. Это тот самый голый человек с парой сапог на своей тележке, который искренне полюбил и привязался только к козе, к безобидному животному, и в такую годину не отказывающему человеку в молоке.

Естественно, что голый человек всецело занят мыслью о пропитании. Хлеб насущный и покрытие наготы телесной ни на миг не вылетают из опустошенного его самосознания.

Кухня, буфет, раздевальня — обычные декорации для зощенковских героев. Все то, что в привычном, «буржуазном», «аристо-

кратическом» искусстве служило по́лом, подпорками, закулисной неокрашенной машиной, — стало центром действия, драматической кульминацией в новой драме нового быта.

Неожиданная и коварная прожорливость спутницы рабочего, съевшей сряду четыре пирожных в театральном буфете, за которые нечем заплатить. Черная подозрительность воображаемой дамы сердца, после внимательных и обнадеживающих взглядов в сторону героя принявшейся звать милицию, потому что пальто на герое было украдено у мужа дамы, — всюду неотвязно, как гофмановская тень, преследует нового человека телесная нагота. В театре его принуждают снять пальто, — и трагедия на сцене меркнет перед его собственной. Он корчится и от холода и от боязни за свое пальто, пока его наконец не выпроваживают из театра, ко всеобщему, и к его собственному, удовлетворению.

Между прочим, кажется, что чисто амурные похождения зощенковских героев как-то странно, на первый взгляд, перекликаются с похождениями и интригами в «Декамероне» Бокаччио. Там компания людей, спасаясь от чумы, на фоне и в предвидении близких и, пожалуй, неминуемых врат чистилища, создает переплетение многих свиданий в одной комнате, — и все эти пикантные подробности взаимоотношений случайных людей как-то смахивают на такие же переплетения у Зощенко, хотя и на ином фоне другой растерянности, разрухи, бедствий и неуверенности.

Язык Зощенко — пещерный жаргон голого человека, свободного и насмехающегося над условностями и эпитетами, обнаженный, беззаботный в словообразованиях, растерянный, ошарашенный. Междометия, бессмысленные, словно для устойчивости, вводные и восклицательные частицы, полное отсутствие образности и красочности. Лихорадочно-поспешное действие, выраженное главным образом глаголами. Таким должен быть язык трущобного жителя, неуверенного, лишенного привычной иерархии, понятной ему субординации, всецело поглощенного тем только, чтобы как-то пристроиться на новом месте в жизни.

Зощенко записан в юмористы. Ибо иначе, как на посмеяние и на потеху, голый человек не смел бы появиться. Он даже время от времени должен был повторять: «Это все ничего! Вот еще поживем-построим, поисправим то и другое, а там глядишь и приоденусь!..» С таким лозунгом на голой груди человек поспешно переходил со страницы на страницу, из года в год, в фельетонах и рассказах Зощенко.

Он все же, если не занемог, не свалился от лишений и холода, кое-как прикрыл и наготу свою. Во всяком случае, наготу вообще и строжайше запрещено выставлять напоказ, — и Зощенко, умерев в духовном изгнании, фактически поплатился за показ этой наготы,

тогда как голому человеку надо было внушить, что он одет и счастлив.

Никто не решился признать обнаженность за благо. С тех пор, напротив, были введены разные формы, мундиры, ордена. Затянутые в мундиры, люди будто бы стали пристойными, солидными. И все-таки во многом, в существе своем, по Зощенко духовно неодетыми остались люди послереволюционных поколений. Все так же, по Зощенко, они принуждены держаться за карманы, за многочисленные номерки и квитанции. Вот, читаешь в газете, что голого человека во вновь открытом в Москве бассейне для плавания заставляют, прежде чем разрешить ему прыгнуть в воду, заполнить длиннейшую анкету о социальном и прочем происхождении, о том, записан ли он в партию, а если нет, то почему... И теперь еще, пожалуй, человек не отдаст найденную им, слетевшую у другого с ноги и оставленную в трамвае калошу, если у пострадавшего не будет заверенной справки из домоуправления, что у него в самом деле была в наличии пара калош. Считается ведь по-прежнему, что «доверять нельзя — сознательно не доросли!».

Дальше, по пути обобщений, мы встречаем в позднем рассказе Зощенко безнадежно скитающуюся голую обезьяну, вместо его обычного бесприютно-голого человека. И здесь гораздо больше развитая, тонко стилизованная форма оставляет гнетущее впечатление символической пустоты, разорванности и бессмыслицы, в качестве скрытого глубинного подтекста. Несомненно во всяком случае, что некоторые поздние, известные произведения Зощенко, говорят о прогрессе профессионального мастерства, о богатых и только частично использованных возможностях. Несомненно также и огромное влияние Зощенко на исключительно благодарные по тематике советские жанровые рассказы и фельетоны. Зощенко и наследовала плеяда талантливых фельетонистов. То, что из всего этого не печатается — передается из уст в уста. Меняются персонажи и приметы времени. Традиция остается неизменной: человек думает о хлебе и об одежде. О том, как бы прикрыть наготу свою.

Сошел с самолета вернувшийся из эмиграции певец Вертинский. Сошел и три раза поцеловал землю любимой отчизны. Воскликнул: «Узнаю тебя, моя родина!..» Оглянулся — и без удивления заметил, что его заграничные чемоданы уже «увели». И он спокойно добавил: «Да, узнаю!»

Такова отчизна, какой ее все еще видит голый советский человек глазами своих анонимных зощенко. В журнальных и газетных фельетонах и по сей день постоянно и без прикрас отражаются следы глубокой моральной разрухи: подавляющая бессмысленность основных черт нового советского быта, уродующая человеческие отношения, заслоняющая красоту жизни.

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Растерянная, опустевшая Москва поздней осени 1941 года. Немецкие танки на Можайском шоссе, и баррикады, воздвигнутые на Садовом кольце у Крымского моста.

«Дайте же теперь человеку винтовку! Не терпится ему встать за родную столицу. Пристройте его 91-ым нечетным. Ведь этой-то винтовки может быть недостает тем, которые залегли у Филей против стальной лавины 3-го Райха!» — Задержать лавину еще на минутку, на ту самую, которая все и решит...

Проходит время. Все меньше остается тех, которые могут сказать: «Я был там, в Москве, в октябре 41-го!» Еще меньше тех, которые могут рассказать, что же в действительности было в Москве в дни происходившей тогда трагедии. Тех, которые умели смотреть и умеют рассказывать. И как будто особенно остро это сейчас почувствовав, все чаще оглядываются на первые военные дни советские писатели, как бы не находя себе места под небом, пока не выскажутся о том, самом больном, что все еще лежит у них на душе — о военной катастрофе 1941 года.

В Америке, в порядке «культурного обмена», предлагают перевести и издать «Живых и мертвых», — на наш взгляд, это очень стоющее дело.

Симонов, конечно, не претендует на живописность, на колоритность. В его торопливых зарисовках нет и претензий на художественную ценность, эстетическую, вечную. Симонов — хороший военный поэт и хороший военный корреспондент, пожалуй, по аналогии с живописью, — «военный график».

Страница за страницей «Живых и мертвых» — это привычной рукой очерченные штрихи, а в конце концов и портрет нашего современника, «советского человека». Скажем, автопортрет. По терминологии модерного психоанализа — обнаженный внутренный комплекс. В самом окончательном виде его можно выразить так: живой, объемный человек, поглощенный, порабощенный плоской неживой бумагой, и только перед лицом смерти, и, может быть, ценой жизни, преодолевающий эту власть.

В романе это так:

«Можно ли верить человеку, потому что он живой, потому что говорит по-русски, потому что тогда и сражаться-то не за что, если не за этого самого человека? Или верить тому, что нет человека без нужной кому-то такое бумажки, что не может даже ради собственной живой жизни расстаться этот человек со своим документом? Что только проверенный, отмеченный, числящийся в списке, зарегистрированный, удостоверенный штампованной

бумагой выйдет он на Можайское шоссе, на защиту Москвы от немецкого нашествия?»

«Дайте политруку Синцову винтовку!» — взывает, заклинает кого-то Симонов на пятидесяти, по крайней мере, страницах своего романа. И в этом крике, в том, что крик этот и через двадцать лет остался лейтмотивом трагической симфонии 41-го года, — в этом на наш взгляд главный смысл того, что новая книга Симонова стала значительным, характернейшим событием советской литературной жизни.

Читатель в этом романе найдет не только ответ на вопрос старичка-пенсионера Попкова: «Что дальше-то будет, это я знаю, а вот скажи, почему мы теперь-то под немцем оказались?», — но, пожалуй, даже и самоочевидный для Попкова ответ, почему в конце концов суждено было немца одолеть.

Под немцем оказались потому, что гораздо больше поверили бумаге и написанному на ней, чем поверили самому человеку. Мысль эта, олицетворенная, в частности, в образе принявшего командование дивизией Серпилина, которому не поверили, которого годами держали в тюрьмах и который, когда пришла настоящая проверка войной, стал душой сопротивления, эта мысль красной нитью проходит через весь роман. Но не для того, чтобы раз и навсегда отвергнуть власть бумаги над человеком. Нет, не для этого. У Симонова именно Серпилин (идол симоновской партреабилитации), глубоко обиженный и много пострадавший от власти документов, не задумываясь, предлагает собственную жизнь — и, конечно, чужие жизни — в качестве цены — за такой же партийный документ, но с другим, новым номером.

Заметим, кстати, что глубокая трагедия, отраженная в романе, — в конце концов не в том, что так было, а в том, что так есть и по сей день. Трагедия в том, что беда по Симонову, по Симонову сегодняшнему, проживающему где-то в Ташкенте, заключается не в том, что вообще нет веры человеку без бумажки, а только в том, что уже когда-то и кем-то проверенному и «утвержденному» человеку какие-то близорукие и жестокосердные дяди из райкома партии никак не выдадут немедленно новых и новеньких документов. Чтобы, по предъявлении их в проходной этого самого райкома, тотчас же зачислить обладателя новой бумажки в честные советские люди. Трагедия в том, что, хотя штампы на бумагах меняются, и хотя, по настоянию Симонова и его друзей, взамен старых и отнятых, после 1953 года стали выдавать новые партийные документы с зачетом партийного стажа, судьба человека по-прежнему связана с этими бумажками, подтверждающими право на жизнь, т. е. то право, которым люди никому не обязаны. Во всяком случае, не другим людям.

И другая сторона: почему же все-таки победили? И на это в «Живых и мертвых» есть ответ, не оставляющий сомнений. Да просто потому, что война с ее мясом и кровью, сама война заставила, хотя бы на время, сжечь, испепелить, развеять по ветру, по суровой военной буре, мрачную мистику бумаги. Принудила, на военное время, обратиться к человеку, поверить ему. А его самого, на то же военное время, поверить в свое собственное будущее, в послевоенное счастье, кем бы он ни выходил по бумагам и документам.

Война заставила поверить человеку на дороге, в чужой гимнастерке, безнадежно потерявшему свой учетный номер, но вдруг нашедшему настоящее живое дело в борьбе за свое личное человеческое будущее. Или будущее, неизбежно казавшееся ему своим, поскольку он сам и своими руками за него воюет. Человеку, отыскавшему не только живое дело, но, кажется, и живую душу и веру в Бога, в надежде на новую земную, хорошую, человеческую жизнь.

В огромной разоренной Москве только женщина поверила человеку без бумаги. Поверила как будто не без внутренней борьбы, но раз поверив, почему-то сказала, кажется, совершенно неожиданное и небывалое, и к делу обычно не идущее, что — «это вот от Бога пришлось нам так свидеться», потому что единственное надежное, оставшееся ей в этом городе, была ее вера. Вера в человека, в его душу и в его любовь, — и эта вера, раз зародившись в народе, все повернула иначе, все на другие пути... Но какую же долгую дорогу пришлось пройти политруку Синцову, чтобы до этого свидания дожить и эти слова услышать, и почувствовать их правоту! Какой действительно беде суждено было разразиться, чтобы Симонов мог увидеть и написать, что не партия и «советская отчизна», а просто-напросто русская женщина «три раза по-русски тебя обняла».

Перед нами проходит вереница людей, которых крепко и навсегда научили верить и покоряться бумаге. Лейтенант подмосковного ополчения, куда после плена, после кошмарных голодных дней в лесах, через линию фронта и еще за двадцать километров от этой линии пришел изнемогающий политрук без документов. Лейтенант, который не может, не в состоянии поверить просто русскому человеку, раз нет у него на это удостоверения. Кстати сказать, даже немцы верили людям на слово. И нередко давали оружие тем, кто просил. Они боялись и недоверяли, по-видимому, но все-таки не так боялись и не так недоверяли.

Или другой лейтенант, Люсин, лично в прошлом знавший политрука, как члена партии и активиста, — этот лейтенант Люсин брезгливо бросает политрука на военной дороге, чтобы даже в одной машине, рядом не сидеть с человеком без документа. Люди эти, не поверившие такому же, как они сами, тоже в недалеком прошлом

обязанному учить этому недоверию, — разве они, дополняя друг друга, не рисуют нам с поразительной отчетливостью образ современника катастрофы 41-го года, не раскрывают внутренних, существеннейших причин самой этой катастрофы?

Но самое страшное, — что ведь и до сих пор политруки, такие же, как Синцов, или писатели, такие, как Симонов, твердо стоят на том, чтобы никому и ни во что не верить, — а верить только «сводке Совинформбюро», или словам вождя, что бы он ни говорил, раз в нем воплощена буква партийного документа.

«Живые и мертвые» могут помочь понять это тем, кто о существовании такого «комплекса» («живого» и «мертвого») разве только смутно догадывался.

П. ШЕЛЕСТОВ

ХРАМ БЕЗ БОЖЕСТВА

«Надо, чтобы изображение примеров героизма и гражданских добродетелей электризовали народ и возбуждали в нем любовь к прославлению и увеличению благополучия всей нации». — Эта темная мысль была высказана задолго до возникновения теории социалистического реализма. Она принадлежит Луи Давиду — члену Конвента во время революции и придворному живописцу короля французов.

В первые годы русской революции мысль Давида воскресла вновь: Ленин произнес слова «монументальная пропаганда». Все виды искусства должны были, по мысли вождя, «возбуждать и прославлять» — как об этом говорил когда-то Давид. Ленин подошел к вопросу практически, его мало интересовала роль искусства, как особой, автономной области духовной жизни человека: искусство должно было служить практическим целям новой власти.

Троцкий, между прочим, смотрел на искусство иначе. Он видел в нем не средство, а завершение:

> «Даже если основные проблемы — пропитание, одежда, отопление и, конечно, образование — станут величайшими достижениями, они одни еще не докажут полной победы новых исторических принципов; это случится только при проникновении новой научной мысли в толщу народа, и только при возникновении нового искусства. Только то общественное движение, которое в состоянии изменить научные знания и художественное творчество, сможет доказать, что росток истории способен дать не только завязь, но и цветок».

Мысль верная, но странная для революционера: искусство становилось пробным камнем революции и неудача в области искусства означала бы провал революции.

Были ли неудачей первые творения во имя монументальной пропаганды? Первые попытки выразить историческое движение в зрительных образах нельзя, пожалуй, назвать полной неудачей. Среди первых образцов «героически-монументального стиля», появивших-

ся на улицах Москвы двадцатого года, были и художественные удачи. Смело была задумана страшная голова гильотинированного Дантона, поставленная на простой постамент, напоминающий пень, на котором мясник разделывает тушу быка. Но эта страшная голова испугала Ленина — и пугала прохожих. Оригинален был Бакунин, романтик от революции, в замысле скульптора Королева. Появись эта скульптура в советском павильоне на одной из последних выставок в Венеции, она была бы отмечена западной критикой, — в Москве двадцатых годов ее побоялись показать массам и сняли с пьедестала. Неудача постигла и первые архитектурные образцы того стиля, который как будто должен был воплотить дух революции. Но это была неудача исполнения, а не замысла. Дом Союза Союзов, который фигурирует во всех монографиях о творчестве Ле Корбюзье, был новым словом в архитектуре двадцатых годов. Но его остекленные стены не выдерживали московских морозов и частью должны были быть заколочены; остроумная система воздушного отопления не давала достаточно тепла и в конце концов отказалась действовать. Социалистические города по проектам приглашенного из Германии Карла Май, то есть новые рабочие поселки, тоже не выдерживали русского климата. Их плоские крыши — признак хорошего тона тогдашней западной архитектуры — трескались от перемежающихся морозов и оттепелей и текли; штукатурка домов рассыпалась, как рассыпался гипс скульптур, первенцев монументальной пропаганды на улицах столиц.

Неудача коренилась в том, что дело начали с конца, — мог бы заметить Троцкий. «Основные проблемы» еще далеко не были разрешены, обе столицы мерзли, голодали и ходили в отрепьях, когда завязь дала преждевременное цветение, — а преждевременный цветок почти никогда не дает плода. Монументальная пропаганда оказалась преждевременной затеей, и не только в смысле возможности ее практического осуществления: в голодной и мерзнущей России не могли возникнуть стеклянные дворцы — не было даже хорошего кирпича, а монументальные статуи приходилось делать из гипса и глины. Затея была преждевременна и потому, что она не соответствовала умонастроениям тех людей, которые пришли к власти, веря, что они сделали революцию.

Критика неудачного начала была вполне оправдана практическими соображениями, — из этого еще не вытекало полное отрицание нового направления в искусстве. Ведь неудача с построением социализма в двадцатых годах не заставила вождей революции отказаться от него. Но полное отрицание нового стиля, обвинение его апологетов в буржуазном космополитизме, в низкопоклонстве перед Западом, то есть в преступлениях, приравниваемых чуть ли не к государственной измене — мера чрезмерно суровая. Однако, эта ме-

ра была применена и результаты ее применения оказались разительными. Они хорошо известны: стиль, названный революционным и пролетарским, оказался возвращением вспять, в эпоху расцвета буржуазии, к временам благополучной королевы Виктории, к тем временам, когда Энгельс писал о происхождении семьи, частной собственности и государства.

Новые люди, пришедшие к власти, тоже имели свои мнения по поводу собственности, государства и семьи. Эти мнения никогда не высказывались, да и вряд ли могли быть высказаны: они были подспудны, полуосознаны, простодушны и выражались не в декларациях, не в словах, а на деле — в стиле жизни, во внешнем виде и планировке домов, в стиле мебели, одежды. У «новых людей» не оказалось новых взглядов на жизнь и человека и они окружили себя предметами, которые соответствовали их жизненному вкусу. Они хотели жить в домах солидных, — такие дома строила самодовольная буржуазия сто лет назад: толстые стены, за которые трудно проникнуть; маленькие окна, в которые нелегко заглянуть. Они обзавелись прочной, добротной мебелью, которой мог бы позавидовать Собакевич.

«Дом — это моя крепость!» Кто только на нашей родине не отрекался и не издевался над этим девизом рыцарей буржуазии! Но отречься от неосознанных, а может быть и тайных стремлений на словах легче, чем на деле. Новые господа хотели сесть у подножья власти прочно и надолго. Люди самодовольные, располневшие, полные чувства собственного достоинства, украшенные орденами и важно изрекающие священные тексты Маркса и Ленина; люди, закаленные в безжалостной борьбе за власть, победившие в этой борьбе, упрочившие свое положение; люди, так долго жаждавшие материального достатка и наконец добившиеся его, — такие люди выглядели бы смешно в прозрачных остекленных комнатах современного дома, в его непривычной атмосфере, рождающей настроение непостоянства, беспокойного движения, переменчивой легкости.

Нельзя посадить массивного, закованного в непробойный мундир маршала за письменный стол из прозрачной пластмассы на ножках из дюралюминия: за таким столом он был бы смешон. Но за дубовым двухтонным столом, на котором торжественно громоздится массивный письменный прибор, каждым предметом которого можно свалить с ног медведя — маршал должен быть хорош: тут он к стилю.

Стиль, созданный сталинской эпохой, правдив: это стиль наслаждающихся властью людей. Если эта власть и призрачна и положение человека непрочно — тем охотнее он создает вокруг себя обстановку устойчивости и благополучия. К этому стилю в стране «победившего пролетариата» тянутся все, в тайном стремлении обеспе-

чить себя. Все виды искусства подчинены этому стилю. Для рабочих клубов и провинциальных музеев пишутся картины, ничем не отличающиеся от тех, которые охотно покупали богатые купцы и удачливые адвокаты в Москве в конце 19 века. Балет возвращается к дофокинским временам. Станиславский забывает о своей прежней дружбе с Рейнгардом и Гордоном Крэгом. Высшим образцом в поэзии становятся перепевы Твардовского на тему «Кому на Руси жить хорошо». В музыке признается только тот, кто не рискует отойти от Чайковского. Пролетарское викторианство утверждает себя повсюду: это на самом деле стиль пролетариата. Не того пролетариата, который, согласно мифу, станет обновителем человечества, а пролетариата реального — фабричного. Фабричный пролетариат никогда не был противником буржуазного образа жизни, он требовал лишь, чтобы буржуазия уступила ему свои, буржуазные блага, и завидовал ей, обладательнице этих благ. Освобождение от церковной опеки и стремление к равенству в материальном благополучии — это идеалы буржуазии; пролетариат их перенял от нее.

Новые люди, пришедшие к власти во имя пролетариата, не могли не перенять от буржуазии стиля ее жизни и стиля ее искусства времен ее самоуверенного благополучия: к этому благополучию стремились поколения пролетариев. И если Сталина можно называть духовным творцом этого стиля, то только потому, что в этом «ампире во время чумы» он угадал вкус своих верных слуг. Он им разрешил то, к чему они влеклись всем своим мелкобуржуазным нутром — к «зажиточности», к затхлому уюту городских квартир с лепными потолками, с красной дорожкой на лестнице, с массивной входной дверью. Все это было им дано. Так возник стиль победившего пролетариата.

Теоретически обосновать его появление было очень не легко. Вскоре после войны председатель Академии архитектуры СССР нашел в себе мужество признаться:

> «В области теории архитектуры мы пока еще не имеем систематической работы, проливающей свет на главные явления советской архитектуры с точки зрения научной мысли — с точки зрения марксизма-ленинизма».

Это было сказано незадолго до знаменитого, в августе 1946 года, выступления Жданова. Но уже в конце того же августа председатель Академии нашел нужным дополнить свое заявление:

> «Я не сказал бы, что в области теории архитектуры у нас ничего не сделано. Творческая мысль развила интенсивную борьбу с чуждыми влияниями и тенденциями. Теоретическая работа в области советской архитектуры помогла преодолеть влияние формалистических течений

конструктивизма и избавила нас от растлевающего влияния упадочных теорий Запада».

С этих пор не раз делались попытки найти теоретическое оправдание возникновению буржуазного стиля в социалистическом государстве. Все они окончились ничем. Основной труд Академии архитектуры, намеченный к изданию в 1949 году — «Социалистический реализм, как творческий метод советского архитектора», — так и не был издан. Проходили годы, целые улицы восстанавливаемых городов застраивались казармами в стиле доходных домов 19 века, мебель становилась все импозантнее, тяжелее, параднее, а внятного слова в оправдание этого увлечения буржуазным комфортом так и не было сказано. Одной из последних попыток дать объяснение происходившему было желание Академии архитектуры выпустить сборник под названием «Труды товарища Сталина по языковедению и проблема архитектурной науки». Смерть диктатора пресекла и эту отчаянную попытку. Мы так и не узнали, насколько тесно «архитектурная наука» связана с языковедением.

Ясно было лишь одно: «новые люди» отрицали современный стиль Запада, — и отрицали, как упадочный стиль разлагавшейся буржуазии. В каком-то смысле это определение западного искусства оправдано. Буржуазия, та здоровая, уверенная в себе буржуазия, с которой боролся Маркс, исчезает, разлагается, если она уже не разложилась. Меняется ее образ жизни, ее идеалы, ее привычки. Стиль, который сегодня царствует на Западе — это стиль уходящей буржуазии. Это стиль распутья, заката буржуазной культуры, превращающейся на наших глазах в какой-то новый культурный тип, — его сегодня называют массовой индустриальной культурой. Буржуазия теряет уверенность в себе, она больше не стремится устроиться прочно на земле: она больше не строит вилл, напоминающих неприступные замки рыцарей-грабителей. Она строит дома на ножках, похожие на временные постройки, настолько легкие, что их завтра снесут, чтобы заменить новыми, еще более легкими и портативными. «Викендхоуз»*) становится прототипом жилья. В нем пребывают некоторое время, «экзистируют», а не живут поколениями, накапливая жизненный опыт и материальное добро, чтобы передать их потомкам, которые продолжат уверенное и мудрое скопидомство отцов. Переменчивость, непостоянство, экзистенция, а не спокойное житье, вопрос, заданный в ничто и остающийся без ответа — не это ли выражает современный стиль на Западе?

Люди, пришедшие у нас к власти, подсознательно стояли за здоровую, домовитую, прочно устроившуюся на земле буржуазию, место которой они заняли, чтобы насладиться ее благами. Подсозна-

*) Домики для отдыха в конце недели, в субботу и воскресенье, за городом.

тельно они против и стиля новой, неуверенной, вовлеченной в круговорот перемен буржуазии. Можно предполагать, с большой мерой вероятности, что новый правящий слой в стране победившего пролетариата был искренне против современного буржуазного стиля и твердо за свой — отечественный. Но невозможно предположить, что где-то на самым верхах там не видели этого убийственного противоречия. Судя по истории создания Дворца Советов, властодержцев постоянно грызла мысль об этом странном несоответствии стиля искусства с декламацией о победившем пролетариате. После войны Сталин, по-видимому, понял, что нужно покончить с так называемым «освоением прогрессивного наследства» и направить усилия на создание собственного «советского» стиля.

Как это и следует из марксистско-ленинской догмы, практика опередила теорию. Образцы новой архитектуры возникли вдруг, неожиданно для постороннего наблюдателя. Постановление правительства СССР призвало московских архитекторов начать одновременно постройку восьми новых зданий, названных высотными. Постановление гласило:

> «Пропорции и силуэты новых восьми зданий должны быть оригинальны... но увязаны с исторически сложившейся архитектурой города и силуэтом будущего Дворца Советов».

Казалось бы, задача была поставлена довольно широко, — а решена она была всеми авторами с поразительно однообразным единодушием. Всем было хорошо известно, что любимым зданием Сталина была Спасская башня. Ее архитектура, по странному совпадению — поздняя английская готика, в стиле которой башня была восстановлена в 16 веке английскими зодчими. И шпиль этой башни, в том или ином варианте, завершил почти все высотные здания в Москве. Возникло семь зданий, явивших собой смесь Спасской башни с американским небоскребом.

Эта тенденция смешения была не нова в советской архитектуре. Уже в начале двадцатых годов появились те «угодничество и оглядка» в архитектуре, которые ясно заметил Замятин в литературе и не побоялся громко о них заговорить. В те годы, когда цвел пышным цветом супрематизм Малевича и Гинсбургом и его друзьями подготовлялся выход «Манифеста функционального конструктивизма», а мастерские ВХУТЕМАСА, в которых работал одно время возвратившийся в Россию Кандинский, задавали тон всей архитектуре Советской России, в тиши подготовлялись невиданные еще проекты. В них выявились «новые качественные черты социалистической архитектуры: ее ансамблевый характер, ее человечность, народность, полнокровная художественная выразительность». Примером всех этих «качественных черт» был проект реконструкции и надстройки здания манежа в Москве, выполненный небезызвестным

академиком архитектуры Иваном Владиславовичем Жолтовским, запоздалым палладианцем, «намеренно противопоставляющим свои творения мертвой выхолощенности конструктивизма».

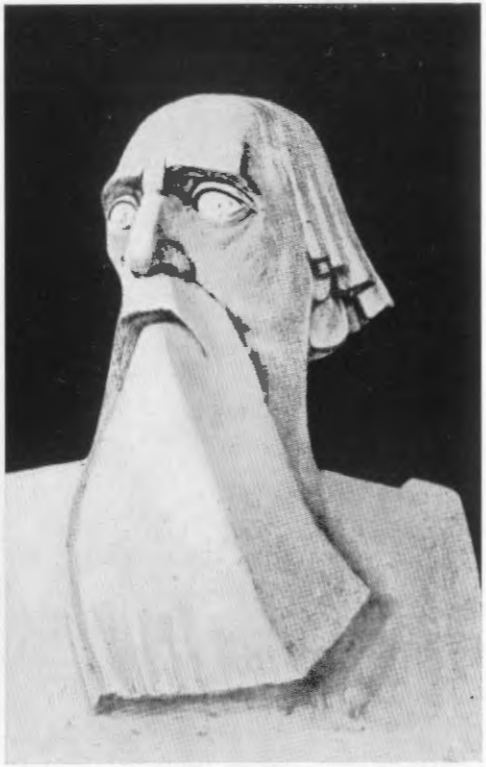
Это творение, по счастью, осталось только на бумаге, и старый московский манеж, образец другого «высочайше апробированного» стиля — стиля Николаевской эпохи — сохранился по сей день. На это классическое сооружение, для того, чтобы связать его в ансамбль с кремлевскими башнями, должна была водрузиться нелепая, бессмысленная надстройка, напоминающая те украшения из сахара и марципанов, которыми поражали именитых гостей пирожники на придворных обедах двести лет тому назад. Проект этот датирован 1923-м годом, — но опубликован он был лишь в год смерти Сталина, явив собой образец для всей советской архитектуры последних лет жизни диктатора.

В этой архитектуре есть что-то от азиатской помпы, от любви к узорочью, привитой нам соседством с Востоком. Это узорочье выпирает у нас всегда в моменты упадка народного самосознания — и недаром стиль петушков и полотенец возник в безвременье Александра III, а стиль высотных зданий — в годы сталинского безвременья. Поэтому трудно предположить, что академики Жолтовский, Щуко и Щутьев питали отвращение к той расточительной украшательности, которой они поразили Европу и которой они научили плеяду своих учеников. Нельзя предположить, что стиль «ампира во время чумы» возник только по приказу. «Ах, две души живут в груди моей!..» — какой-то части души русского человека отвечала эта поздняя, напыщенная, парадная лжеклассика. И можно себе представить, с какой любовностью прорисовывались капители, карнизы, балюстрады роскошных московских фасадов в мастерских стареющих палладианцев. Это их утешало и позволяло забывать, что они делают, по существу, плохое, а не только ненужное дело.

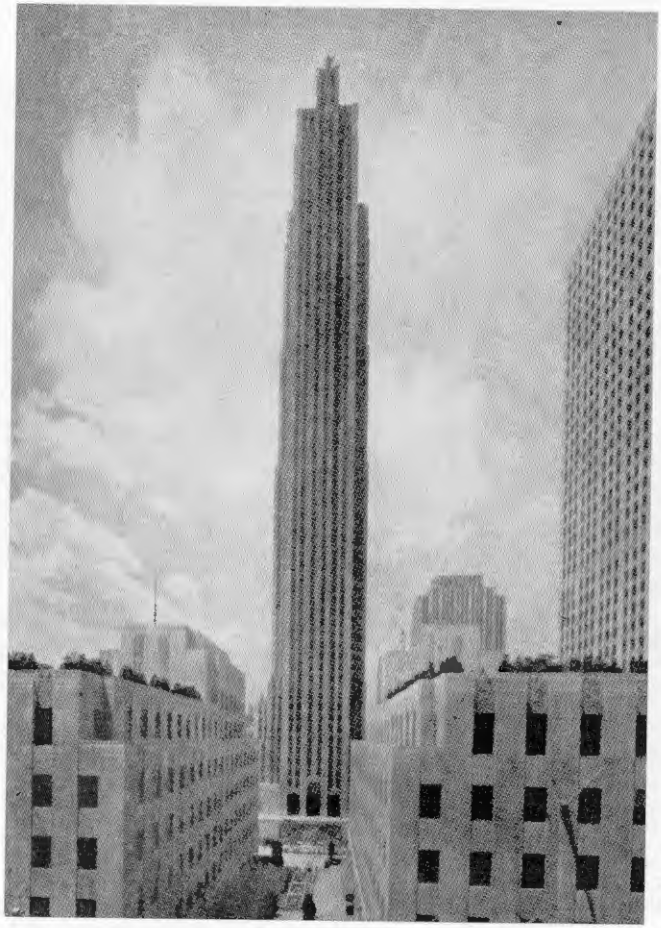
Высотные здания — это такие же положительные герои, что и в литературе. Такие же надуманные, наделенные всеми качествами, долженствующими вытекать «из великодушного стремления и самоотвержения», — но им так и не достало того неуловимого и неизъяснимого качества, которое привлекает. Получилась лишь отталкивающая заносчивость. И это сияние ложных чудес померкло вдруг, умолкло на самой торжественной ноте. Объяснить это только постановлением партии и правительства, вкусом Хрущева, желанием стереть все воспоминания об умершем диктаторе — невозможно. Не легче и объяснить внутренние побуждения архитекторов. Как неустойчивы, как легковесны они оказались! Еще недавно архитекторы говорили открыто, с ясностью, не допускающей иных толкований:

Б. Королев. Памятник Бакунину, 1921.

Памятник Дантону, 1921.



Скульптор Н. Златовратский. Салтыков-Щедрин, 1921.

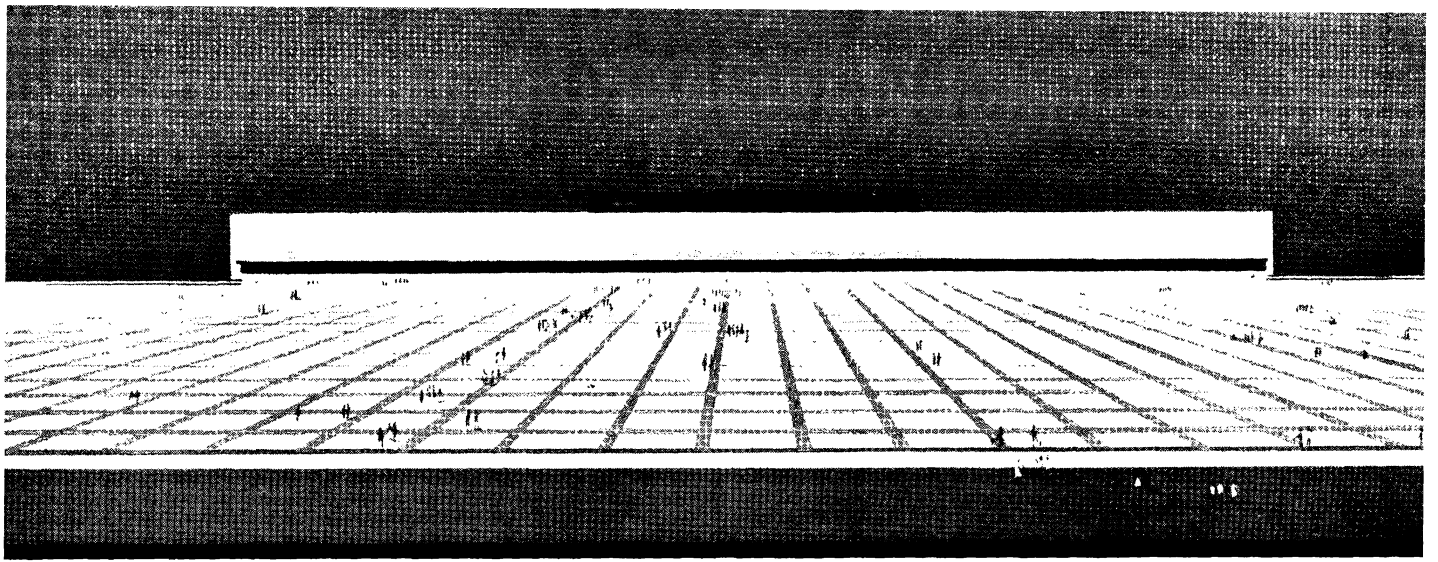


Здание Радио-Сити. Нью-Йорк, 1926.

Здание ООН. Нью-Йорк, 1951.

И. Жолтовский. Проект реконструкции Манежа, 1923.

Б. Иофан. Проект памятника Ленину, 1960.



А. Власов. Проект Дворца Советов, 1960.

«Смелость и новаторство в искусстве, без которых нет и не может быть настоящего искусства, могут быть лишь результатом идейной зрелости художника, партийного, последовательно убежденного проведения им в своем творчестве принципов социалистического реализма...» «Не социалистический реализм ведет к обезличиванию искусства и творчества его мастеров. Формализм не только лишил искусство индивидуального отпечатка, но лишил его и национального своеобразия, превратив искусство в безжизненное, космополитическое формотворчество».

Не прошло после этого и шести лет, как то, что называлось формализмом и космополитическим формотворчеством, стало признаком советского стиля:

«...Мы раньше понимали архитектуру, только как искусство создавать художественные образы, базирующиеся на реминисценциях прошлого. Отсюда рождался формализм, рождались декоративные излишества. Украшения зданий под флагом «отражения величия эпохи» стало самоцелью», — писал архитектор Власов.

Изменилось ли положение теперь? В прошлом, во времена возведения московских небоскребов, стиль подготовлялся в канцеляриях Академии архитектуры, издававших альбомы «лучших образцов отделки, примерных решений порталов и входных дверей, архитектурных деталей и росписи интерьеров». Создавались «урочные положения» типовых ограждений фонтанов, типовой мебели, оконных и дверных приборов, осветительной арматуры. Проблема «типичного» была накануне полного разрешения и литература далеко отставала в этом вопросе. Но и в новом положении, при отказе от социалистического классицизма, дело ничуть не изменилось. Накануне съезда советских градостроителей Власов призывал:

«Выработать единый социалистический стиль, который пронизывал бы собой все, начиная от общей композиции города, площади, улицы, до квартиры и ее убранства, от статуи, украшающей город, до крючка на вешалке в квартире».

Власов идет дальше типовых ограждений фонтанов — до конца. Приходится пожалеть, что нет пожелания создавать образцы пуговиц в стиле социалистической эпохи.

Но вот, на недавнем новом конкурсе проектов Дворца Советов, тот же Власов показал нам удивительный образец этого теперь уже нового стиля. Он нов потому, что повторяет тот стиль, который на Западе, претерпев знаменательные изменения, завершился зданием ООН. Ход изменений можно проследить, начав с известного небоскреба Радио Сити в Нью-Йорке. Это здание еще стремится в небо. Это почти что готика, но готика без Божества. Здание поднимается ввысь, но не как молитва и не во славу Творца: своим стремлением

оно выражает успех, удачу, самонадеянность человека. Оно не заигрывает со зрителем, как это делают московские гиганты. Почти никакой претенциозности, если не считать претензией очень тонко выраженный намек, что здание может подняться еще выше, что оно не окончило своего взлета, остановленного не по нужде, а по прихоти. Предельный оптимизм человека выражен здесь наиболее полно, но он выражен в последний раз. Здание Радио Сити еще обращено к человеку, чтобы окрылить его надеждой.

Но вот, почему-то, в силу каких-то глубоко в его душе заложенных стремлений, человек вдруг отказывается от полета в небо. И в здании ООН нет больше этого стремления. В нем лишь холодное благоразумие; «осмотрительная охлажденность», сказал бы Гоголь. Это здание безразлично к зрителю, безразлично к человеку. Оно выражает математическую формулу спокойного равновесия. Математическую формулу не оценивают: она не может быть ни хороша, ни дурна, ни красива, ни некрасива. Еще никогда «дух геометрии» не был так точно выражен и противопоставлен «эспри де финесс» Паскаля.

Однако, это здание построено ведь во имя объединения людей, во имя любви. Оно предназначено вместить в своих стенах вечную, неистребимую тоску человека о мире, о том, что людям нужно понять друг друга и любить друг друга. Но ведь это так просто, говорит грандиозный картотечный шкаф, поставленный на берегу широкой реки, безучастно смотрящий на нас своими бесчисленными полками: нужно лишь подсчитать сумму возможностей, разделить ее на сумму желаний и мы получим некий мировой коэффициент счастья. Нужно любить друга друга не потому, что мы дети Единого Отца, а потому, что это математически необходимо. Это рационально, это удобнее и полезней, чем ссориться и ненавидеть.

В здании ООН все же еще не окончательно утверждена математическая бесстрастность — «хлад размеренной чистоты». Здание спорит само с собой: тенденции математического безразличия противоречит пристройка, расположенная у подножья холодного гиганта. Своим легким движением по земле она говорит о другом: она приглашает нас жить и любоваться рекой. Она хочет сказать нам, что есть еще надежды и что они не несбыточны. Что может быть есть еще Бог, хоть в той природе, которой она открывает свои стены. Она еще не хочет закрыться от человека холодной непроницаемостью лишенных выразительности стен.

Здание ООН — еще не последнее слово современности. Но кто мог думать, что завершение современной тенденции в архитектуре мы увидим... в СССР? Что там она проявится с особенной ясностью, в незапятнанной чистоте?

Большинство проектов Дворца Советов в Москве не заслуживают особого внимания. Они неубедительны. Почти все они несут на

себе отпечаток того времени, когда их авторы, вольно или невольно, «топорщились произвести эффект». Исключение — проект Власова. Он поражает не только своей логической совершенностью: он поражает тем, как мог человек, строивший последнее высотное здание в Москве (самое высокое, исключая проекты Дворца Советов), вдруг создать произведение, полностью отрицающее все то, за что Власов ратовал и над чем трудился всего пять лет тому назад. Воистину произошло новое обращение Савла в мире архитектуры. И если верно то, что фанатизм есть признак глубоких внутренних сомнений, то тот фанатизм, с которым Власов оправдывал строительство высотных зданий, оправдывает его новое обращение.

Нельзя поверить, что эта перемена произошла не из сильных и тайных внутренних побуждений. По приказу сделано большинство остальных проектов Дворца Советов: все они приспосабливаются, льстят, кокетничают; все они компромиссны, неудачны и неискренни, как всякий компромисс. Власов кажется правдивым. По меньшей мере, ему удается убедить нас в своей правдивости. «Эспри геометрик» выражен им так ясно, как еще нигде в наше время. Все подчинено законам Эвклида—размеренно, точно, ясно. Здание ЮНЕСКО в Париже — беспомощная попытка выразить тот дух современной эпохи, который Власов выразил в своем проекте с неумолимой логикой, безапелляционно, с убедительностью и убежденностью новообращенного.

Можно по-разному объяснять замысел Власова: единственно возможным решением трудной градостроительной задачи, как это он сам объясняет и как он должен был объяснить советскому обществу; желанием подчеркнуть неуклюжую пышность нового университета, то есть желанием явно подчеркнуть свой отказ от советского викторианства (так могли бы объяснить его проект сторонники новой архитектуры); — решение Власова может быть объяснено и слепой приверженностью к западному формотворчеству, как вероятно объясняют его замысел недоброжелатели. Попробуем объяснить это новое творение советского зодчества действием иных, необъяснимых холодным рассудком побуждений.

Проект Власова содержит в себе столько же внутренней правды, что и здание Радио Сити, и здание ООН. Это еще один шаг в направлении выражения современного мироощущения, и шаг, по-видимому, последний: дальше идти некуда. Его Дворец Советов уже не поднимается ввысь ни как летящий в небо шпиль, ни как кристаллически ясный параллелепипед. Он плотно лежит на земле, он неподвижен и незыблем, — пугающая своей неподвижностью абстрактность.

Что это — искание простых и трезвых форм, после опьянения советским ампиром? Отрицание прошлого или пророчество будущего?

Не верится, что соседство нового университета продиктовало такое решение. Это нежелательное соседство могло продиктовать и другие формы, такие же строго геометрические, но раскрывающие иной смысл. Кроме того, это здание могло появиться и в другом окружении, в другом месте Москвы. Стало бы оно от этого иным? Думается, что не стало бы. Автор сознательно изобразил его в перспективе, стоящим как бы на краю света. За ним не только пустое небо, за ним пустота, ничто: история человечества кончилась, наступил окончательно утвердивший себя коммунизм. На горизонте истории проведена черта, подведен итог, за которым нет больше пути.

К блаженству коммунизма приводит нас пугающее своей абсолютной абстрактностью пространство, некоторая отвлеченная эвклидовская плоскость, подчеркнутая монотонным и безысходным чередованием квадратов-координат. Это пространство оформлено так, что человек должен чувствовать в нем свое бессилие, покинутость: в этом геометрическом мире человеку нет места — «Куда Ты завел меня?» И на этой плоскости планетарного масштаба не может быть ни святых, ни мудрецов, ни героев. Такая плоскость не предназначена для людей. На ней могут появиться только массы коллективов, машинным шагом двигающиеся к концу истории. Там, на горизонте, где кончается эта абсолютная пустота, которую нужно пройти, прижавшись плечом к плечу, не задумываясь и не колеблясь, — там людские массы насладятся коллективным блаженством в райских садах. Но безразлично холодная стеклянная стена Дворца Советов, которой преграждено холодное и враждебное человеку пространство, не вызывает никаких надежд. Однако, Власов приглашает нас переступить эту грань — и тогда, «претерпевый до конца», войдет в двери рая.

Тут-то окончательно открывается архитектурный замысел Власова. Сухость и безжизненность остроганного параллелепипеда, лежащего на краю пустоты, вдруг разрешается в текучих, мягких формах эллипсоидальных зал, в легкости галерей, переплетающихся, извивающихся, легко бегущих над роскошными зимними садами, обнимающими залы коллективных растений. Это и есть коммунизм: гигантская теплица, строго огражденная от внешнего мира, который предварительно лишен всего живого и непосредственного, от мира, который переделан так, что человек в ужасе бежит от него под благодатную сень коллективной теплицы. Осуществление утопии возможно только в среде, огражденной от всего живого и капризного, неподдающегося тем законам, которые выдумал человек. Власов и создал такую среду.

Вряд ли Власов думал о том, о чем мы сейчас говорили, когда создавал свой последний проект Дворца Советов. «Художник ловит на свою антенну голоса из мира, неизвестного ему самому, из мира

иного, подсознательного или будущего», — сказал как-то Федотов. Для самого художника оказалось, вероятно, неожиданным, что он создал произведение, завершающее развитие западного стиля, и что никакого особого социалистического стиля не оказалось, а следовательно не оказалось и особого социалистического общества. Опасения Троцкого оправдались: революция споткнулась о пробный камень искусства. Эстетический идеал пролетариата совпал с идеалом «загнивающей буржуазии», не в силу происков врагов народа и не в силу заблуждения, а в силу того, что своего идеала у пролетариата не было, да и не могло быть.

Феномен возникновения современного западного стиля в Советском Союзе пока что проявился только в архитектуре. Ни литературе, ни музыке, ни театру еще не дано идти по общему пути с современным искусством Запада. Власов сказал, что он мечтает создать в своем новом Дворце Советов синтез всех искусств. Но для этого синтеза нужны Малевич, Лившиц, Мейерхольд, Стравинский. Где они? Вирши Твардовского прозвучали бы, как трубы Иерихона в стеклянном дворце Власова, настолько они не соответствуют духу этого здания. Один из участников обсуждения проекта Власова выразился осторожно, что архитектура такого рода «не может не вызывать беспокойства». Беспокойство вполне оправдано. По пути архитектуры Власова должны пойти все искусства; если этого не случится, то архитектуру подобного рода нужно запретить, где бы она не проявилась — в планировке города или в крюке вешалки.

Можно предположить, что это новое движение в советской архитектуре еще раз попытаются остановить. Действительно, с «созданием» нового стиля не все обстоит благополучно. Это показывают последние проекты памятника Ленину. От идеи совмещения памятника Ленину и Дворца Советов отказались. Божество в пиджаке, взгромоздившееся было на крышу своего храма в старых проектах, снято оттуда и разлучено со своим храмом. Оно должно теперь поместиться над Москва-рекой; от храма его отделяет почти двухкилометровое пространство и нелепое здание университета. Ни ансамблем, ни синтезом искусств подобное решение назвать нельзя. Оно ясно говорит о потере объединяющей идеи, о шатании умов и сердец.

Очень плохо обстоит дело с памятником Ленину. Как придать величественность фигуре низкорослого, плохо сложенного человека, одетого в плохо скроенный пиджак? Все решения идут в одном направлении — на Ленина надевают пальто. Почти во всех проектах фигурирует этот неполноценный заменитель классической тоги. В зависимости от вкуса и изобретательности автора, пальто надето то в оба рукава, то в один рукав, то внакидку. И почти во всех проектах Ленин театрально жестикулирует, пальто развевается, как одежды Самофракийской Победы.

Пожалуй, изобретательней всех оказался долго таившийся в тени Иофан, когда-то любимый архитектор Сталина. Ему удалось, объединившись с группой молодых скульпторов, найти интересное решение: вождь всего прогрессивного человечества приобрел, в этой интерпретации, признаки неземного величия — некоторое подобие крыльев. Этот демон, или добрый гений, все же одет в пальто в оба рукава. Но это почти не портит общей композиции: за плечами гения развеваются два огромных знамени, как два могучих крыла, на которых он сошел на землю, чтобы осчастливить человечество. Крылья доминируют над всей группой — над вождем и над стоящими по обеим его сторонам знаменосцами.

Совместима ли подобная скульптура с архитектурой Власова? Тут нет и намека на единый социалистический стиль — «от статуи, украшающей город, до крючка на вешалке». Налицо две разноречивые тенденции. Одна совпадает с направлением всего современного искусства, — другая упорно ему сопротивляется. Власов бескомпромиссен в своем решении и иные пути ему заказаны. Иофан еще не говорит последнего слова, у него есть путь к отступлению и обходу — в этом его сила и возможный залог будущего признания.

Храм без божества принял строгую, неизменяющуюся форму. Божество, оказавшееся само по себе, ничто больше не связывает. Оно может явиться нам еще во многих воплощениях: путь к коммунизму еще очень долог и не вымощен теми гладкими гранитными плитами, которые ведут к храму без божества, созданному Власовым.

ПОЛИТИКА КУЛЬТУРА

Н. А. БЕРДЯЕВ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Самобытная русская мысль и литература родились из недовольства настоящим. Ее устремленность к будущему или прошлому.

Основная черта русской мысли XIX в. — ее цельность, нежелание дифференцировать культурные области, проникнутость мысли чувством и волей.

Народ, в котором является такой великий гений, как Пушкин, сознает себя великим народом.

Русская литература XIX в. — великий памятник русского духа. Ее пророческий характер, мучение о судьбе народа, искание правды и спасения. Жуткое предчувствие надвигающейся катастрофы.

Русские писатели не были закованы в нормах цивилизации и потому прикасались к тайне жизни и смерти. Выход за пределы искусства, преодоление индивидуализма, искание соборного начала.

Русская литература не была ренессансной. Она рождалась не от избытка жизни, а от муки и боли о страданиях мира, из жажды спасения и Царства Божьего.

Эти записки предоставлены нам Е. Ю. Рапп, наследницей Н. А. Бердяева. (Ред.)

В русской литературе — жажда выхода за пределы искусства. Достоевский исследует духовные глубины, пределы, окраины человеческой души, а не ее рационализированную дневную поверхность.

С Достоевским появляется новая душа. Начинается революция духа. Его творчество — огненный поток, дионисический вихрь.

Достоевский берет человека отпущенным на свободу, выпавшим из-под закона, и исследует его судьбу, открывает последствия свободы. У Достоевского Свет во тьме светит.

Достоевский самый динамический художник. Он выражает внутреннюю революцию духа, противоречие его духовной революционности и его консерватизма. Толстой художник статики. Он изображает установившийся быт и строй, но революционен в своем сознании.

Толстой чувствовал, что вся наша культура, вся социальная жизнь не настоящая жизнь, что за ней скрыта настоящая жизнь, первожизнь. Он чувствовал эту первожизнь, как художник, и не мог ее выразить в своем узком, малом рационалистическом сознании.

У Толстого нет чувства Христа. Ему совершенно чужда идея искупления. В Толстом сочетается крайний отвлеченный спиритуализм: отрицание исторической плоти, с отрицанием всей духовной жизни, с идеалом возвышенной животности.

Толстой признавал личную жизнь ложной жизнью, потому что она связана с ужасом смерти. Но смерти нет, когда отрицается личная жизнь.

Толстой истребляет во имя отвлеченного добра все богатство бытия. Демонический демонизм.

Толстой рационалист, который хотел, чтобы учение Христа было разумным, требует безумия, непротивления злу, предлагает рискнуть всем.

Христианство Леонтьева аскетически монашеское. Его отношение к миру остается язычески-аскетическим.

Леонтьев не понимает, почему сапожнику легче поклониться, чем вождю или жрецу.

В. Соловьев не принадлежит ни к какому направлению, ни к какому лагерю. Он ничей и он многих.

В. Соловьев гладкой теологией и метафизикой прикрывал свою природу. Он ночной и дневной. Он связан с духами природы.

В. Соловьев — странник духа, чуждый всем, кто имеет плоть и кровь.

Розанов родился в воображении Достоевского. Устами Розанова философствует сам Дм. Пав. Карамазов.

Мышление Розанова физиологическое, а не логическое. Магия слов.

Розанов против Христа, но не против церковного быта.

Розанов очень русский, но он русская опасность. Для него не существует христианского откровения о личности и его тянет в безликую стихию рождения, тянет назад.

Для Розанова существует Бог-отец. Он не знает Сына, не хочет Креста. Его религия возврат назад, а не движение вперед. Мы должны идти к просветленной, одухотворенной плоти, а не возвращаться к старой тленной плоти.

Розанов — гениально-русская баба. Без мужества, без борьбы погруженность в перво-стихию.

Розанов не понял, что последнее слово христианства не Голгофа, а Воскресение через Голгофу.

У Штейнера «я» не целостный человек, а общность элементов. Человек складной, семь частей.

Рабство Штейнера у естественной рациональной мысли.

У Штейнера отрицание мистерии искупления, отсутствие Бога.

Учение Штейнера — экзотерический эзотеризм. Элементарный учебник неизвестной науки.

Штейнер отрицает не только трагедию смерти, но и зло. Мертвенность — тайна науки Штейнера.

У Штейнера человекобожество. Рождается в человеке Бог. Бог заколдован в природе.

Ницше хотел стоять под знаком рока. Он не хотел победы человека над роком. Отсюда вражда к Сократу. Ницше не заметил, что дионисизм демократичен, аристократичен же апполонизм.

Маркс изобличает ложь сознания по Фрейду.

Ленин империалист, а не анархист.

Ленин прежде всего создает на целостном миросозерцании центральную организацию-партию и по ее образу и всю Россию.

Ленин — противник демократии и демократических свобод. Мотивы силы и власти отодвигают на второй план мотивы сострадания и правды. Жестокость. Помешательство на рационализации и регуляции.

Ленин типичный русский человек — простота, грубость, цельность, нелюбовь к прикрасам, нигилистический уклон на моральной почве. Ленин не верит в человека. Благодушие в личной жизни.

Ленин не теоретик марксизма, а теоретик революции.

Ленин соединяет в себе русскую революционно-социалистическую интеллигенцию и русскую империалистическую власть. Волю к социальной правде и волю к могуществу.

Ленин государственный человек, соединяющий максимализм идеи с рационализмом и оппортунизмом. Грубость и сужение его сознания.

К. ГЕРШЕЛЬМАН

«Бунт» Ивана Карамазова

Прославленная беседа Ивана и Алеши Карамазовых уже так часто подвергалась исследованию, что может показаться излишним еще раз возвращаться к ней. Такие мыслители, как Мережковский, Шестов, Бердяев, среди иностранцев Андрэ Жид, Томас Манн, Гардини, Камю, не упоминая уже о многочисленных других, посвящали ей свое внимание. В оправдание настоящей статьи можно только сказать, что поднятые Иваном проблемы относятся к так называемым «вечным» проблемам, которые всегда, все снова и снова, будут привлекать к себе интерес исследователя. Творчество же Достоевского дает такие неистощимые материалы для него, что становится понятным желание использовать хоть часть из них, без надежды, конечно, исчерпать их когда-нибудь до конца.

* *
*

Первая из двух больших проблем, определяющая творчество Достоевского — проблема свободы. В «Братьях Карамазовых» ей посвящены страницы «Великого Инквизитора». Вторая проблема — проблема страдания. Ей посвящена глава «Бунт».

В мире так много страданий, и эти страдания так велики, что непонятно, как может Бог, если Он действительно существует, хоть на одно мгновение удержаться от помощи людям. Эту сдержанность Бога по отношению к злу и страданию обыкновенно объясняют Его нежеланием ограничивать свободу своих творений. «Человек, лишенный свободы выбора между добром и злом, был бы автоматом добра», — говорит Бердяев. Свобода должна привести человека к добровольному отказу от зла, — добровольному, а значит и более прочному, чем отказ из-под палки — из страха наказания или из надежды на награду. Свобода имеет воспитательное значе-

Эта статья передана редакции вдовой писателя из его архива.

ние. Возможно, этим оправдывается наличие зла в мире, но оправдывается ли этим самым, без дальнейших оговорок, и наличие страдания? Проблема страдания и проблема зла — связанные между собою проблемы, но все же это две проблемы, а не одна, каждая из них сравнительно самостоятельна. Страдание только в том случае оправдывается, если оно воспитывает претерпевающего его, а не причиняющего. Слабое утешение для мухи, что свобода паука сосать ее или не сосать, воспитательно влияет на паука. Как и отказ от зла, страдание должно быть свободным, только тогда оно может возвысить страдающего, а не принизить его, или даже совсем раздавить.

«Наказание есть право и честь для преступника» (Ницше), — смотря какое наказание и смотря для какого преступника. Существуют страдания и совсем незаслуженные, страдают, увы, далеко не одни только преступники. Заслуженные страдания, искупая вину, действительно возвращают виновному самоуважение, позволяют ему чувствовать себя снова равноправным членом общества, поэтому такие страдания самим страдающим принимаются, как должное: в глубине души он сознает их необходимость.

Но как же быть с незаслуженными страданиями? Разве нет в мире невинных страданий? И разве нет таких страданий, когда страдающий, даже и не будучи вполне свободен от вины, не сознает ее, а потому не чувствует и справедливости следующего за нею наказания? Принятие такого страдания не может быть добровольным. Напротив, оно воспринимается, как насилие, возмущает, отталкивает, озлобляет, а не примиряет. Может быть поэтому Иван Карамазов и ограничивает свою тему только страданиями детей — страданиями невинными и непонятными для самого страдающего. Он рассказывает, например, о маленькой девочке, которую родители за неумение проситься запирали на всю ночь в холодную уборную.

> «Понимаешь ли ты это, — восклицает Иван, — когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезами к «Боженьке», чтобы тот защитил его!» — «О больших я и потому еще говорить не буду, что кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло, и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны. (Любишь ли ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже страдают, то уж конечно за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но ведь это рассуждение из другого мира, серд-

цу же человеческому здесь, на земле, непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!»).

Возможно, вопрос о первородном грехе, вскользь затрагиваемый здесь Иваном, сложнее, чем это ему кажется, уже одним тем, что человек, рождаясь и вступая в жизнь, вытесняет из нее кого-то другого. Одно поколение, сменяя другое, тем самым занимает его место, вытесняя отцов, дети принимают на себя не только все преимущества, но и все тяготы, все «долговые обязательства» наследства. Кроме того: каждым вздохом и каждым движением, каждым куском хлеба ребенок прямо или косвенно борется за свою жизнь с другими существами и их уничтожает. «Мы делаем свою жизнь из чужих смертей» (Леонардо да Винчи). В этом смысле даже новорожденный разделяет общую вину — не только «отцов, съевших яблоко», но и всего «падшего» природного мира, членом которого он отныне становится.

При этом остается однако в силе, что ребенок ничего *не знает* о своей вине. Взрослый может чувствовать свою общую, выходящую за пределы отдельного проступка виновность, может принимать страдание, как «наказание Божие» за греховность всей своей жизни, даже за греховность всего человечества. Ребенок же должен воочию видеть связь между проступком и наказанием, иначе он не поймет, за что его наказывают. А так как в случаях, описываемых Иваном, этого нет, то такие страдания и не могут воспитательно влиять на ребенка. Кроме того, здесь примешивается еще одно обстоятельство. Для того, чтобы страдание могло действовать воспитательно, оно прежде всего не должно *губить* того, кого оно воспитывает. О каком воспитании может идти речь в таком, например, случае (Иван описывает зверства турок над болгарскими детьми):

> «Турок наводит на него пистолет в четырех вершках от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему голову».

Нельзя говорить о воспитании там, где нет самого воспитываемого. Может быть и полезно иногда отшлепать напроказившего мальчишку, но едва ли полезно раздробить ему при этом голову. Идея воспитывающего страдания была любимой идеей самого Достоевского, но здесь приходится, конечно, соблюдать большую осторожность. Если бы всякое страдание возвышало, правила нравственного поведения были бы очень просты: «бей правого и виноватого, возвышай ближнего твоего». Не говоря уже о недопустимости невинного страдания, страдание даже и заслуженное должно соблюдать меру: действие страдания зависит от величины страдания и от сил страдающего.

Поэтому вся проблема заостряется на примере, ставшем уже классическим, который, несмотря на это или именно вследствие этого, необходимо привести: примере затравленного собаками мальчика.

> «И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей...» «А, это ты, — оглядел его генерал, — взять его!..» Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... «Гони его! — командует генерал, «беги, беги!» кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравили в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка! — Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата».

Страдание здесь чрезмерно по своей жестокости и губит страдающего. Оно не свободно и не может быть свободным. Этот пример ясно показывает, что простой ссылки на свободу недостаточно для оправдания зла и страдания, что необходимо ввести еще какие-то дополнительные условия, чтобы страдания губящие и принижающие стали возвышающими и исцеляющими.

* *
*

> «Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу согласиться!»

Возможно, что в некоторых случаях страдания идут на пользу страдающему. Но достаточно хоть одного случая *неоправданного* страдания, чтобы поставить под сомнение весь мировой порядок, основанный на страдании. А такие случаи несомненно есть. Кто же виноват в этом? — Конечно, в первую очередь тот, кто установил этот порядок, кто его допускает, кто его терпит, — Творец мира, Бог. Само существование Бога не ставится Иваном под сомнение — он принимает это существование, как предпосылку. Можно сказать даже больше: Иван вообще не интересуется вопросом, существует ли Бог, как личность, или Он — только идея, созданная самим человеком.

«Видишь, голубчик, был один старый грешник, в восемнадцатом столетии, который изрек, что если не было Бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Diau il faundrait l'inrenter. И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно, и не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль, — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и злому животному, каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать об этом: человек ли создал Бога или Бог человека?»

Даже в том случае, если человек сам создал идею Бога, эта идея руководит человеком во всей его исторической жизни, она, как ведущий идеал, определяет все ее направление, и в этом смысле играет такую же творческую, формирующую роль, как и личный Бог.

Своим заявлением Иван переносит проблему в чисто моральную плоскость, его размышления сохраняют силу даже и для атеиста, только суд над Богом-существом превращается в таком случае в суд над Богом-идеей: правилен ли поставленный идеал, можно ли к нему стремиться, можно ли жить им? С другой стороны, даже допуская реальное наличие всесильной первопричины мира, мы логически не обязаны еще этим допускать и ее нравственную высоту, мир мог быть создан могучей, но слепой и совершенно равнодушной к нравственной стороне вопроса силой.

Судя по качествам нашего мира, это представляется — на первый взгляд по крайней мере — вполне возможным. Проблема зла и страдания естественно упирается в проблему теодицеи — проблему «оправдания Бога»: как совместить всемогущество Бога с Его всеблагостью, почему, имея власть уничтожить зло, Он этого не делает? Христианство, отрицая всякие компромиссы, требует признания и всемогущества и всеблагодати в полной мере, в философии же нередко встречаются отклонения в ту или другую сторону. Ивану мир кажется злым, и, не отрицая существования Бога, как его создателя, он отрицает возможность нравственного оправдания Бога, — оправдания именно в данном пункте — сотворения именно данного, злого мира. Это не неверие, а отказ от подчинения Богу, отсюда — Алешино словечко: «бунт». Даже если справедливость и будет когда-нибудь восстановлена, зло покарано, добро вознаграждено, путь к этой будущей гармонии все же усеян такими жестокостями, что уже заранее ее дискредитирует.

«Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира Им созданного, мира-то Божьего не принимаю, и не могу согласиться принять. Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А поэтому свой билет на вход спешу возвратить обратно...

Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет Ему почтительнейше возвращаю.

— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша».

«Бунт» Ивана — отказ от подчинения Богу, которого он признает всесильным, но несправедливым и жестоким. Если даже Бог непосредственно и не виновен в мировом зле, а виновно в нем само вышедшее из повиновения Богу творение, то все же Он виновен в том, что «потворствует» злу, не принимает против него решительных мер, слишком терпелив. Есть положения, где излишнее терпение преступно: видеть истязуемого ребенка и не броситься с кулаками на истязателя — это не доброта, а бессердечие. «Бунт» — это «священное нетерпение» — нетерпение тут же, на месте, расправиться с обидчиком, спасти обижаемого. Точно так же вскипел Раскольников, видя страдания сестры, матери, Сони, всей семьи Мармеладовых, — вскипел против безличного порядка, допускающего эти страдания. Нельзя ждать, пока все наладится само собою — до тех пор перемрут и сестра, и Соня, и Мармеладовы, надо сразу действовать. Не только каждый имеет право, но каждый обязан даже выйти из подчинения такому Богу-попустителю для активной борьбы против зла, для борьбы против насилия ответным насилием, против зла — ответным злом.

Таков ход мыслей Ивана. В этой нравственной санкции на зло, к которой приходит Иван и другие «своевольники», — все дело. Борьба злом против зла допустима и порою даже нравственно обязательна. Отсюда уже — как шаг от принципа к практике — борьба против ближайшего зла — против старухи-процентщицы у Раскольникова, против отца у Ивана Карамазова: «зачем живет такой человек». Ситуация Ивана символична: бунт против отца, бунт против Бога-Творца. Неужели только потому надо терпеть такого отца, что он фактически мой отец? Неужели только потому надо подчиняться Богу, что Он фактически меня создал, властен меня раздавить или помиловать? Важен принцип: иногда зло не только терпимо, но и заслуживает одобрения. Остальное уже — детали, вопрос не принципа, а практики — бороться ли с обидчиком голыми кулаками или вооружившись топором... И снова приходим к тому, с чего начали: опять вместо воспитывающего, «хорошего» зла, которое мог бы в некоторых случаях нанести кулак, приходим к губящему, «злому» злу, наносимому топором; вместо воспитывающего шлепка — проломленный череп. И склока только растет все дальше, зло и страдания только множатся.

Вся практическая трудность проблемы именно и сосредоточивается на этой почти неуловимой разнице между кулаком и топором. Зло — яд, в малой дозе целительный, в большой — убивающий; и все дело именно в дозировке. Зло и страдание — две проблемы, но

они переплелись в одну; надо искоренить зло, не нанося страдания, а отделить зло от страдания невозможно; невозможно отделить в злодее злодея от страдающего, — и не хватает терпения распутать клубок, является неудержимое искушение одним ударом разрубить узел. Не только Иван духовно предупреждает Смердякова в его убийстве, но и Алеша, «схимник» Алеша, духовно предупреждает Ивана, когда на его вопрос, что сделать с генералом, затравившим мальчика, с «бледной, перекосившейся улыбкой» отвечает: «Расстрелять». В этом весь «соблазн» положения: в теориях Ивана, Раскольникова и других «своевольников» есть несомненная правда; — неправильно только то, что эта частичная правда обобщается в полную, что терпимое зло возводится в прямое добро: неправилен именно теоретизм этих теорий, возведение в абсолютный принцип того, что является только практическим компромиссом.

В конечном срыве «своевольников» виновато скорее несовершенство их логики, какие-то ошибки, вкрадывающиеся в их рассуждение, чем отсутствие достаточной нравственной чистоты. На своем пути, хотя бы и неправильном, они проявляют большую самоуверенность: недаром кто-то назвал их «подвижниками зла». Своим отказом от подчинения всесильному, но несправедливому Богу Иван подвергает себя опасности возбудить Его гнев: это не только отказ от места в будущей «гармонии», от даруемого счастья, но и готовность на страдание, на вечное проклятие ради «правды», которую он чувствует в своей душе и которой служит. «Бунт» Ивана — это богоборчество, это «Страшный Суд» человека над Богом. Понятие «суда» содержится уже в самом слове «теодицея» — «оправдание Бога»: там, где возможно оправдание, возможно и осуждение. Человек борется с Богом, как равный с равным, уступая Ему только в силе, но не в праве.

В этой претензии на равенство с Богом — демонизм и титанизм «своевольников», в чистоте и бескорыстии исходного нравственного чувства — их героизм, их святость. Было бы подло воспользоваться возможностью личного счастья в «гармонии», построенной на «неискупленных слезах» ребенка.

> «Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше, и если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены».

Здесь проблема достигает своего высшего напряжения:

«Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! — восклицает Иван. — Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония?»

Разговор идет конечно не о психологической невозможности прощения, а о нравственной недопустимости его. Не «не может», а «не смеет» простить. Чувствуется полная правота Ивана, и решение проблемы кажется невозможным. Если уж прощение представляется безнравственным, то где же искать выход?

* *
*

Странно: насколько мне известно, никто до сих пор не обратил внимания, что решение, и притом исчерпывающее, указано самим Иваном, указано тут же, через несколько страниц, еще до того, как в монологе Великого Инквизитора он развивает проблему дальше. В связи со своей поэмой, как формальный образчик ее, Иван вспоминает одну древнюю «монастырскую поэмку» — «Хождение Богородицы по мукам», и приводит ее содержание. Едва ли случайно помещена Достоевским именно эта «поэмка» именно в этом месте.

— Богоматерь посещает ад, и руководит Ее «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их... Пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых Она видела там, без различия. Разговор Ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, Она не отходит, и когда Бог указывает Ей на пригвожденные руки и ноги Ее Сына и спрашивает: как Я прощу Его мучителей, — то Она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора...

Совершенно ясно, что это прямой ответ на поставленный выше вопрос о нравственном праве матери простить или не простить мучителям ее сына. Богоматерь прощает, и почему-то Ее прощение не только не вызывает протеста нашего нравственного чувства, но, напротив, кажется высоким и трогательным. Почему это? В чем разница между Ее положением и положением матери затравленного собаками мальчика, положением Христа и самого мальчика? Совершенно ясно: разница в том, что затравленный собаками мальчик затравлен — и на этом все кончилось. Христос же, хотя и с ранами от

гвоздей на руках и ногах, — воскрес, и сидит в силе и славе «одесную Отца». Если бы затравленный мальчик тоже воскрес, если бы его физическая смерть была не окончательной гибелью, а только временным увечьем, сполна теперь исправленным и изжитым, то не только он сам и его мать могли бы простить мучителю, не оскорбляя этим нашего нравственного чувства, но, напротив, отказ от прощения был бы теперь воспринят нами с осуждением.

Не ад для мучителя, а рай для жертвы решает проблему и сполна ее исчерпывает. Общий ход мысли здесь прост до примитивности: страдания не искуплены в «этой» жизни, значит они должны быть искуплены в «той». Их искупает не новое страдание мучителя, а построенное на них блаженство замученного. Об этом Иван не вспоминает, а между тем в этом все дело. Все несправедливости, все насилия, все страдания с начала мира до его конца — все должно быть пересмотрено и исправлено, — не отмщено, а исправлено, — совершенно конкретно, полностью, до конца. Отсюда — необходимость воскресения, Страшного Суда, бессмертия, рая — как нравственное требование. Даже сама идея ада в связи с размышлениями Ивана приобретает новое освещение: например, отказ Бога отменить окончательно адские муки, несмотря на все просьбы Богоматери, может быть объяснен тем, что сам Бог находится в положении матери затравленного собаками мальчика и не «не хочет», а «не смеет», не имеет нравственного права простить грешников, пока не простят их сами жертвы — пока не простит последнему злодею последняя плачущая о загубленном сыне мать.

* *
*

Могут ли воскресение и рай искупить прошлое?

> «Видишь ли, Алеша, ведь может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтобы увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «прав ты, Господи!» но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, и потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь».

Чего, собственно говоря, добивается Иван? Почему даже полное примирение самой матери с обидчиком его не удовлетворяет? Думает ли он все еще об отмщении генералу, а не об исцелении мальчика? Или здесь вопрос идет о чем-то более глубоком — о самой принципиальной возможности чем бы то ни было, хотя бы вечным бла-

женством, искупить и возместить прошлое? Что бы ни случилось потом — сейчас это было: мальчик стоял, дрожа от холода и ужаса — и генерал кричал: «гони его!» Это — факт, и простым наличием этого факта уже как-то запятнана беспорочная белизна будущей «гармонии». «Гармония» не смеет отрекаться от своего прошлого, а это прошлое неуничтожимо. Проблема сводится к вопросу: можно ли бывшее сделать небывшим?

Подобные вопросы уже задавались, и на первый взгляд кажется, что на них можно ответить только отрицательно. Как может быть отменено однажды случившееся? Достаточно, однако, представить себе, например, такой случай: я убил человека, я в отчаянии, не нахожу себе места, и вдруг... просыпаюсь и выясняю, что все случившееся было только моим сновидением. Пробуждение не отменяет самого факта моего сновидения и даже, может быть, не отменяет моей злой воли (по Фрейду в сновидениях выражаются наши тайные желания), но все же событие принимает совершенно другой характер: убитый мною человек фактически жив и здоров, я его не убивал, а только хотел убить. Воскресение, если бы оно действительно совершилось, поставило бы всю действительность в сходное положение: оно перевело бы действительность в иную категорию бытия: обратило бы ее из полной реальности в полуреальность.

Возвращаясь к моральной плоскости, в которой ведется наше исследование, можно сказать: сам по себе отдельный факт еще ничего не значит: факт всегда должен браться в связи с другими фактами. Существенно уже то, что ценность каждого поступка определяется мотивами, его вызывающими: в зависимости от мотивов тот же самый поступок в одном случае может быть признан невинной шалостью, в другом — преступлением, в третьем, возможно, даже подвигом. Важен не поступок сам по себе, а наше отношение к нему. Отсюда — смысл и возможность раскаяния: раскаяться — значит «изменить свой вкус», изменить отношение к собственному поступку: то, чего я прежде хотел и что утверждал, того я теперь не хочу и то отрицаю. Отвращаясь от зла, я не уничтожаю своего поступка, но достигаю в некотором смысле даже большего: обращаю его в добро, — именно тем, что вступаю на верный путь, вооруженный бóльшим опытом, чем было бы без этого проступка, укрепляюсь им, как укрепляется каждый спортсмен преодоленным препятствием. В этом и заключен смысл свободного обращения к добру, о котором говорилось вначале.

Ту роль, которую по отношению к совершенному злу играет раскаянье, по отношению к пережитому страданию играет прощение. Прощением страдание тоже обращается из несвободного в свободное: своим прощением пострадавший примиряется с обидчиком и с самим страданием, как бы изъявляет согласие на стра-

дание, признает его физическую ничтожность и духовную ценность, — и этой внутренней победой над страданием делает его из вредного полезным, из «дробящего» — «кующим» («Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»).

Простить — отнюдь не значит забыть, а значит увидеть зло в новом свете, увидеть в нем добро. Почему можно простить даже генерала, затравившего мальчика собаками? — Потому что делая это, он думал не об обиженном мальчике, а об обиженной гончей. Это надо понять, позади злой воли увидеть добрую — и тогда увидишь истинную сущность поступка. В большинстве случаев грех — только грех неправильной перспективы, неправильного распределения внимания. Весь вопрос в том, на что устремлено внутреннее внимание. Алеша, присуждающий генерала к расстрелу, тоже присуждает его только потому, что его внимание направлено в это мгновение на мальчика, а не на генерала. Раскаяться — перенести внутреннее внимание с себя на жертву (понять жертву), простить — перенести внимание с себя на обидчика (понять обидчика). Раскаянье и прощение — два столпа, на которых зиждятся все человеческие отношения, вся этика. Христианство — религия прощения. Простив, я должен полюбить человека больше, чем любил его до ссоры, — иначе это не прощение.

В этом и есть оправдание зла, как элемента мирового пути: преодолевая зло, и обидчик, и жертва растут. Затравленный собаками мальчик, простивший своему мучителю, стоит выше, чем тот же мальчик, не переживший никакого страдания, и в этом оправдание его страдания. Таким образом мы снова приходим все к той же всеразрешающей идее свободы: воскресение является только условием, позволяющим осуществиться свободе — свободе раскаянья и прощения, — завершиться тому, что осталось незавершенным в земной жизни. Воскресение приобретает новый смысл: оно необходимо не для того, чтобы подвергнуть грешника адским мукам, а праведника усладить райским блаженством, но для того, чтобы дать возможность грешнику раскаяться, а праведнику — простить его. Воскресение — не только акт воздаяния за наши временные, земные грехи и добродетели, но и условие нашего окончательного, вечного совершенства. Воскресение — не только наше право, но и наш нравственный долг.

* *
*

Почему же Иван, допуская фактическую возможность воскресения, все же не видит в нем разрешения проблемы? — Именно потому, что сами представления Ивана об искомой «гармонии» очень неясны. Представления о полной религиозной гармонии со всеобщим

воскресением мертвых и грядущим бессмертием, перемешиваются у него с представлениями о земном социальном «рае», где ни о каком воскресении не может быть и речи, и вопрос идет в лучшем случае о сомнительном блаженстве только каких-то немногих *будущих* поколений. Поэтому ведь и всплывает в речи Ивана все снова и снова эта «неотмщенная слезинка», препятствующая полному примирению. Уже *после* того, как он допустил возможность воскресения и описал «мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти», всего несколькими строками дальше, он снова восклицает: «Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?» Или, в другом месте: «Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его», — и после этого: «иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его, восьмилетнего, затравили собаками...»

Как же Иван в конце концов смотрит? Погиб ребенок окончательно или не погиб? Если погиб окончательно, то Иван прав, и никакая будущая гармония не может быть морально оправдана; если ребенок воскреснет, вернется к матери здоровый и веселый, то этим инцидент будет сполна исчерпан, и всякий дальнейший разговор о возмездии будет в свою очередь морально неприемлем. Другими словами: проблема решается только *в религиозной плоскости*. Всякое нерелигиозное решение, всякая ссылка на *земную* социальную «гармонию» — несостоятельна: выход из проблемы открывает только полная *неземная* «гармония» — с пересмотром всего мирового прошлого, со «*всеобщим воскресением мертвых*». Не Богу должен Иван возвращать билет, а... своему Великому Инквизитору, пытающемуся построить царство счастья на... «слезинке замученного ребенка».

Все утопии земного рая, всплывающие снова и снова в произведениях Достоевского, отличаются отсутствием бессмертия, как своим характерным признаком. Таково царство последнего человека в утопии Версилова, Шигалевщина в «Бесах», «Великий Инквизитор» и «Геологический переворот» в «Братьях Карамазовых», — «Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире... Всякий узнает, что смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог». — Огромное значение идеи бессмертия для этики тоже сполна признается Иваном. — «Если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие», — пересказывает в начале романа помещик Миусов статью Ивана.

«Нет добродетели, если нет бессмертия», — категорически высказывается сам Иван. Очень часто связь идеи бессмертия с моралью

пытаются вывести из отрицательных, эгоистических мотивов: считают, что моральное поведение диктуется страхом загробного наказания или надеждой на награду. «Бунт» Ивана Карамазова показывает, что эта связь может быть выведена не из низших, а, напротив, из высших побуждений: не с в о и заслуги или страдания требуют искупления, а ч у ж и е. Отсутствие бессмертия лишает всю мировую историю с м ы с л а и м о р а л ь н о г о о п р а в д а н и я. Дело даже не только в восстановлении справедливости, а в чем-то несравненно более глубоком: если загубленный мальчик не воскреснет и его страдания так и останутся неискупленными, то этот весь мир, как целое, навсегда дискредитируется: не стоит работать над его улучшением, как не стоит лечить безнадежного больного; правомочен поэтому довод Ивана, что при отсутствии бессмертия «эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом из его положения». Поэтому Иван и соскальзывает на путь полного нигилизма, что н е в е р и т в б е с с м е р т и е: только идея бессмертия решает проблему, но зато решает ее с п о л н а.

Другой вопрос, в каких формах бессмертие или воскресение можно было бы себе представить, и насколько оно вообще возможно: этого вопроса Иван совсем не касается. Из его размышлений вытекает только н е о б х о д и м о с т ь воскресения: при вере в личного Бога в о з м о ж н о с т ь воскресения предрешается исходной предпосылкой Ивана о всемогуществе Бога: Он может все, что захочет; весь вопрос, значит, только в нравственной стороне дела — з а х о ч е т ли Он. Если же мы в личного Бога не верим, а верим только в порождаемую самим человеком идею Бога, то воскресение становится задачей, осуществить которую человек обязан собственными силами, т. е. мы приходим приблизительно к взглядам современника Достоевского, русского философа Николая Федорова, видевшего в достижении воскресения мертвых и установлении бессмертия «общее дело» всего человечества. Соединив обе эти точки зрения (т. е. отказавшись от их рассмотрения и выбора между ними), мы получим воззрение, близкое кантовскому учению о категорическом императиве: требования морали должны быть выполнены с абсолютной необходимостью; если они не выполнены в этой жизни, то должны быть выполнены в какой-то другой, которая поэтому необходимо должна существовать.

Воскресение — одновременно и наша высшая з а д а ч а и наша высшая н а д е ж д а, в нем разрешаются все противоречия жизни; кроме того, будучи высшей надеждой, оно тем самым становится и высшим нашим т р е б о в а н и е м: без него противоречия и недоумения жизни неразрешимы, и нравственное наше чувство остается

навсегда неудовлетворенным. В этом правота Ивана: «Страшный Суд» должен состояться; это не угроза со стороны Бога, а обещание, это акт восстановления мировой справедливости; но, с другой стороны, «Страшный Суд» — не только суд Бога над человеком, но и суд человека над Богом: если «Страшного Суда» вообще не будет, то значит нет и справедливости Бога. Срывается Иван не на том, что его требования слишком решительны и форма их слишком резка — резкая форма свидетельствует только о его большом нравственном темпераменте, — срывается Иван, напротив, на том, что сам боится до конца поверить в абсолютную необходимость и правомочность этих требований. Не в богоборчестве, не в дерзости Ивана, с которой он обращается к Богу, его вина, а в сомнении, в неспособности до конца поверить во всеблагость и всемогущество Бога, который в силах осуществить все, что будет действительно нужно осуществить.

Качание между верой и неверием типично для всех «своевольников» — они все боятся последнего шага: не решаются вполне положиться на самих себя, до конца оторваться от Бога, и вместе с тем не решаются Ему до конца довериться. Не их максимализм, а их половинчатость губит их. Религиозная вера совсем не утверждает, что в мире уже сейчас все обстоит благополучно; напротив, мир «лежит во зле», приход Царства Божьего на землю только ожидается: ни всеблагость, ни всемогущество Божье далеко не осуществлены еще полностью, а только осуществляются в мировом процессе.

Называя Богом силу, против которой он борется, Иван ошибается: он борется в сущности совсем не против Бога, а против греховного «лежащего во зле» мира и его владыки — «князя мира сего». С Богом он чувствует себя в тайном союзе — и именно это сознание своей правоты и тайной поддержки со стороны высшей моральной инстанции сообщает Ивану его пыл и решительность. «Бунт» — это восстание человека против Бога во имя... тоже Бога, но другого — не могучего, жестокого Бога, извне управляющего миром, а благого, живущего в глубине человеческой души.

Иван борется за «правду» против «истины»; в этом же смысле надо понимать и слова другого «своевольника», Ставрогина, сказавшего, что «если бы математически доказали ему, что истина вне Христа, то он бы согласился лучше остаться с Христом, нежели с истиной». Здесь под «истиной» тоже по-видимому понимается объективно данный, извне навязанный человеку несправедливый мировой порядок, Христос же воплощает порядок любви и смысла. Значение «бунта» в том, что он, как и вся тема «своевольников», представляет собой дальнейший шаг в процессе постепенного вживания человека в Новый Завет, в идею богосынства. Ветхозаветное

подчинение Богу из слепого послушания, из страха и корысти, постепенно заменяется подчинением добровольным, из внутреннего сочувствия и понимания. Ни один «своевольник» не проходит своего пути благополучно — все срываются, подпадают искушениям, трудно преодолимым на пути абсолютной свободы, по которому они идут. Но претерпеваемые ими неудачи нисколько не умаляют значения их опыта. Проблематика Достоевского намечает такое углубление нашего понимания христианства, что можно говорить о начале новой эры в истории не только русской, но общемировой религиозной мысли. Недаром многие современные западноевропейские философские течения считают его одним из своих пророков и вдохновителей.

* *
*

Резюмируя сказанное, можно так ответить на основной вопрос о роли страдания, поставленный вначале: страдание оправдывается тем, что служит средством роста. Для того, чтобы оно могло выполнить свое назначение, оно должно приниматься страдающим добровольно. Фактически этого в большинстве случаев нет: страдание обычно переживается, как внешнее насилие, а не как свободная жертва. Такое страдание не только не способствует росту страдающего, но, напротив, духовно озлобляет и физически губит его. Для того, чтобы это поправить, всем раздавленным непосильным страданием должна быть предоставлена возможность п о д н я т ь с я: больным и калекам исцелиться, мертвым — воскреснуть. В этом мире страдания не искупаются: страдающая добродетель награждается только в американских фильмах и немецких хрестоматиях.

Основная истина христианства та, что совершенный праведник, Христос, ничего не получил от этого мира, кроме распятия. Если страдание не искупается в этом мире, оно должно быть искуплено в каком-то другом. Первое положение христианства, что Христос этим миром был распят; второе — что и распятие и этот мир Он преодолел своим воскресением. Воскресением восстанавливается справедливость, обидчику дается возможность раскаяться, жертве — простить. Этим страдание из подневольного, принижающего превращается в свободное, возвышающее. Таким образом идея бессмертия тесно переплетается с моральной проблемой.

Та же идея бессмертия является решающей и для проблемы с ч а с т ь я, рассмотрению которой посвящена следующая глава

«Братьев Карамазовых» — «Великий Инквизитор». Продажа первородства человека за чечевичную похлебку, продажа «права на страдание», свободы и бессмертия за сомнительное «счастье» в раю Великого Инквизитора — такова ее тема. «Ибо если бы и было что на том свете, то уж конечно не для таких, как они», — говорит сам Великий Инквизитор о своей пастве. Таким образом тема «бунта» переходит в тему «Великого Инквизитора» и в ней находит свое продолжение и окончательное разрешение.

В. ГЕФДИНГ

К проблеме хозяйственного роста СССР и США

Проблему «мирного соревнования» двух хозяйственных систем, — тоталитарно-принудительной советского блока и свободно-рыночной противостоящих ему стран свободного мира, — можно рассматривать в двух разных плоскостях. Предметом исследования может служить, во-первых, сравнительный хозяйственный рост обеих группировок стран с целью определения изменения их относительной хозяйственной мощи. Самостоятельную тему представляет собой вопрос об экономическом соревновании стран, возглавляющих обе группировки, т. е. СССР и США, на территории третьих государств, главным образом так называемых «малоразвитых» или «недоразвитых» стран. Это соревнование сводится к оказанию экономической помощи малоразвитым странам и условиям ее, — помощи, которая ставит себе целью ускорение их экономического подъема и поднятие низкого уровня жизни их населения.

Обе эти проблемы, конечно, тесно друг с другом связаны. Но рассматривая вопрос об экономической помощи недоразвитым странам, мы поневоле вступаем в область, где чисто экономические соображения и мотивы уступают первенство политическим и чисто пропагандным. В результате этого размеры помощи, предоставляемой другим странам, далеко не всегда являются простой функцией экономической мощности страны, эту помощь оказывающей. То обстоятельство, например, что Советский Союз предоставляет займы недоразвитым странам из $2^1/_2\%$ годовых, тогда как американское правительство и Международный банк дают займы из 4 и до 6%, далеко еще не значит, что СССР располагает неиссякаемыми источниками дешевого капитала.

В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением некоторых вопросов сравнительного экономического роста двух ведущих стран обеих группировок — СССР и США — и связанных с этим проблем, оставляя пока в стороне другие индустриальные страны свободного

мира. Это отнюдь не должно означать, что мы преуменьшаем их значение в отпоре экономической агрессии коммунистического блока, и их вклад в общее дело. Напротив, поистине поразительное усиление промышленного потенциала в последнее десятилетие таких стран, как Великобритания, Западная Германия, Франция, Канада и Япония, с каждым годом повышает их роль в экономическом соревновании Запада с коммунистическим блоком. В частности, некоторые из этих стран должны в близком будущем более активно включиться в дело оказания экономической помощи недоразвитым странам. Но рассмотрение этой их роли в пределах настоящей статьи завело бы нас слишком далеко и мы поэтому ограничиваемся двумя экономическими «гигантами» — СССР и США.

Читатель может быть уже заметил, что мы по возможности избегаем противопоставления терминов «капитализм» и «коммунизм». Эти термины, может быть и допустимые, в силу их краткости, в разговорном языке, в экономике уже отжили свой век и теряют всякий смысл. «Капитализм» современных передовых индустриальных стран Запада имеет столь же мало общего с тем, что понимали и изображали под этим термином Маркс и Энгельс, как и тот экономический строй, который создался в России за сорок лет советского владычества, имеет мало общего с тем, что те же Маркс и Энгельс воображали в виде грядущего коммунизма и даже социализма. Вполне адэкватный термин для того, что представляет собою современный «капитализм», еще не найден. В Западной Германии теперь в большом ходу несколько громоздкий термин «социальное рыночное хозяйство» (soziale Marktwirtschaft). Некоторые американские экономисты предлагают мало удачный термин «народный капитализм» (people's capitalism), делая ударение не на принципе свободного рыночного оборота, а на более широком распределении имущества и доходов. Для наших целей достаточно иметь в виду, что дело идет о противопоставлении хозяйства с в о б о д н о г о хозяйству п р и н у д и т е л ь н о м у.

Вопрос о сравнительном экономическом росте СССР и США стал занимать широкие политические и хозяйственные круги Америки не со вчерашнего дня. Внушительный рост советской промышленности за период пятилеток давно уже привлекает к себе внимание. Но только после первого советского «спутника» и после повторных похвальб Хрущева «догнать и перегнать Америку», а потом и «похоронить» ее, этот вопрос стал предметом как более близкого изучения со стороны экономистов, так и возрастающей тревоги в политических и общественных кругах США. За эти годы появилось очень большое, для неспециалиста уже трудно обозримое число работ по этим вопросам, как отдельных экономистов, так и прави-

тельственных и частных исследовательских учреждений. Последнюю сводку этих работ, наряду с некоторыми новыми оригинальными исследованиями, представляет собой последний доклад — уже третий по счету за шесть лет — под заглавием «Сравнение американской и советской экономики», составленный для Объединенной экономической комиссии Конгресса США. Этот доклад, — больше шестисот страниц убористого шрифта, — плод коллективной работы около двадцати видных американских статистиков и экономистов. Кроме того, в настоящее время подготовляется и выйдет в свет в конце этого года еще более капитальная работа на ту же тему, которая тоже явится результатом широко задуманного коллективного исследования под руководством и на средства «Национального бюро экономических исследований».

Нас не должно удивлять, что почти каждый американский экономист или статистик, занимающийся исследованием интересующей нас темы, начинает свое изложение с указания на те почти непреодолимые трудности, с которыми была связана его работа, из-за количественных и качественных особенностей и недочетов советских статистических источников. Правда, в последние годы к о л и ч е с т в о публикуемых советским правительством статистических данных очень возросло, но по-прежнему исследователю приходится считаться с многочисленными пробелами и изъянами в них.

Американские исследователи часто подвергают сомнению прежде всего качество советских первичных статистических данных, которые, из опасения взысканий или в надежде на премии и награды, всякими правдами и неправдами «подгоняются под план». Но и конечные статистические данные в том виде, как они публикуются советскими статистическими органами, грешат серьезными изъянами, особенно когда по приказу сверху они подтасовываются в политических или пропагандных целях. Излюбленным приемом в этом отношении является изменение методов статистического учета, в результате чего сравнение с прошлым становится или невозможным, или по меньшей мере проблематичным. Классический пример этого — переход в тридцатых годах в статистике урожаев от учета фактического, конечного сбора хлебов, к учету «биологического урожая» на корню, чем, конечно, размеры урожая повышались. Характерно, что действительные размеры этого «статистического» повышения урожаев стали известны только из речи Хрущева на пленуме ЦК в декабре 1958 года. По словам Хрущева, это повышение равнялось 30% — значительно больше того, что до тех пор предполагали специалисты по статистике урожаев. Нечто аналогичное этому произошло в самое последнее время с изменением статистического учета удоя молока.

На поистине почти непреодолимые трудности наталкиваются

американские экономисты и статистики при сравнении производства в СССР и США в части, где оно возможно только в денежном выражении, а не в количественном — в килограммах, тоннах, литрах или киловатт-часах. Это относится прежде всего к сравнениям валового национального продукта и общего промышленного производства, которые возможны только в денежном выражении. Тут возникает вопрос не только о том, какой курс рубля положить в основу исчислений: общий и официальный, но совершенно нереальный курс, по которому один доллар равен четырем рублям, или несколько более реалистический, но по существу тоже условный «туристический» курс — один доллар равен десяти рублям. Дело осложняется еще и тем, что покупная способность советского рубля, по сравнению с таковой американского доллара, весьма различна и зависит от того, идет ли дело о продуктах широкого потребления или о предметах государственного снабжения, в особенности для целей обороны. Известно, что в последнем случае покупательная способность рубля значительно выше, чем в первом. В основе всех этих трудностей лежит тот факт, что советский рубль представляет собой не свободную валюту, ценность которой определяется ее оценкой на международном денежном рынке, а условную счетную единицу, абсолютно от международного валютного рынка изолированную.

Если таким образом общие индексы являются более чем сомнительным мерилом сравнительного промышленного потенциала и темпов роста СССР и США, то с другой стороны мало целесообразно, как это делают иногда советские официальные источники, выхватывать произвольно отдельные материалы и продукты, не учитывая часто весьма различной структуры производства и потребления в обеих странах. Для Хрущева производство молока и масла стало каким-то фетишем, как будто от того, догонит ли и перегонит Советский Союз Америку в этом отношении, зависит ход мировой истории. При этом упускается из вида тот простой факт, что в Америке производство и потребление маргарина гораздо выше, чем в России. В США производство маргарина превышает производство масла на 3%, между тем как в СССР оно составляет всего 70% производства масла.

Другой пример: в одном из советских статистических справочников для агитаторов указывается на то, что по производству сахара СССР уже перегнал Америку: в последней производство сахара составляет всего 12 кгр. на душу населения, а в Советском Союзе — 17 кгр. Цифры эти сами по себе правильные, но тут умалчивается, что ввоз сахара в США в несколько раз превышает местное производство, тогда как в СССР ввоз составляет всего 2% последнего (это соотношение теперь может значительно измениться, в связи с по-

купкой Микояном пяти миллионов тонн сахара на Кубе, с поставкой в течение пяти лет). Как бы то ни было, при учете ввоза потребление сахара в США составляет 45 кгр. на душу населения, против 17 кгр. в СССР.

Не входя здесь в тонкости тех иногда весьма интересных и остроумных расчетов и приемов, к которым прибегают американские экономисты и статистики, чтобы преодолеть методологические трудности возможности использования данных советской статистики, приведем вкратце лишь результаты, к которым приходит в своих подсчетах относительного роста советской и американской промышленности известный экономист Уоррен Нэттер в упомянутом коллективном докладе Экономической комиссии Конгресса.

По подсчетам Нэттера, за весь «плановый период» советского хозяйства, до нового семилетнего плана, средняя норма роста годового производства составляла в СССР для всей промышленности 6,5%, а при исключении вновь присоединенных к СССР областей — 6,1%. Полные данные для сравнения советской нормы роста с американской имеются за пятилетие 1950-55. В течение этого периода советское промышленное производство увеличивалось в среднем на 7,7% в год, а американское — на 4,5%.

Основной и элементарный порок подобных сопоставлений заключается в том, что советская норма прироста относится к «экономике скудности», в которой удовлетворение потребностей населения приносится в жертву форсированному развитию тяжелой и военной промышленности, в то время как американская относится к «экономике изобилия» (по выражению известного американского экономиста Джона Голбрайта), при несравнимо более высоком уровне жизни в стране. Кроме того, более низкая исходная точка сравнения в отношении советского производства вообще подрывает смысл процентных сравнений. Поэтому, между прочим, представляет значительный интерес попытка Нэттера сравнить теперешний рост советской промышленной продукции с ростом американской в течение «аналогичной» фазы промышленного развития США. Таким «сравнимым» периодом Нэттер считает время с 1908 по 1913 год, когда американская норма прироста составляла 8% и таким образом была приблизительно равна теперешней советской норме.

Ввиду сомнительности норм прироста, выраженных в процентах, более реальным и потому заслуживающим большего внимания являются сравнительные количественные показатели производства некоторых основных продуктов и материалов в обеих странах. Вот эти данные:

Сравнительное производство некоторых основных продуктов в СССР и США

	Год	Мера	США	СССР	Произв. в СССР в % к США
Электро-энергия	1957	млрд. квч.	716,0	209,5	29,3
Уголь	1956	млн. тонн	529,8	472,1	89,1
Бумаж. ткани	1957	млн. ярдов	9563,0	6119,0	64,0
Нефть	1956	млн. тонн	364,0	83,8	23,0
Газ	1956	млрд. куб. фут.	10082,0	483,0	4,8

Ближе всего подходит к американским количествам добыча угля в СССР, составлявшая в 1956 году 89,1% американской. Это объясняется тем, что в американском топливном балансе нефть и газ, благодаря богатству запасов этих материалов в США, играют гораздо бóльшую роль, чем в СССР. Учитывая упор советской экономической политики на электрификацию и построенные или находящиеся в постройке гигантские гидроэлектрические станции на Волге и Ангаре, по своей мощности превышающие самые большие американские станции, стоит остановиться несколько подробнее на сравнении заданий советского семилетнего плана по постройке электростанций с американскими проектами для этого же периода (это, кстати сказать, пожалуй, единственная область, где такое сравнение возможно, так как и в «неплановом« американском хозяйстве постройка электростанций проектируется за несколько лет вперед). На этом примере к тому же ясно видна абсурдность процентного сравнения р о с т а м о щ н о с т и промышленного оборудования при сильном расхождении исходных точек сравнения.

За время с 1957 по 1962 год мощность советских электростанций по семилетнему плану должна возрасти на 125% — с 48 до 108 млн. киловатт. За это же время мощность американских станций, на основании имеющихся данных, должна увеличиться всего на 66% — со 146 до 245 млн. киловатт. Однако, несмотря на больший процентный прирост, мощность советских электростанций будет в 1962 году в абсолютных цифрах больше отставать от мощности американских станций, чем в 1957 году. Если мощность советских электростанций в 1957 году была на 98 млн. киловатт меньше американской, то — несмотря на более высокие нормы процентного прироста! — эта разница увеличится к 1962 году до 137 млн. киловатт.

Необходимо впрочем сделать еще одну оговорку: структура потребления электрической энергии в обеих странах совершенно различна. Промышленное потребление составляет в СССР гораздо больший процент общего потребления, чем в США, где, при высоком уровне жизни и широком применении электричества в домашнем

хозяйстве для холодильников, стиральных и сушильных аппаратов и множества других машин, домашнее потребление — одно из самых высоких в мире. По подсчетам американских специалистов, среднее потребление домашнего хозяйства в СССР составляет 400 киловатт-часов в год, тогда как в США оно равнялось в 1958 году 3400 киловатт-часов. Таким образом, при более низкой выработке электроэнергии в СССР, по сравнению с Америкой, там гораздо бóльшая часть производимой энергии служит целям производства, мирного и военного.

При очерченных выше условиях беспристрастному наблюдателю не остается ничего иного, как констатировать, что большой и почтенный труд, затраченный американскими экономистами на вычисление сравнительных индексов советского и американского производства, не дает ответа на вопрос, который прежде всего интересует Америку и другие страны свободного мира. А именно — на вопрос о том, в какой мере рост промышленного производства и его темпы сами по себе могут служить показателями политической и военной мощи данной страны. Ганс Гейман, автор вступительной главы в докладе Объединенной экономической комиссии Конгресса, приходит в этом отношении к довольно пессимистическим заключениям:

«Ясно, что национальная мощь определяется не суммой валового производства, а той эффективностью и последовательностью, с какой государство способно использовать это производство для достижения поставленных им политических целей... Хорошим примером могут служить попытки сравнения советских расходов на государственную оборону с нашими собственными путем сопоставления той доли, которую составляют эти расходы по отношению к народному доходу каждой страны... Такие сравнения в лучшем случае дают нам лишь мерило относительных усилий каждой страны; они дают нам представление о размерах тех жертв, которых требуют от народов каждой из этих стран расходы на оборону; но они далеко не всегда дают ответ на вопрос о том, насколько производительно затрачиваются эти средства на производство предметов вооружения».

По мнению американских экономистов, пристально следящих за советской экономикой, темпы роста советской промышленности должны по всей вероятности в ближайшее десятилетие несколько замедлиться. Речь при этом идет не о процентных нормах прироста, которые естественно, с увеличением общего объема промышленного производства, должны уменьшиться, а об абсолютных размерах ежегодного прироста. Среди факторов, играющих при этом наибольшую роль, указывается прежде всего на обеспечение промышленности рабочей силой. В течение первых 25 лет ускоренной индустриализации в распоряжении советской власти были два больших ре-

зервуара для пополнения промышленности рабочей силой. Это был, во-первых, резервуар избыточного сельского населения, использование которого статистически выражается в громадном — абсолютном и относительном — увеличении городского населения за последние 30 лет. Другой источник пополнения рабочего состава заключался в использовании женского труда, — этот источник приобрел особое значение после второй мировой войны с ее ужасающими потерями мужского населения.

Мало что так поражает иностранных посетителей Советского Союза, как выполнение женщинами даже тяжелых физических работ, которые в других индустриальных странах выполняются исключительно мужчинами. Женщины в производстве, по отношению ко всей рабочей силе, составляют в СССР 47% — такой процент в других индустриальных странах неизвестен. Этот труд является «принудительным», поскольку низкая оплата труда рабочих и служащих, недостаточная для сведения концов с концами даже в самом скромном семейном бюджете, заставляет жен и матерей искать дополнительного заработка. При тех размерах, которых достигло использование женского труда, дальнейшее привлечение женщин к работе будет по необходимости ограничено естественным приростом населения рабочего возраста.

Тут мы подходим к третьему, хотя и временному фактору возможной нехватки рабочей силы в ближайшие годы, который однако играет существенную роль в советских планах «догнать и перегнать». В период примерно с 1960 по 1965 год чрезвычайное падение рождаемости во время второй мировой войны должно привести к сильному сокращению числа молодых людей обоего пола, достигающих рабочего возраста. Едва ли подлежит сомнению, что проведенное недавно Хрущевым сокращение наземных военных сил, хотя оно с чисто военной точки зрения в век атомного оружия должно быть признано вполне рациональным, все же в существенной степени было продиктовано необходимостью пополнения рабочей силой промышленности. К этой категории мер должно быть отнесено и привлечение учащихся к физическому труду в промышленности и в других отраслях хозяйства.

Наконец, американские экономисты указывают еще на одно обстоятельство, которое, кроме нехватки рабочей силы, может привести в ближайшие годы к замедлению роста советской промышленности. Дело в том, что, в отличие от старых промышленных стран, машины и прочее оборудование советской промышленности было сравнительно «молодо». Почти все текущее производство советских машиностроительных заводов могло идти на увеличение промышленной продукции. Иначе говоря, оно давало как бы «чистый прирост» этой продукции. В недалеком будущем это положение должно

будет коренным образом измениться, в том отношении, что постоянно возрастающая доля вновь выпускаемых советскими заводами машин должна будет идти на замену устарелого или изношенного промышленного оборудования.

В последние годы, точнее, со времени запуска первого советского «спутника», в американские рассуждения на интересующую нас тему вкралась новая нота. Сравнение производства стали, угля, нефти и других продуктов, само по себе может быть важное и интересное, утратило прежнее значение, поскольку речь идет о сравнительной военной мощи обоих лагерей, на которые распался мир. В возможной атомной войне артиллерия, танки и прочие роды оружия, требовавшие громадного количества металлов и горючего, так же, как и масса пехоты, будут по всей вероятности играть лишь подсобную и подчиненную роль. На смену им пришли гораздо более страшные орудия разрушения и уничтожения — атомные и водородные бомбы и ракеты, производство которых не требует больших количеств материалов, прежде считавшихся важными в военном отношении, — но зато оно требует весьма высокого уровня науки и техники и большого числа ученых и техников. Оказалось, что «производство» ученых и техников с точки зрения подготовки к атомной войне важнее производства стали, угля и нефти.

Для рядовых американцев сознание того, что СССР опередил их страну в этом отношении, явилось тяжким ударом в их безмятежной и спокойной жизни. В особенности признанное американскими коллегами, побывавшими в России или следившими за работами там, высокое научное качество русских математиков, физиков и химиков навело американцев на размышления о том, почему эти отрасли естественных наук, поскольку они не находят практического применения в промышленности, остаются в Америке в загоне и не пользуются признанием и уважением ни со стороны публики, ни со стороны студенческой массы, которая должна этих ученых поставлять. В связи с этим наговорено было немало благоглупостей по поводу дьявольской предусмотрительности большевиков, своевременно наладивших «массовое производство» ученых и техников, и сумевших организовать отбор талантливых людей в этой области. Тем важнее и отраднее отметить одиночные голоса людей в американской среде, которые, не отрицая общепризнанного факта высокой постановки преподавания естественных наук в Советской России, указали на корни этого явления, лежащие с одной стороны в русской исторической традиции, в русском отношении и уважении к абстрактным наукам и ее носителям, а с другой — в последствиях гнетущего принудительного догматизма «марксизма-ленинизма» в русской действительности.

Заслуга указания на роль русской научной традиции принадлежит сенатору Фулбрайту, председателю Комиссии сената по иностранным делам. В речи, произнесенной в Сенате в январе 1958 года, Фулбрайт сказал:

«На вопрос о причинах советского превосходства в области научного образования мы можем дать по крайней мере частичный ответ в том смысле, что советы унаследовали от старого царского правительства традицию интеллектуального отличия (excellence) и научной любознательности, которые корнями своими восходят к Петру Великому и основанию в России Академии наук еще в то время, когда наша страна была пустыней (wilderness), населенной дикарями».

На второй из отмеченных нами факторов, на непроизвольную «заслугу» советской власти в отношении расцвета математики и естественных наук при советском строе, указал известный американский публицист Макс Асколи:

«Принудительно произведенная государством атрофия политических и моральных идей (Асколи имеет в виду проповедь марксизма-ленинизма, В. Г.) является одной из причин поразительного прогресса естественных наук в России. Наиболее пытливые умы находят прибежище, — а может быть и некоторую изоляцию, — в сложностях математики и техники. Чем сложнее наука, тем надежнее убежище для людей, забаррикадировавшихся абстрактными истинами, и в то же время могущих доказать режиму свою незаменимость достижениями в области науки и техники».

Как же должны реагировать Соединенные Штаты и вообще страны свободного мира на опасности, действительные и мнимые, которые представляет для них промышленный рост СССР и нескрываемые намерения его вождей использовать растущую экономическую мощь в агрессивных целях? На этот вопрос можно ответить словами двух видных американских экономистов, из не раз цитированного нами доклада Объединенной экономической комиссии Конгресса.

Профессор В. Ростов (Massachusetts Institute of Technology) пишет:

«Мы должны опасаться не темпа советского хозяйственного роста, как такового, а того применения, которое дается экономическим ресурсам России. Угроза нашей стране — в том факте, что государство, располагающее менее чем половиной нашего национального продукта и уровень жизни населения которого составляет одну треть нашего, расходует столько же, сколько и мы, на военные цели, и предоставляет три четверти технического персонала и половину того капитала, которые предоставляем мы, некоммунистической части мира» (т. е. на экономическую помощь недоразвитым странам).

По мнению другого автора, Говарда Петерсена, директора частной исследовательской организации „Commitee for Economic Development", было бы роковой ошибкой, если бы США и другие страны свободного мира, для предотвращения грозящей им опасности, прибегли бы к экономическим мероприятиям, аналогичным тем, которые применяют СССР и его сателлиты. Он пишет:

«Если бы мы пытались форсировать темп роста нашего хозяйства путем увеличения государственных расходов и ограничения свободного выбора наших граждан между потреблением и сбережением, мы тем самым вступили бы в противоречие с нашей шкалой ценностей и не сделали бы нашу экономическую систему более притягательной для других народов. Угроза со стороны Советской России серьезна, но наш ответ на нее не должен заключаться в подражании советской системе. Эта угроза заключается не в том, что Советская Россия может в экономическом отношении перегнать Америку, а в устремлении к созданию действительных и потенциальных орудий власти».

АРТУР ШЛЕЗИНГЕР-младший

Разновидности коммунистической практики

Недавно я возвратился из поездки по Советскому Союзу, Польше и Югославии, в которой пробыл месяц. Вряд ли следует ожидать, что в результате поверхностных наблюдений можно приходить к глубоким умозаключениям. Тем не менее, даже недолгое путешествие по странам, о которых ранее ты знал только понаслышке и видел их чужими глазами, дает известное преимущество. Старые представления и предположения растворяются в потоке новых, конкретных впечатлений. И абстракции, владеющие нами, запутываются в сложностях повседневного опыта.

Для пишущего эти строки одно впечатление преобладает над всеми другими. Мы часто склонялись к предположению, что коммунизм, как самая точная и самая понятная идеология нашего времени, отливает в одну определенную, однородную форму все нации, находящиеся под его влиянием. Уже выражение «коммунистический мир» вызывает обычно представление о его однородности. Однако, что поражает случайного наблюдателя, — данного наблюдателя, по крайней мере, — это именно разнообразие коммунистической практики. Особенность эта, по-моему, заслуживает внимательного исследования, так как не исключена возможность, что в этом разнообразии кроется самая большая, если не единственная, надежда на мир на земле.

Коммунизм — не монолит. Это спектр. На одном конце этого спектра находится Китай — мессианский, суровый, страстно-идеологический, глубоко фанатичный, недоступный для американского наблюдателя.

На другом конце спектра — Польша и Югославия, коммунистические особенности которых переворачивают все, сложившееся за десять лет на Западе, представления о коммунизме.

Между ними находится Советский Союз, — самая могучая коммунистическая страна, — своеобразная смесь чрезмерной самоуве-

ренности с чрезвычайной неосведомленностью, исключительной эффективности с приводящим в отчаяние отсутствием компетентности, смелых и дерзких замыслов со строгой идеологией.

Могущество и власть сконцентрированы, конечно, на русско-китайском конце спектра. Польша и Югославия в международном соотношении сил играют весьма незначительную роль. И тем не менее, если допустить мысль, что опыт Польши и Югославии указывает направление, по которому может идти коммунизм, тогда то, что происходит в этих малых странах, имеет колоссальное значение.

Можно предположить, не боясь преувеличения, что будущее зависит от того, останется ли Советский Союз в орбите своей теперешней идеологии, или начнет неприметно продвигаться по пути более жизненной и прагматической формы коммунизма.

* *
*

Без риска ошибиться можно допустить одно обобщение о Советском Союзе: он находится в состоянии непрерывных перемен.

Перемены после смерти Сталина — источник изумления и восхищения в стране. Советские граждане свободно говорят о «плохих временах», под которыми подразумевается период 1948-1953 годов. Когда спрашивают, что это были за времена, они отвечают, что никто тогда не осмеливался выражать свои собственные мысли, что люди не доверяли друг другу, что каждый мог стать жертвой произвольного террора.

Весьма любопытно, что относительная откровенность в разговорах о последних днях Сталина не ассоциируется с озлоблением или горечью по отношению к самому «старику». Его считают либо великим созидателем, который в свои последние годы свихнулся с правильного пути, либо смотрят на него, как на престарелого руководителя, нагло обманутого и преданного такими подчиненными, как Берия. Эти откровенные разговоры об «уклонах», совершавшихся при содействии Сталина, имеют большое значение. Неприязнь к «культу личности» и к тайной полиции является глубоким и подлинным чувством. Люди без устали повторяют, с глубоким убеждением, что «нам никогда больше не придется переживать что-либо подобное». Когда спрашивают, откуда у них такая уверенность и произошли ли в структуре власти перемены, которые могли бы воспрепятствовать появлению нового тирана, они отвечают: «Мы прошли через это один раз и повторения не допустим». (Этот аргумент, конечно, более убедителен для высказывающих его, чем для слушателя).

Из разговоров о «плохих временах» можно заключить, что нынешнее время — значительно лучше предыдущего. Этого нельзя

отрицать. Сейчас у советских граждан больше личной безопасности. Значительно урезана власть тайной полиции. Мало слышно о неожиданных ночных арестах. Улицы Москвы кишат людьми, возвращающимися из ссылки и с каторжных работ в Сибири. По-видимому, и режим в рабочих лагерях резко изменен.

Больше того, Хрущев, устранив Маленкова, в период послесталинской борьбы за власть, перенял его программу (как Сталин в свое время перенял экономическую программу Троцкого) и в последние два года проявил большие усилия для поднятия уровня жизни и создания удобств. На путешествующего по Советскому Союзу большое впечатление производят разнообразие и обилие (если не качество) товаров широкого потребления в универсальных магазинах больших городов.

Никогда еще со времени революции рядовые советские граждане не чувствовали себя столь свободными и состоятельными. Естественно, что за эти достижения они считают себя в долгу перед человеком, который дал им возможность чувствовать себя так. Хрущев тоже доволен этой признательностью. Однако, справедливость требует заметить, что в стране пока мало признаков появления нового культа личности. Нет ни множества портретов Хрущева, ни его статуй и не чувствуется постоянное присутствие «Большого Брата», как это было в довоенной Германии, в Италии или в России времен Сталина.

Хрущев — редкая птица среди диктаторов: он хочет, чтобы его любили, он считается с настроением народных масс, он упивается вниманием и любовью толпы. И он носится по всей стране, как будто ведет непрерывную предвыборную агитацию.

Наблюдатели, следящие за ростом этих настроений, выражают надежду, что комбинация личной безопасности граждан, обилия предметов широкого потребления и диктатора, стремящегося быть популярным, приведет к смягчению сурового идеологического характера советского общества. Утверждают, не без основания, что политическому догматизму нет места при свободе дискуссии, и что изменения, связанные с ростом потребительских тенденций в экономике, приведут к исчезновению административного тоталитаризма. Все это возможно, но пока нет оснований полагать, что именно так обстоит дело в современной России.

Почти все перемены, имевшие место после смерти Сталина, произошли, с точки зрения западного либерализма, в должном направлении. Но, несмотря на эти перемены, Советский Союз продолжает оставаться телеологическим обществом. Хрущев не сделал нынешний режим более либеральным. Он только начал этот режим, так сказать, нормализировать. Одно это — уже немалая заслуга. Советский гражданин впервые обретает сознание того, что считается нор-

мальным, на что он имеет «право» в смысле личной безопасности и материального комфорта. И от этих норм он добровольно не откажется, разве только в случае угрозы войны против его страны. Однако эти новые нормы отнюдь не означают либерализации советского общества и не делают его менее догматичным и тоталитарным или более прагматичным и терпимым.

Душа советского догматизма — это принцип непогрешимости в применении к руководителю, к партии и к теории истории. Достижения при Хрущеве не только не ослабляют этого принципа, но его, возможно, еще больше укрепляют. Тем самым личная безопасность и обилие продуктов широкого потребления, удовлетворяя с одной стороны настоятельные требования правящих и технических групп, с другой стороны могут способствовать притуплению стремлений к индивидуальной и политической свободе и увеличению политической пассивности. В последний период правления Сталина у советских граждан стало зарождаться (в тайниках души) сомнение в непогрешимости руководителей. Но сейчас, когда усилия их вождя начинают давать множество весьма благоприятных плодов, эти плоды (от улучшения фасона дамских туфель до полетов на луну) могут еще больше подтверждать непогрешимость как самого вождя, так и стоящей за ним идеологии.

* *
*

Иначе очень трудно объяснить склад ума, столь характерный для верхов советского общества — изумительную смесь самоуверенности, невежественности, неприступности и незаинтересованности. Больше всего смущает иностранца полное и абсолютное отсутствие любопытства к тому, что делается на Западе (за исключением новых методов производства или техники). Верхи советского общества твердо убеждены в том, что об Англии им известно больше, чем Макмиллану, о Франции — больше чем де Голлю, а об Америке — больше чем ее президенту. Эта самоуверенность, часто идущая рука об руку с невежественностью, чрезвычайно смущала Бевана и Гейтскела во время их поездки в Москву.

Вот что писал сопровождавший их журналист:

«Один из самых высоких представителей советского режима не имеет представления о существующих в Англии учреждениях национального здравоохранения. Другой представитель власти, сопровождавший нас на спектакле антиколониального балета в Большом театре, не мог себе представить, что пьеса, осуждающая расовую дискриминацию, идет и в Америке, или что антиколониальная пропаганда свободно допускается в Англии... Безработ-

ные Европы рисуются им стоящими в бесконечных очередях перед всеми биржами труда в Париже и в Лондоне...

Еще хуже обстоит дело на более низких ступенях общественной лестницы. Наш проводник в Ленинграде наотрез отказался поверить, что я могу беспрепятственно принимать советских гостей в своем доме в Париже; что самые лучшие писатели Запада — не коммунисты; что абстрактная живопись — не американское изобретение и не является признаком капиталистического декадентства. И дело тут не только в расхождении во взглядах, а в непонимании того, о чем собственно идет речь».

То, что для обитателя Запада — вполне установленный факт, принимается в Советском Союзе только в том случае, если это соответствует официальному стереотипу. Если высказанное мнение укладывается в прокрустово ложе этого стереотипа, ваш советский друг сияет и торжествует. Если нет — ваше мнение сразу отбрасывается, а на лице собеседника появляется улыбка снисходительного соболезнования.

Совершенно бесполезно, между прочим, стараться вызвать советского гражданина на откровенный разговор о недостатках его страны признанием недостатков вашей собственной страны. Эти признания гостю в заслугу не ставятся, а истолковываются таким образом: «Вот видите, факты столь красноречивы, что вы сами вынуждены их признавать». Что же касается каких-либо комментариев с вашей стороны по поводу жизни и условий в Советском Союзе, то все, что не носит характера панегирика, вызывает неудовольствие и истолковывается, как явная враждебность.

Пади Шаевский, драматург и член нашей группы, заметил, что «Советский Союз похож на тех мужа и жену, которые всегда и всем рассказывают о том, как они счастливы».

Когда советского гражданина в разговоре очень уж прижмут к стенке, он ищет убежища в рассказах о страшных испытаниях во время второй мировой войны. Никто не пытается отрицать или умалять степень этих страданий. Однако большинство советских граждан как будто считают, что они были единственными жертвами нацистского террора и (забывая свой союз с Гитлером 1939-1941 годов; напоминать же о нем считается плохим тоном) единственными, оказавшими сопротивление Гитлеру.

Страшные опустошения, произведенные войной, усердно возобновляемые в памяти литературой и кино, стали универсальным alibi, безоговорочным оправданием всех эксцессов, ошибок и жестокостей, совершенных в Советском Союзе с тех пор. Так на замечание Бевана в одном колхозе, что он в Англии получает от коровы больше молока в год, чем дают украинские коровы, последовал неизбежный ответ: «Но вы ведь не подвергались нашествию Гитлера». — «Это же не те коровы, на которых напал Гитлер», — ответил Беван.

Следует еще добавить, что в верхах советского общества, в разговоре, преобладает стиль напыщенный и хвастливый. А представление о методах ведения дискуссии и вовсе отсутствует. Я вынужден был слушать, как Юрий Жуков, советский чиновник, возглавляющий отдел культурных обменов, поносил Русский центр изысканий в Гарварде за его тенденциозные и извращенные исследования советских дел. Тенденциозными и извращенными, оказалось, они были только потому, что некоторые официальные советские документы не были в них приняты в качестве последнего слова. Накануне я беседовал некоторое время с советским профессором американской истории в университете и с советским же главой американской секции в ведущем историческом институте. В этой беседе, через переводчика, они обнаружили поразительную неосведомленность как в американской истории, так и относительно ее историков (оба специалиста по Америке, например, не слышали о Ричарде Гофстадтере и об Оскаре Гандлине). Но какое значение имеет невежественность, если ключи от вселенной уже в ваших руках!

* *
*

Такой склад ума имеет одно исключительно неприятное свойство. Я путешествовал по многим странам, но нигде мне не лгали так настойчиво, так небрежно, так бессовестно, как в Советском Союзе.

Каждый понимает и ждет, что там ему будут лгать в вопросах большой государственной важности, — например, что писатели в Советском Союзе могут писать, как им заблагорассудится, или что Южная Корея напала на Северную. Эта ложь — высокополитического характера. Такого рода ложь иностранец может услышать и в Соединенных Штатах. Но тут тебе лгут в одинаковой степени и в мелочах. где и речи нет о вопросах национальной политики. В качестве иллюстрации, стоит привести один эпизод.

Родители Пади Шаевского — уроженцы одного местечка на Украине, и он надеялся, что ему удастся посетить родительский дом. Об этом он говорил в советском посольстве в Вашингтоне и в Союзе писателей в Москве. В должный срок был выработан план поездки в Киев. Там члены нашей группы должны были встретиться с писателями Украины и осмотреть город, а Шаевский поехать на автомобиле в свое местечко. За день до нашего отъезда план поездки расстроился. Союз писателей объяснил, что, мол, в Киеве в гостиницах нет свободных комнат. Мотив показался нам неубеди-

тельным. «Если бы, — горячился Шаевский, — советский писатель намеревался посетить место недалеко от Монтомери, он бы отнесся весьма подозрительно к заявлению, что в Монтомери нет свободных комнат в отелях». Он отправился в Интурист и узнал, что в Киеве сколько угодно свободных комнат в гостиницах. Будучи человеком решительным, он тут же заказал билет на нью-йоркский самолет и заявил в Союзе писателей, что улетит на следующий день, если решение о поездке в Киев не будет восстановлено до пяти часов пополудни. За несколько минут до истечения срока, комната в гостинице в Киеве была найдена.

Мы отправились в Киев. Пади Шаевскому, чтобы совершить свое паломничество и затем присоединиться к остальной группе, улетавшей, как нам заявили, «последним самолетом» в Москву, надо было уехать из гостиницы в восемь часов утра. Он должен был пять часов ехать на автомобиле до местечка, пробыть там около часа и возвратиться в Киев, чтобы успеть к самолету. Но автомобиль не приехал за ним ни в восемь часов, ни в девять, ни в десять, ни в одиннадцать.

В Киеве, в городе с миллионным населением, Союз украинских писателей не в состоянии был, по-видимому, достать машину и шофера для американского писателя, который хотел увидеть дом своих родителей. Около полудня машина, наконец, поязилась. Шаевскому дано было понять, что он уже не успеет присоединиться к остальной группе, улетающей вечером в Москву, если он поедет сейчас. Но любопытство и упорство Шаевского к этому времени достигли высшей точки, и он решил ехать во что бы то ни стало. Перед самым его отъездом был обнаружен новый, более поздний самолет на Москву. Его заверили, что если он поторопится, то еще может вернуться ночью в Москву. Он уехал. Был в дороге пять часов и попал, наконец, в свое местечко, жители которого никогда до тех пор не видели американца. Шаевского встретили с распростертыми объятьями, появились люди, еще помнившие его родителей, начались приготовления к импровизированному банкету. Но через семь минут провожатый Шаевского напомнил, что пора пускаться в обратный путь, если он хочет попасть к последнему самолету. Они бешено мчались в Киев, приехали на аэродром и узнали, что никакого самолета на Москву нет...

Зачем понадобились эти фантастические усилия, чтобы помешать Шаевскому увидеть отчий дом? Отчасти, несомненно, потому, что местечко было бедное, — и американский писатель, по их мнению, хотел увидеть его только для того, чтобы собрать материал об «отрицательных» сторонах советской жизни. Отчасти же это объясняется глубоко внедренной привычкой к фальсификации и небрежности.

* *
*

Главной задачей нашего путешествия было ознакомление с литературной жизнью Советского Союза. Встреча с писателями страны вряд ли может дать представление о структуре ее государственной власти. Но она дает некоторое, хотя и неполное, представление об интеллектуальной атмосфере страны.

Вообще говоря, присутствие делегации всегда вносит в совещание известную долю натянутости и искусственности. Откровенный, интимный обмен мнениями в этой обстановке мало вероятен, особенно, если присутствуют один или два литературных бюрократа.

Не подлежит сомнению, что после смерти Сталина в Советском Союзе допускается бóльшая свобода критики. Но в большинстве случаев свобода эта ограничивается теснými рамками семейного круга. Обычно советский писатель на все вопросы иностранцев дает ряд официальных, затасканных ответов. Исключение составляют либо считанные писатели, с настолько испорченной репутацией, что им разрешается известная широта суждений, либо одиночки-храбрецы, или циники, которым на все наплевать.

Верят ли эти люди всегда в то, что они говорят? Я вполне допускаю мысль, что они, такие непреклонные, такие нетерпимые, когда иностранцы высказывают им свои сомнения, в тайниках души эти сомнения тоже разделяют.

Делегация не имеет возможности докапываться до глубин советской культуры. Она касается только ее поверхностного слоя. Но чувствуется, что под этим слоем идет брожение. Так или иначе, даже официальная атмосфера весьма показательна.

Каждому ясно, конечно, что государство смотрит на писателя, да и сами писатели в большинстве случаев смотрят на себя, как на орудие духовного подъема советского общества. Отчасти это является естественным, патриотическим желанием принимать участие в большом общенациональном движении. Отчасти — это правительственная мера, предпринимаемая с целью дисциплинировать такую потенциально-неблагонадежную группу, как писатели.

На съезде писателей в мае Хрущев сказал:

«Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперед, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся», —

такова официальная миссия советской литературы.

Редактор руководящего культурно-просветительного журнала «Октябрь» открыл заседание с нашей группой несуразной агитационной речью, произнесенной под аккомпанимент поощрительных хихиканий его клики. Он говорил о том, как кто-то в Лондоне заме-

тил ему: «Вы хотите нас завоевать». На это редактор «Октября», по его собственным словам, ответил так:

«Какого дьявола нам нужно вас завоевывать?! Мы имеем больше природных богатств, чем любая страна в мире, больше золота, больше бриллиантов и т. д. Так за каким же чертом вы нам нужны?! Если захотите лезть в драку, то мы, конечно, померяемся силами с вами и... побьем вас. Но мы вас не хотим и вы нам не нужны.. Все, что нам нужно — это мир».

Эта речь была довольно странным вступлением к литературной дискуссии. К сожалению, она весьма симптоматична. Альфред Казин резонно заметил в ответ, что Америка, страна еще более богатая, чем Советский Союз, должна быть в таком случае, согласно аргументации редактора, еще более миролюбивой, чем СССР.

Точно в таком же духе редактор журнала «Иностранная литература» разразился обличительной речью, из всех мыслимых сюжетов избрав почему-то для своих излияний научно-фантастическую литературу. Он старался доказать, что советская научно-фантастическая литература — это результат творчества конструктивной, оптимистической нации, тогда как американская научно-фантастическая литература — продукт нации, которая страшится будущего. Редактор объяснил это тем, что Америке надо держать народ в страхе и напряженности, чтобы заставить его платить налоги, необходимые для военного бюджета, который нужен для поддержания капиталистического строя... И вот эти редакторы считаются одними из самых передовых и свободомыслящих в советском литературном мире.

Стиль, манера, с какой обсуждаются такого рода вопросы, тоже обескураживают, как и сущность их. Поистине, что может быть более верным критерием для оценки литературной чуткости общества, чем его язык, его риторика? Советская риторика груба, резка и банальна. Было неловко наблюдать, как люди, интеллигентные во всех отношениях, вытаскивают аргументы из арсенала обветшалых формул хулы и осуждения, когда дело касается общей политики или даже просто литературной дискуссии.

Эта одержимость политической целеустремленностью и ее эффективность создала в Советском Союзе культ масс. Один из самых видных советских писателей сказал нам, что тысячи незатейливых писем от читателей его книг принесли ему больше пользы, чем самая глубокомысленная литературная критика. Один поэт хвастал, что получил сорок тысяч писем по поводу одного только своего стихотворения. Может ли это быть? Если этот поэт прочитал, как он утверждает, все эти письма, ему понадобилось на чтение их пять с половиной месяцев, считая по две минуты на письмо при восьмичасовом рабочем дне. Когда же, спрашивается, было у него время еще и сочинять свои стихи?

Такие заявления показывают, до какой степени культ масс поощряет, так сказать, количественный подход к литературе. Литераторы выполняют норму, как фабричные рабочие.

Заметки следующего характера часто встречаются в советской литературной прессе: между третьим и четвертым съездами Союза украинских писателей (1954-1959) опубликовано 65 новелл, 118 рассказов, 193 сборника статей, 295 томов стихов, 268 детских книг. Было поставлено около 70 новых пьес... Только за прошлый год на Украине было опубликовано больше 1.000 названий с общим тиражом в 40 миллионов.

Сознание политической миссии вызывает острую настороженность по отношению к литературным догмам. «Социалистический реализм» еще до сих пор является главной темой обсуждения в среде рядовых советских писателей. На недавней конференции о «Проблемах социалистического реализма» (организованной Союзом советских писателей и Институтом всемирной литературы им. Горького) один из выступавших заявил: «Вопреки утверждениям иностранных ревизионистов, метод социалистического реализма не только существует, но все больше развивается и обогащается. Просто смехотворны попытки некоторых буржуазных идеологов, утверждающих, что социалистический реализм был «декретирован» властью, был «навязан» советским писателям. На самом же деле история литературы и искусства указывает на то, что путь для этого творческого метода был подготовлен всем предшествующим развитием человечества и является только новым этапом его развития».

На практике, однако, социалистический реализм обнаруживает тенденцию обратиться в весьма эластичную концепцию. Можно даже сомневаться, существует ли он в действительности. Один старый писатель, циник, в беседе с нами заметил, что социалистический реализм — это собственно только то, что одобряется публикой. Но доктрина эта все же продолжает волновать умы советских писателей. И рядом с ней выступают остальные атрибуты, подвластные советскому литературному контролю: «положительный герой», обязательный «оптимизм», счастливый конец.

На съезде писателей Хрущев встал на сторону «положительных» писателей, так называемых «лакировщиков». Он сказал и следующее:

«Кто же эти нелакировщики? Некоторые из них говорят, что главная задача литературы состоит будто бы в том, чтобы выискивать всевозможные пороки и недостатки, игнорируя при этом великие завоевания советского общества. Так слушайте, дорогие друзья, уж если кто вскрывает и обнажает недостатки и пороки, у кого при этом рука не дрогнет, так это делает партия, это делает Центральный Комитет. (Бурные аплодисменты)».

В другом месте своей речи Хрущев благосклонно выразил терпимость к литературному мастерству и надежду, что писатели скоро сами будут решать свои проблемы (т. е. — что они заменят правительственную цензуру самоцензурой). Все же его основной аргумент не оставляет никакого сомнения в том, насколько ограничена роль писателя в советском обществе.

Советское представление о писателе, как об артиллеристе, об инженере душ, о воспитателе масс, как о чем угодно, кроме как только о писателе, должно быть понятно, если мы хотим понять, что подразумевает Советский Союз под «культурным обменом». Это отнюдь не означает свободного обмена идеями. Это скорее ряд взаимных торговых соглашений, — в силу их некоторые пригодные идеи одной стороны обмениваются на пригодные идеи другой стороны.

Редактор журнала «Октябрь» заверил нас, что впечатление, будто Советский Союз относится безразлично к идеям Запада, совершенно не соответствует истине:

«Мы охотно готовы перенять у вас все конструктивное и ценное, что вы можете нам предложить, скажем, в агрономии, металлургии, в инженерном строительстве, в областях, в которых Запад может нам чем-нибудь пригодиться».

Намек этого заявления, сделанного в обращении к американской делегации писателей, достаточно ясен: Советскому Союзу нечему учиться у литераторов, редакторов, критиков и историков. Поэтому гостю-иностранцу — научному работнику или инженеру — обеспечены теплый прием и внимание. Даже экономист находит внимательную аудиторию для обсуждения технических проблем в управлении хозяйством. Но «сливки» советского общества не больно-то интересуются гостем-гуманистом, который не может им дать никакой технической информации и которому нечего терять, кроме своих идей.

Непреложные факты свидетельствуют о том, что меньше всего Советский Союз заинтересован в свободном обмене идеями. Ничто, например, — учитывая помпезную самоуверенность советского режима, — не озадачивает больше, чем тревога, даже страх, который вызывает у советских граждан одна мысль о возможности продажи в СССР иностранных книг, журналов и газет.

Иностранец в Москве, доведенный до медленного умопомешательства попытками представить себе, читая «Дейли Уоркер» и «Юманите», что происходит на свете, скоро начинает допытываться, почему он не может купить лондонские газеты «Таймс» и «Дейли Телеграф» или «Нью-Йорк Таймс» и «Геральд Трибюн»? Посольства, правительственные учреждения и некоторые библиотеки

получают иностранные газеты и журналы. Но тщетны попытки обыкновенного иностранца или советского гражданина получить доступ к некоммунистическим изданиям. Почему?

Мы говорили советским писателям, что охотно повели бы их по книжным магазинам Вашингтона, Нью-Йорка и Лондона, где они могли бы без помехи купить «Правду», «Известия», советские журналы и книги. Почему, спрашивали мы, они не могут повести нас в такой же магазин в Москве? Наши вопросы нисколько не тронули их. По-видимому, дорога в одном направлении воспринимается ими, как вполне правильная и естественная.

Настойчивые повторения этого вопроса привели к любопытным результатам. Два выдающихся советских писателя, объясняя каждый отдельно, почему в Москве нельзя продавать лондонские и нью-йоркские газеты, привели один и тот же аргумент. Оба ссылались на киоски, которые они считают типичными для Запада — один в Ницце, другой в Нью-Йорке. Из их мрачного, временами со смакованием описания мы узнали, что эти киоски продают исключительно порнографическую литературу. «Вот что вы хотите сделать с нами, — высокопарно изрекали советские писатели. — Вы хотите, чтобы мы приняли ваши западные непристойности и вашу грязь. Так знайте же, что мы этого не допустим! Мы не станем развращать наш народ, как капиталисты развратили ваш». Мы ответили, что Советский Союз может выбросить всю порнографию, но что газета «Таймс» отнюдь не рассадник порнографии.

«Давайте, — вкрадчиво настаивали мы, — говорить только о серьезных книгах, журналах и газетах. Почему их нельзя продавать?» На это последовал ответ, со все усиливающимся раздражением: «Мы же сказали, что не хотим вашей грязи. Вы хотите силой навязать нам ваши западные идеи. Но они нам не нужны. Поймите...» — и т. д. и т. д.

Приводится и другой аргумент в защиту запрета продажи иностранных изданий: «Еще не настало время». «Советский народ — еще растущий ребенок, а для ребенка следует выбирать материал для чтения, пока он достигнет зрелости». Значит, надо понимать так, что наличие в московских киосках западных газет некоторым образом ставит под угрозу устойчивость советского режима.

Замечание наше, что теория о сорокадвухлетнем младенце не убедительна и что советский режим настолько прочен, что ему нечего опасаться разрешения на продажу нескольких сот экземпляров «Нью-Йорк Таймс» в день, вызвало со стороны собеседников новый взрыв гнева и непоследовательности. Чем это объяснить? Раздражаются ли они потому, что понимают, как слабо и глупо звучат их аргументы? Или они действительно считают, что западные газеты и журналы представляют угрозу для их режима?

Ни то, ни другое предположение, по-моему, не верно. Я считаю, что в них говорит чувство уверенности в непогрешимости их собственных идей и раздражение, вызываемое непониманием или макиавелизмом Запада.

«Наш народ не хочет есть плохой пищи, отравленной ядом буржуазных идей, — сказал недавно Хрущев. — Будем брать друг у друга только самое лучшее, обмениваться только самым лучшим, а вашу гниль ешьте на здоровье сами».

Пока Советский Союз остается телеологическим обществом, основанным на принципе непогрешимости, он не разрешит распространения скептицизма и ереси Запада, и будет гордиться своим запретом.

Такой склад ума является психологическим выражением того, что так живо ощущается в Советском Союзе — безграничного, надменного сознания власти. Большое и в то же время жуткое впечатление создается, когда наблюдаешь, какую энергию может проявлять великая нация, если она направляет на что-то определенное свои таланты и свои ресурсы. И когда она делает это согласно рациональной системе строго принудительного приоритета: принудительного не просто беспощадным насилием (как при Сталине), а беспощадным энтузиазмом.

В этом отношении неопытному гостю следует быть настороже. И в ложное положение попал тот американский турист, который воскликнул в вестибюле гостиницы «Украина»: «Эти люди не могут достать мне билета даже в Одессу, как же кто-нибудь может поверить, что они могут добраться до луны!» Этот турист наивно полагал, что обслуживание потребителя — наивысший критерий экономической и административной эффективности.

У Хрущева таких иллюзий нет. Советские руководящие органы считают чрезвычайно важным запуск ракеты на луну и не столь важным снабжение туристов билетами в Одессу. Соответственно они распределяют свои таланты и свои ресурсы: способные люди работают по созданию ракет, а растяпы — по продаже билетов. И невольно думается, что если бы они когда-нибудь решили, что продажа билетов в Одессу является для них важной необходимостью, то простой переброской сил они сделали бы Интурист самым лучшим бюро путешествий в мире.

Наша собственная дорогая страна ударяется в другую крайность. Мы допускаем, чтобы спрос определял наш национальный приоритет. Это значит, что мы уделяем бóльшую часть своих талантов и ресурсов для обслуживания потребителя, а запуск ракет на луну оставляем в руках людей, которым было бы сподручнее продавать билеты. Если бы три четверти национальной энергии, которая идет

сейчас у нас на удовлетворение потребителя, было бы обращено на укрепление национального могущества, нам теперь нечего было бы опасаться советской кампании «догнать и перегнать Америку».

Всего каких-нибудь четыре года назад Джон Фостер Даллес заверил американские правительственные круги, что Советский Союз находится на краю катастрофы. А сейчас Советский Союз выиграл соревнование по полетам на луну; Хрущев недавно закончил свой триумфальный тур по Соединенным Штатам, где американский министр обороны признал, что в начале 60-х годов Советский Союз будет иметь преимущество в ядерном оружии будущего в пропорции 3 : 1.

В любой отрасли национального могущества Советский Союз обнаруживает непреклонную волю, прогресс и успех. И именно в его планированном использовании национальной энергии кроется объяснение чрезмерного советского самоуважения. Не удивительно поэтому, что русские чувствуют себя «на коне»: повседневный опыт подтверждает их веру в то, что их идеология дала им исключительную власть над динамикой истории.

В 1930 году Сталин написал свою знаменитую статью для «Правды». «Люди, опьяненные одними достижениями за другими, — писал он, — подвержены головокружению от успеха, теряют всякое чувство пропорции и способность понимать действительность».

Россия Хрущева испытывает головокружение от успехов, о котором Россия Сталина могла только мечтать.

* *
*

Вся сила телеологических тенденций в Советском Союзе становится понятной только после посещения Польши и Югославии. Переезд из Москвы в Варшаву создает иллюзию перехода в свободную страну. Но это, конечно, только иллюзия. И Польша и Югославия — страны диктаторские, в которых конформизм навязывается (особенно в политике и экономике) с такой же решимостью и суровостью, как в Советском Союзе. Все же посетитель чувствует себя в иной культурной атмосфере. Сначала это воспринимается, лишь как знакомые признаки западного декадентства: красивые девушки, тонкие талии, чистильщики сапог, галстуки, социологи, афиши и прочее. Но все это в основе своей выражает существенно иное отношение к коммунизму. Посетитель входит в гостиницу в Варшаве — в киоске лежат лондонские и нью-йоркские газеты «Таймс» и «Лайф». Здесь коммунизму едва десять лет, а не сорок два, тем не менее власти не побоялись страшного риска и выписывают некоторые иностранные газеты и журналы.

Как-то вечером знакомый повел меня в кафе-читальню на окраине Варшавы. Там на столах для каждого желающего читать лежало много не только восточноевропейских газет, но была представлена и «порочная» капиталистическая пресса, со множеством экземпляров иллюстрированного журнала «Лайф» включительно. Во Дворце культуры (отвратительный небоскреб, подаренный Сталиным польскому народу) можно найти почти все англо-американские книги, за исключением только резко антикоммунистических.

В Советском Союзе коммунизм — ряд не только политических и экономических, но и одинаково суровых моральных, эстетических, литературных и метафизических догм, обнимающих все стороны человеческой жизни. Хороший советский коммунист не только одобряет коммунизм, как форму политической и экономической организации, — он также ненавидит абстрактное искусство, не любит современной музыки, высмеивает Пруста и презирает религию. А в Польше, в день моего приезда, в Варшаве открылась выставка современного польского искусства: она почти сплошь состояла из полотен абстрактной живописи. Польский коммунист рассказал мне, что посетивший его недавно русский коммунист, увидев такое же полотно у него на квартире, воскликнул с возмущением и изумлением: «А я думал, что вы хороший коммунист!»

Через неделю открылся в Варшаве международный фестиваль современной музыки, с додекафоническими квартетами Шенберга и еще более таинственными произведениями Булеза. В передовом коммунистическом еженедельнике печаталась серия выдержек из произведений Пруста. Когда кто-то спросил о социалистическом реализме, польские писатели ответили, что об э т о м уже пять лет никто в Польше не говорит.

В предисловии к книге на английском языке о любимой польской художнице Мае Березовской говорится, что «мир рисунков Маи Березовской свободен от грубых страстей нашего времени, от волнений и тревог современного человека, живущего в эпоху войн и переворотов» (эти слова, следует заметить, написаны не в осуждение Березовской). Костелы открыты, монахи в средневековом облачении гуляют по улицам и предметы религиозного обихода свободно продаются в магазине.

Почти то же самое замечается в Югославии, только с некоторыми вариациями. Об этих вариациях говорит одна польская шутка: «Какая разница, спрашивают, между Польшей и Югославией? В Югославии можно ругать Советский Союз, сколько душе угодно, но ничего нельзя сказать против собственного правительства. В Польше же дело обстоит как раз наоборот».

Я как-то сказал одному поляку о количестве анекдотов, слышанных мной со дня приезда в Польшу. «Да, — ответил он, — у нас

множество анекдотов; в конце концов, мы должны сочинять их для всего коммунистического мира».

Создается впечатление, что в Польше, по-видимому, больше интеллектуальной свободы, чем в Югославии. С другой стороны, в Югославии, очевидно, больше экономической свободы, чем в Польше.

Случайный посетитель не может определить, что действительно в таких югославских институциях, как советы рабочих, и что в них — одна бутафория. И остается сомнительным, чтобы высоко развитое технологическое общество могло вестись таким образом. Однако, не подлежит сомнению, что «свободнорыночный социализм» югославов — это подлинная действительность, очень умело и ловко продуманная система, дающая возможность подчинять требования рынка центральному контролю.

Человеку, приехавшему из страны с теологическим обществом, свойственно несколько преувеличивать прагматизм и терпимость югославского коммунизма. А. М. Розенталь, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Варшаве, настаивает на необходимости делать различие между «свободой разговора» и «свободой слова». Поляки имеют первое, но не имеют второго. Обе некоммунистические партии не играют значительной роли в польской политике.

В Югославии однопартийная система прочно внедрена. Тюремное заключение Милована Джиласа служит напоминанием о резких ограничениях свободы мнений в Югославии. Никто не может считать Польшу и Югославию свободными обществами в западном смысле, но они явно не общества тоталитарные в советском смысле. «Свобода разговора» — это еще не все, но это лучше, чем ничего. Для югославов и, возможно, даже в еще большей степени, для поляков, коммунизм по существу своему — это система политической и экономической организации. Хороший коммунист должен искренне признавать диктатуру пролетариата, однопартийный государственный режим, планируемую центром экономику и упразднение прибыли в частном предпринимательстве. Это почти все. Дальше этого хорошему коммунисту может нравиться или не нравиться абстрактное искусство, он может восторгаться Шолоховым или Прустом, мыслить о литературе в эстетических терминах и об экономике в эмпирических и его мало трогает вопрос о том, ходит его соотечественник в церковь или нет.

Связь с такими людьми опять становится возможной. Если вы даже соглашаетесь с советскким коммунистом, вы чувствуете, что случайно сошлись с ним над необъятно широкой, разделяющей вас пропастью. Если вы расходитесь в мнениях с польским или югославским комунистом, что случается часто, вы знаете, что, не соглашаясь, вы все же говорите с ними на одном языке.

В Советском Союзе догма дает точный ответ на все. Поляки и югославы готовы допустить, что они не знают всех ответов, или что существующие формулы не разрешают всех возможных проблем. Советский Союз живет мистикой единой истины; в Польше и в некоторой, хотя меньшей, степени в Югославии, чувствуется, что марксистская истина сосуществует с другими истинами. В польских университетах польские историки уживаются с католическими и буржуазно-прогрессивными историками.

Советский Союз продолжает быть тоталитарным обществом, хотя и более дружелюбным, чем в дни Сталина, но не менее догматичным и подчиненным одной идеологии. Польша и Югославия — общества полуплюралистические. Они гордятся тем, что их коммунизм более свободный, прагматичный, гуманный (т. е. менее коммунистический), чем где бы то ни было.

Польша и Югославия заставили данного наблюдателя признать возможность существования того, что он до сих пор считал невозможным — либерального коммунизма. Обе страны совмещают коммунистическую экономическую и политическую структуру со значительной мерой интеллектуальной, культурной и религиозной свободы. Весь вопрос сводится только к тому, является ли происходящее в Польше и Югославии результатом случайного стечения обстоятельств, результатом, который вряд ли может повториться в другом месте, — или коммунизм польского или югославского типа — не тоталитарный, не фанатичный — мог бы стать направлением, по которому пойдет и Советский Союз?

* *
*

Польша и Югославия дошли до своего теперешнего положения разными путями. Югославия добилась освобождения во время войны. Тито имел свою армию и тайную полицию — он был, следовательно, в состоянии оказать открытое неповиновение Сталину, когда советские требования стали чрезмерными. После 1948 года Югославия предприняла то, что югославы с гордостью называют в настоящее время «первым опытом десталинизации».

Джилас впоследствии довел титоизм до точки, неприемлемой для Тито, но этот факт не должен заслонять того, что сам Тито довел его до степени, неприемлемой для Сталина. В настоящее время Тито как будто отступает на задний план. Он — первый в войне и первый в мире, вроде Джорджа Вашингтона. Но он проводит все больше и больше времени в Бриони и все меньше в Белграде и югославы не стараются угадывать его настроение, как русские настроение Хрущева, а поляки Гомулки. Чувствуется, что в Югославии развивается

какой-то конституционный порядок и что теперешняя смесь свободы и диктатуры может вынести многое, даже смерть Тито.

Польша приобрела свою автономию другим путем. Оккупация Красной армией ограничила возможность политического выбора. Однако сталинизм вызвал такую же вполне определенную реакцию в Польше, как и в Югославии. Слово «революция» в Польше сегодняшнего дня относится не к установлению коммунистической власти в 1945 году, а к бунту против Сталина в 1956 году. Этот бунт выдвинул на первый план проницательного и ловкого Гомулку. Польша сегодняшнего дня — это результат двух основных сделок Гомулки: одной — с Советским Союзом, другой — с польским народом. Этот курс, предпринятый им, был почти неизбежным результатом географической и культурной позиции Польши. С одной стороны, география связывала Польшу с Востоком, и даже поляки-антикоммунисты были вынуждены принять во внимание требования стратегического положения Польши. С другой стороны, культура связывала Польшу с Западом и даже прокоммунистические поляки не могли не считаться с требованиями польского культурного наследства. Это соотношение императивов и определило задачу Гомулки.

В отношении к Советскому Союзу Гомулка обменял независимость польской внешней политики на известную меру свободы дома, особенно в отношении к интеллигенции, католической церкви и крестьянам. В пределах Польши Гомулка предложил народу сферу относительной свободы взамен за признание коммунистической власти и просоветской внешней политики. Вот это равновесие неписанных договоров и составило основу польской автономии, и основу менее шаткую, по-видимому, чем это может показаться с первого взгляда.

Ясно, что Польша и Югославия пришли к своим формам либерального коммунизма различными путями. Останутся ли они единственными? Или (как думают поляки и надеются югославы) и Советский Союз может развиваться в направлении либерализма и плюрализма?

* *

Я описал Советский Союз, как телеологическое в основе своей общество, ведомое коллективом истинно верующих. Я высказал предположение, что прогресс последних шести лет в отношении большей личной свободы и личного комфорта мог скорее укрепить, чем ослабить догматический и идеологический характер советского общества. Но, спрашивается, нет ли трещин в самой советской куль-

туре? И нет ли в Советском Союзе признаков, которые подтверждали бы убеждение поляков, что десталинизация в нем с течением времени логически должна привести к детоталитаризации?

Самое глубокомысленное замечание я услышал от одного из наиболее опытных советских писателей. Вот что он сказал мне: «В СССР дедушки и внуки имеют больше общего, чем отцы и дети». Этим он хотел выразить мысль, что люди, выросшие еще до революции, и уже после второй мировой войны, испытывают больше взаимных симпатий и понимания, чем эти же люди с теми, которые выросли в промежутке между войнами. Согласно старым представлениям Запада, дети в тоталитарном обществе, подверженные с колыбели систематической индоктринации, должны превратиться в самую ортодоксальную, в самую суровую, самую безнадежную группу этого общества. Вспоминается Глеткин в пьесе Кестлера («Тьма в полдень»), этот типичный советский человек, с железной волей, фанатичный и непреклонный, который перенял ведение дела от старшего судебного следователя и в конце концов сломил Рубашева. Мы полагали, что с течением времени Советский Союз будет состоять сплошь из таких Глеткиных.

Обрисовка Кестлера в основе своей была верна по отношению к поколению, выросшему между войнами. Теперешние верхи советского общества состоят из разных типов этого монолитного советского человека в пожилом возрасте. Но чего никто из нас не учитывал раньше и что становится очевидным сейчас — это то, что сыновья и дочери Глеткиных обращаются против своих отцов. Монотонный образ жизни им до смерти надоел, смущает их покой, вызывает мятежные чувства. Они начинают стремиться к красоте и веселью, гонятся за скоростью и риском, тянутся к автономии и частной жизни, к самовыявлению. И не исключена такая возможность: вместо того, чтобы революция пожрала своих детей, кончится тем, что эти дети пожрут революцию.

* *
*

Характер нынешнего брожения требует точного определения. Это не бунт против коммунизма. Советские молодые люди в такой же степени коммунисты, в какой европейские и американские — христиане. Коммунизм для них — общественный строй, а не живая, воинствующая вера их отцов. Коммунизм руководит повседневной деятельностью советской молодежи не больше, чем христианство — деятельностью западной молодежи. Суровому и бесплодному догматизму своих отцов советская молодежь (значительное ее меньшинство, во всяком случае) стремится противопоставить конкретность,

многообразие и непосредственность. Эти мятежники принимают политические и экономические формы жизни, как нечто незыблемое. Их собственные политические воззрения — туманны и сентиментальны. Но их раздражает моральный и эстетический догматизм абсолютной коммунистической идеологии, и они тем или иным путем стремятся выйти из его рамок.

Хрущев во время своей поездки по Америке сказал:

«Молодые люди любопытны. Многие из них слышали о религии, о Боге, о святых, о церковных обрядах и это им любопытно. Если каждый из них пойдет в церковь только один раз, их так много, что двери церквей никогда не закрываются. Чувство любопытства очень важно».

Это чувство действительно очень важно. И весьма показательно, что Хрущев, хотя он и диктатор, понимает настроение молодежи и признает его важность. Неоднократно он подчеркивал разницу между самодовольной уверенностью пожилых людей и восприимчивым энтузиазмом молодых.

Когда признанный в своей области советский авторитет поносил члена нашей делегации Альфреда Казина за неправильную оценку Теодора Дрейзера, после собрания к Казину подошел студент и сказал по-английски: «Надеюсь, вы не думаете, что мы так же мало либеральны, как он». Когда Леонард Бернштейн и Нью-йоркский филармонический оркестр впервые за тридцать лет исполнили в Москве «Sacre du Printemps» Стравинского, отклик партера (занятого «первым классом») был сдержанным. Но галерка, набитая молодежью, устроила Стравинскому и Бернштейну бурную овацию. На американской выставке молодые художники собирались возбужденными группами вокруг абстрактных полотен, в то время как Хрущев, со свойственной ему деликатностью, сказал, что картины эти выглядят так, будто они нарисованы маленьким мальчиком, который мочится на песок.

Молодые и старые — против людей средних лет. Никто не знает, что происходит под поверхностью советской культуры. Но время от времени прорывается кое-что, намекающее на брожение в глубине.

Так в майском номере «Литературной газеты» старый писатель К. Паустовский (дедушка) резко критиковал официальные советские взгляды на литературу. Он с презрением нападал на традиционный приторно-сладкий, счастливый конец:

«Хорошо, что Лев Толстой успел написать «Анну Каренину» до появления этой традиции. Он не должен был никому, даже издателю, делать «комплимент» и позволил Анне разрушить семью и умереть из чисто личных и потому недопустимых соображений».

Сравните это с советским требованием «позитивных достижений», на которых настаивают —

«с таким упорством, будто бы надо каждому советскому читателю доказать преимущества нашего строя (это на сорок втором году его существования!) перед строем капиталистическим, будто бы мы сами в этом сомневаемся и удивляемся этому, как некоему неправомерному чуду».

Советская литература боится писать о страданиях и горестях — «будто вся наша жизнь должна нестись под карамельным небом».

Что касается деградации звучного, образного русского языка, — вот что говорит об этом Паустовский:

«Бережем ли мы этот язык? Нет, не бережем! Наоборот, язык все больше загрязняется, переламывается и сводится к косноязычию. Нам угрожает опасность замены чистейшего русского языка скудоумным и мертвым языком бюрократическим. Почему мы позволили этому тошнотворному языку проникнуть в литературу? Почему допускаются в литературу и даже принимаются в Союз писателей люди, не знающие русского языка и совершенно равнодушные к нему?»

Заключение Паустовского кратко и замечательно:

«Может быть, мы так много и громко кричим о правде в литературе именно потому, что ее нам не хватает».

Нам не удалось склонить ни одного из советских писателей (за исключением Эренбурга) к тому, чтобы они обсудили с нами вопросы, затронутые Паустовским. Но ясно, что вопросы эти в среде советских писателей обсуждаются. Очевидно, Паустовский говорит не только от имени тех, которые, как он сам, еще помнят европейскую культуру в дореволюционной России. Он говорит также от лица молодых мужчин и женщин, тоскующих по таким формам выражения и творчества, которые могли бы отражать не официальную идеологию, а их личный опыт жизни.

* *
*

Это брожение среди молодежи, по-моему, дает надежду на развитие Советского Союза в прагматическом и плюралистическом направлении. И хотя товары широкого потребления сами по себе творить чудес не могут, чувствуется тем не менее, что движение в направлении к потребительскому обществу в конечном итоге начнет разъедать догматический монолит.

Нет сомнения в том, что Хрущев поставил себе целью дать стра-

не изобилие потребительских товаров. Вопрос только в том, сможет ли нынешняя советская энергия, способная наращивать в первую очередь национальную мощь, выдержать переход к потребительскому обществу? Или страсть к предметам широкого потребления подорвет систему приоритетов и истощит усилия советской экономики, направленной теперь на создание национальной мощи?

В Советском Союзе уже можно видеть исключительное внимание к вкусам потребителей. Улицы Москвы полны двухцветными автомобилями. Над московскими домами поднимаются антенны телевизоров. Русские девушки стоят в очереди за чешской обувью в итальянском стиле. Директор телевидения в Москве, говоря о возможностях обмена программами между Англией и Советским Союзом, заметил: «Может быть, можно будет показывать на Московском спортивном стадионе футбольные матчи между русскими и английскими спортивными командами. Если будет конференция на верхах — это тоже представляет интерес». В конечном счете, это стремление дать народу предметы широкого потребления, может поработить Советский Союз, как оно уже поработило Америку.

Поляки претендуют на то, что их пример имеет большое влияние на Советский Союз. К сожалению, должен заметить, во время нашей поездки по Советскому Союзу мы никогда, ни от кого не слышали упоминания о том, что происходит в Польше. Все же самым необходимым условием победы польских и югославских тенденций является смягчение международного напряжения. Возобновление холодной войны с корнем вырвало бы зачаточные ростки в Советском Союзе, поставило бы в опасность зарождающийся либерализм в Польше и, вероятно, остановило бы дальнейшее стремление к свободе в Югославии.

* *
*

Много неискреннего сказал Хрущев в Соединенных Штатах. Но наименее неискренее, за что он подвергся наибольшим нападкам, было им сказано в его речи на заседании ООН.

Ясно, что Хрущев предпочел бы разоружение на таких условиях, которые ослабили бы его сторону меньше всего, а другую сторону больше всего. Нужно признать, что мы ищем точно таких же условий. Тем не менее, его желание détente*) может быть вполне искренним. По-моему, делают большую ошибку, полагая, что нет «существенной разницы» между Россией Сталина и Россией Хрущева. Сталину для его целей необходимо было международное напряже-

*) сосуществования

ние. Только висящая над головой внешняя угроза могла заставить народ мириться с его дикой тиранией. Уменьшая внутреннюю тиранию, Хрущев тем самым уменьшает желательность для себя кризисов во внешнем мире.

Мне кажется безусловно неправильной тактика Запада, практиковавшаяся вплоть до последнего времени: применять к Хрущеву методы, выработанные в эпоху Сталина. Я полагаю, что Хрущев вполне искренне ищет ослабления напряженности уже по одному тому хотя бы, что он глубоко убежден в победе коммунизма при мирном соревновании во всех областях человеческой деятельности. Никто на Западе не стал бы искать такого ослабления напряженности, которое ставило бы под угрозу какие-либо существенные интересы Запада. Но несомненно, что одним из самых сильных аргументов в пользу détente является тот факт, что ослабление напряженности могло бы дать шанс силам плюрализма и терпимости подорвать идеологический догматизм советского общества.

* *
*

Несколько недель пребывания за железным занавесом напоминает нам о ненадежности наших абстракций. Коммунисты, да и мы сами, слишком легкомысленно поделили мир на «демократический» или «капиталистический», на «социалистический» или «коммунистический» лагери. Мы все предполагали, что эти платонические сущности более «реальны», чем результаты конкретного опыта современных обществ.

Наше время больше всего нуждается в освобождении от фанатизма абстракций и в новом подходе к эмпирическим реальностям жизни. Мы готовы признать, что платоническая сущность «капитализма» не соответствует многим изменениям, непрерывно происходящим в нашей экономической системе.

Совсем недавно Генри Кэбот Лодж, обращаясь к Хрущеву и к нью-йоркскому Экономическому клубу, отбросил в своей речи официальную американскую догму святости и неизменности свободной частной инициативы: «Разница между ранним капитализмом, анализированным Марксом (Лодж допускает, что анализ был отчасти правилен), и нашей модерной системой экономического гуманизма так велика, как разница между черным и белым». Дальше он говорил и о том, что «американцы живут в государстве благоденствия», в котором «частная инициатива процветает наряду с вмешательством федерального правительства во все большие и малые дела нашей жизни».

Большинство из нас соглашается с Лоджем в том, что капитализм — это не единая зафиксированная структура; он охватывает раз-

ные политические и экономические институции. Мы должны обратить внимание на то, что и абстрактное понятие тоталитаризма далеко не соответствует склонной к неточности реальности.

После войны в мире, потрясенном ужасами нацистских концентрационных лагерей и напуганном фанатизмом сталинского коммунизма, легко было воспринять образ тоталитаризма в виде всепоглощающего выражения абсолютной власти. Но человеческая натура слишком упорна и неподатлива, чтобы можно было бесконечно властвовать над ней каким-либо известным до сих пор способом, кроме способа физического уничтожения. Этот способ, конечно, тоже есть, и безумец Гитлер и престарелый Сталин его применяли. Но они никогда не могли бы убить столько людей, чтобы сделать жизнь в их кошмарных обществах безопасной. В конце концов они сами погибли.

Диктатор, останавливающийся перед физическим уничтожением своих оппонентов, должен разрешить им жить. Как только он разрешает им жить, он тем самым нарушает незыблемость своего тоталитаризма и дает опасному для него стремлению к нормализации проникнуть в свое общество. Кажется, что тяга к нормальной жизни — чувство слабое и неясное. Но оно мало-помалу может расколоть монолит, как плющ раскалывает гранитную скалу.

Мы предполагали во время войны, что нацистская Германия — выражение чистейшего тоталитаризма. Впоследствии мы узнали, что она подтачивалась интригами, как византийский двор. Мы допускали одно время, что Советский Союз еще более тоталитарен, чем Германия. После смерти Сталина Советский Союз начал отбрасывать много лишнего и неразумного, что мы считаем самой сущностью коммунизма. И мы узнаем сейчас, что власть советов, хоть и достаточно страшная, отнюдь не сверхъестественна.

Польша и Югославия осложняют анализ коммунизма еще больше, примерами того, что является функциональным, не тоталитарным, полулиберальным коммунистическим обществом.

Мы должны перенести наше внимание с сущности вещей на действительно существующее. Жизнь значительно сложнее наших категорий. В нашем столетии, например, «капитализм» выжил только благодаря внесению в него сильной дозы «коллективизма», а «коллективизм» в свою очередь выжил благодаря примеси значительной доли «капитализма».

Мы должны отбросить мистику принципа «или-или» и начать вести мир снова к интеллектуально здоровой психике.

Вопрос будущего заключается в том, сумеет ли разумная политика Запада содействовать эволюции Советского Союза по путям, уже намеченным Польшей и Югославией. Но может быть, традиция

непогрешимости так глубока и безнадежна в Советской России, что она помешает ей выбраться из своего идеологического безумия?

Советский Союз переживает в настоящее время «головокружение от успехов». Но если силам, стремящимся в нем к человеческой нормальной жизни, силам хотя бы и слабым, но неотразимым, предоставить время, мир и развитие на Западе, они, возможно, начнут оказывать свое действие.

Даже в Советском Союзе висит еще в имении Л. Н. Толстого, в спокойной, тихой и прекрасной Ясной Поляне, портрет Вильяма Ллойда Гарисона, поборника освобождения негров в Америке, с надписью: «Свобода для каждого, для всех и навсегда».

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО **В. Ц.**

Статья известного американского публициста и историка Артура Шлезингера-младшего была напечатана в английском журнале «Энкаунтер» (январь 1960 г.). Эта статья — своего рода отчет о поездке делегации американских писателей в Советский Союз, предпринятой по соглашению о так называемом «культурном обмене» между СССР и США.

Хотя автор и указывает на недостаточность своих наблюдений, для русского читателя его статья представляет несомненный интерес, в особенности как свидетельство о западных взглядах на происходящее в Советском Союзе, к тому же свидетельство такого вдумчивого и серьезного наблюдателя, как автор этой статьи. Несмотря на краткость его пребывания в нашей стране, ему удалось подметить немало характерных черт в поведении нынешнего руководящего советского слоя и по-своему объяснить причины такого поведения. Он излагает, правда, с оговорками (их стоит подчеркнуть), и свои соображения о возможном развитии нашей страны по пути нормализации положения в ней, что тоже представляет большой интерес.

Русский читатель вряд ли согласится со всеми мнениями автора, с некоторыми согласится тоже с оговорками. Нельзя, например, не заметить известного влияния на автора распространяемых в Советском Союзе официальных взглядов. Так, он как бы соглашается с тем, что диктатура Сталина была «плохим временем» лишь в последние годы его жизни, что целиком совпадает с официальным мнением руководства КПСС, но противоречит действительности. Такие влияния есть в статье и в отношении других фактов, что может приводить к искажениям в оценке их.

Оговорки нужны и к заключительному выводу. Автор пишет о необходимости «освобождения от фанатизма абстракций» при пользовании такими терминами, как «коммунизм», «тоталитаризм» или «капитализм», так как эти абстракции не соответствуют «склонной к неточности реальности»; он предлагает «отбросить мистику принципа 'или-или' и начать вести мир к интеллектуально здоровой психике», не применяя «к Хрущеву методы, выработанные в эпоху Сталина». Эти в основе своей верные соображения о необходимости трезвой политики, когда они воспринимаются слишком прямолинейно, на практике часто приводят на Западе к развитию противоположных абстракций, что ведет не к ослаблению, но к усилению напряженности в мире, очевидно, по-прежнему, хотя бы и несколько под другими флагами, необходимой руководству КПСС. В результате, это помогает не переходу нашей страны на путь здоровой эволюции, а укреплению диктатуры руководства КПСС и усилению его экспансии, на которую Западу приходится лишь отвечать. И события нынешнего года, начиная со срыва Хрущевым конференции глав правительств в Париже, наглядно подтверждают, что такое восприятие требований трезвой политики на деле может оказываться противоречием требованиям трезвости.

Эти попутные замечания, однако, не снижают ценности данной статьи.

Редакция

САТИРА
ЮМОР

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Предусмотрительный лев

Цезарь подал знак. Решетка поднялась и из черного подземелья послышалось усиливающееся рыканье зверей. В середине арены христиане прижались друг к другу. Зрители вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Хриплый рев нарастал, как лавина. Возбужденные крики. Вопли ужаса...

Вооруженный длинным копьем, сторож Кай следил, чтобы все звери вышли на страшное игрище. Он уже собирался облегченно вздохнуть, как вдруг заметил, что у самых ворот лежит лев, — видимо, он не спешил на арену и спокойно грыз свеклу. Кай выругался; на него была возложена забота о том, чтобы ни один зверь не бездельничал. Он подошел, уколол льва копьем в зад, чтобы разъярить. К его удивлению, зверь только оглянулся и помахал хвостом. Кай уколол сильнее.

— Проваливай, — сказал лев. Кай почесал затылок: что за притча? Лев ясно давал понять, что не хочет злиться.

— Ты же не обязан сразу терзать кого-нибудь, немного побегай там, порычи — и у тебя будет алиби, — тихо сказал Кай. Лев помотал хвостом.

— Нет, брат, я не хочу оказываться в дураках. Меня заметят, а потом никто не поверит, что я никого не растерзал.

— А, собственно, почему ты отказываешься от этого? — удивленно спросил сторож. Лев внимательно посмотрел на него.

— Ты сказал, алиби. Разве тебе не ясно, почему все эти патриции сами не бегут на арену и сами не жрут христиан, а предоставляют это нам, львам?

— Нет. Да они, впрочем, по большей части старые люди. У одних одышка, у других астма.

— Старые люди, — сочувственно буркнул лев. — Я вижу, ты в политике ничего не смыслишь. Они просто хотят, чтобы у них тоже было алиби.

— Это перед кем же?

— А перед возникающим новым. В истории надо всегда держаться того, что рождается, назревает. Тебе никогда не приходило в голову, что христиане могут оказаться у власти?

— Христиане у власти?

— Да, христиане. Нужно, брат, уметь читать между строк. Мне сдается, что рано или поздно Константин Великий сядет с ними за один стол. А что тогда? Тогда начнется ревизия, реабилитация. И те, в ложах, тогда скажут: это были не мы, это были львы!

— Об этом, признаться, я никогда не думал...

— То-то и оно. Что мне христиане! Я думаю о своей шкуре. И если это произойдет, то все будут знать, что я жрал свеклу. Хотя, между нами говоря, свекла — большая дрянь.

— Твои товарищи всегда с удовольствием жрут христиан, — ехидно заметил Кай.

На морде льва изобразилась кислая мина:

— Примитивы, темное порождение колониальной эры, они идут на любую приманку. Близорукие приспособленцы, не имеющие понятия о настоящей тактике.

— Послушай, — пролепетал Кай. — Если христиане... понимаешь... если они придут к власти...

— Ну, и что?

— Можешь ты тогда сказать, что я тебя... того... ну... ни к чему не принуждал?

— «Salus Rei Publicae summa lex tibi esto», — благо народа да будет для тебя высшим законом, — сказал лев и снова принялся за свой бурак.

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО **Г. К.**

ВИКТОР МОРТ

ДВА МИРА

Федя Березанов живет в Америке девять лет. Не так много, при его возрасте: ему уже сорок. В пределах скромных своих возможностей бывший красноармеец обзавелся женой-испанкой, с ее помощью двумя детишками, большим автомобилем и малым домом, с полагающимися к дому приложениями. Прожиточный минимум у него обеспечен: в доме — телевизор, стиральная машина, холодильник, электрическая печка, на которой испанка пекла чудесные куличи; мягкая мебель, ковры и прочее, само собой разумеется, неотъемлемо дополняли минимум.

Работал Федя на фабрике, пиротехником: директором был хозяин, а Федя — старшим и младшим рабочим. Вдвоем они и двигали дело, и ничего, преуспевали: если у Феди был минимум, то у хозяина, понятно, побольше.

Вспоминая родную деревню и голодные мытарства семьи, в которой вырос, он с трудом верил тому, как жил теперь, а когда рассказывал жене, ее огромные масленые глаза подергивались слезой. Гладя кудрявую голову мужа, она, довольно сносно говоря по-русски, жалела его и даже верила, что так может быть, удивляясь только, почему люди терпят такую жизнь. Она приняла православие и посещала церковь гораздо исправнее Феди, любившего понежиться на кровати с пуховиками.

— Вот мои бы увидели, — часто говаривал Федя, вспоминая закопченную избу и бедствующую семью в девять человек.

Однажды Федю осенило: надо написать письмо и приложить фотокарточку. Пусть почувствуют. Не откладывая в долгий ящик, он позвонил по телефону Родионычу, крестному отцу своей дочери.

Выслушав одолевшую Федю мечту и все его «за и против», Родионыч коротко ответил:

— Ну, и дурак!

— Почему? — обиделся Федя.

— А потому, что от себя писать нельзя. Ты знаешь, как ты там числишься? Может — без вести пропавшим или павшим смертью храбрых при защите социалистической родины?

— Ну, допустим?

— А павший ездит на шевролете, курит честерфильд и пьет сгущенное молоко. Ты думаешь, там твоих за это молочко по головке погладят? Тебя сразу в изменники запишут, во враги народа, — а семью, премируют их, что ли?

— Так как же тогда?

— Лучше бы не писать. А если тебе так уж приспичило, то пиши от чужого лица — это раз, никакой карточки не прикладывай — это два, и обязательно прибедняйся — это три.

— Как это, прибедняйся?

— А так. Письмо-то твое пойдет через десять цензур, — кто же хорошее письмо в нищее село пропустит? Зачем людей хорошей жизнью волновать? Пусть видят, как плохо в Америке.

— Да ведь не поверят.

— Плевать, зато такое письмо каждому можно читать. Советская власть такая, что ей тогда хорошо, когда другим плохо. Письмо пойдет, вроде как пропаганда, зато дойдет, до кого тебе нужно, и ответ получишь, балда! Ты от меня пиши.

— Не могу я, не знаю, как и писать такое письмо. Не получится оно у меня.

— О-кей, приходи в воскресенье, напишем вместе.

На том и порешили. И в условленный день, вечерком, усевшись перед камином, у мерцающего сбоку телевизора, налив по доброй порции виски, бывший красноармеец и бывший колхозник приступили к обсуждению письма в другой мир.

Воздушная почта доставила письмо в Европу за четыре дня, а до села Большие Овраги оно дошло через четыре недели.

Председатель райисполкома долго рассматривал голубой конверт с непонятной маркой, изображавшей женщину с метелкой в поднятой руке. Он даже понюхал письмо, потом вздохнул и вскрыл конверт. Внимательно прочел, записал фамилии адресата и отправителя и сказал:

— Досылай дальше, нехай читают.

В колхозе письмо попало сначала к председателю. Тот тоже открыл конверт: какие могут быть секреты между своими? Прочел, почмокал губами:

— Вот оно, какое дело. Смотри, пожалуйста, — и почесал небритую щеку.

Вечером, положив в карман полбутылки керосина, председатель отправился к колхознику Василенко.

— Слышь, друг, Григорий Лукич, письмо тебе есть.

— Мне? Ошибка, товарищ председатель.

— Догадайся, от кого, пол-литра поставлю. Не догадаешься — с тебя могарыч.

Домашние столпились у стола.

— Не томи, не знаю я.

— То-то, брат. Налей керосину в лампу, знаю, что нету. Налей и читай.

Семья понимала, что дело серьезное, раз сам председатель принес письмо, да еще керосин. Лампа неровными бликами осветила усталые лица сгрудившихся над голубым кусочком бумаги, прилетевшим из сказочной Америки. В избу набивался народ.

— Не мне это, — сопротивлялся, чуя беду, Василенко.

— Тебе, друг, тебе. И село, и район, и фамилия твоя. Как в аптеке. Читай.

— Не могу, — дрожащим голосом сказал Василенко.

— Читай ты тогда, Сашка, — приказал председатель сыну Григория Лукича. Запинаясь, Саша начал читать.

Позволим себе маленькое отступление. Когда Федя писал письмо, мысленно он дополнял его своими примечаниями, которые в текст письма не могли попасть. Мы поставили их в скобках...

«Дорогой сосед Григорий Лукич! Может, вы уже и забыли меня, потому как наше знакомство было короткое (а его и не было!) и еще до войны. А она разбросала людей так, что их и не соберешь. Я близкий друг вашего племяша Феди Березанова, с которым сражался в рядах доблестной Красной армии против западных белобандитов (если б не они, сидел бы и я с вами в колхозе!). На войне мы были все время вместе, но потом я попал в плен, а он может дома живет, может погиб (что б и вам такой погибели!). Любил я Федю очень, но из плена вырваться не мог и злая судьба забросила меня в Америку, где я и мучаюсь (всем бы такое мученье). Жива ли Аксинья Петровна, а также братья Феди и сестры? Пишу вам потому, что думаю, что вас на войну не взяли из-за калецтва руки и вы остались дома. А я в Америке давно и очень жалею, что попал сюда (поздновато только, хорошо бы раньше). Нуждаются тут все, не дай Бог (врагам моим). Я брался за всякую работу, но увольнялся (искал, где получше), теперь работаю на пороховом заводе, как перо-техник и получаю очень мало (вам бы половину моей получки!). И рад хоть так, потому что другие безработные и живут с того, что продают вещи и одежу, пока есть, или получают по безработице (я бывало по 30 долларов в неделю отхватывал). Все наши тоскуют по свободной и сытой вашей жизни, но ехать боятся, чтобы в дороге не

погибнуть (до дома не доедешь: на границе сцапают). Я бы с удовольствием, но куда мне с моим слабым здоровьем: руки дрожат (пей меньше, сукин кот). А быть обузой никому не хочу, да и не знаю, остались ли мои близкие. Один Федя был только. И в память его хочу я вам выслать чего-нибудь из вещей или продуктов, хотя хорошо знаю, что у вас все есть (кроме того, что нужно). Для смеха пошлю. Напишите, прошу вас, подробно, про Федю и его родичей и что вы хотели бы иметь (Господи, да все!). Ниже моя фамилия на американский лад и убогий мой адрес».

— Видал? — сказал председатель. — Знал такого?

— Не, не помню.

— Ну, тебе виднее. Главное — письмо. Получил — теперь отвечай.

— Да я ж не виноват.

— Я говорю, отвечай на письмо, а не за письмо. Понял? Когда напишешь ответ, покажи. Согласуй, так сказать, с вышестоящими инстанциями. Ну, бувайте. — Он ушел, захватив остаток керосина.

Семья и соседи еще долго обсуждали и перечитывали голубое послание, вчитываясь в строчки и между строк и высказывая мысли, которые никак нельзя было бы с вышестоящими согласовать. Разошлись, когда уже перевалило за полночь.

Дня через два председатель спросил Василенко, написан ли ответ. Григорий Лукич, виновато моргая глазами, сказал:

— Порешили не писать. А то еще влипнешь в какую историю. Хай оно горит, это письмо.

— Сожег?

— Не. А отвечать не будем, ну его к хрену. Свяжешься, а потом отвечай.

Председатель насупился.

— Конечно, твое дело, но такой случай раз в сто лет бывает, чтобы Америка сношения с Большими Оврагами завязала. И мы, дорогой товарищ, на данном этапе этого случая упускать не намерены. Тут, браток, вперед смотреть надо, политическое развитие понимать. Конечно, ты человек темный, но руководящая роль партии допустить этого не может.

— Тоись?

— Вот тебе и тоись. Письмо, ответ тоись, я сам напишу и ты увидишь, что к чему. Из райисполкома уже вчерась звонили, чуешь? Недаром меня председателем выбрали к вам, долболобам. Зайди в воскресенье, обсудим и напишем...

В избе у председателя было тепло, горела лампа-молния и радиоприемник усердно передавал музыку из оперетты «Бокаччио». Хозяин угостил Григория Лукича ужином, напоил самогоном и даже дал папироску «Казбек», — Василенко разомлел.

— Слушай меня, колхозная масса; я над вами поставлен не груши околачивать, а дела вертеть. Каждое дело обмозговать надо. Человек, во всем уверенный — дурак, а который сомневается — умный. Пей.

— Ты так думаешь, товарищ председатель?

— Определенно так. Давай мозговать.

Обсуждение и писание ответа затянулось и Василенко пришел домой чуть не к первым петухам. И дома еще долго бубнил своей старухе, рассказывая, как хорошо живет председатель и, тяжело икая, клял свою жизнь.

— Ложись уж, — ворчала старуха. — Надрался по самые глаза.

— Для пользы дела надрался, чего ты понимаешь? Ты вот слухай.

Не жалея остатков керосина, он зажег лампу и прочел ответ на письмо из Америки:

«Господин мистер! Хотя я и не помню и не знаю, кто вы есть за такой, но на ваше письмо отвечаю, как требует того международная обстановка. По завету мудрого нашего Никиты Сергеича, который ни один выпад не оставляет безответным и стеной идет на мирное сосуществование разных систем, нашей передовой, прогрессивной и вашей гнилой и насквозь протухшей, мы следуем по его стопам, мы, счастливые колхозники советской земли. Мы понимаем, что вам живется, конечно, не сладко, может, у вас даже и на сахар нету, это не так, как у нас, когда на сахар есть, а нету его. Но все же со всем сочувствием относясь к вам и к вашей бедной жизни, сообщаем, что Федя погиб на войне, как герой, а мать его Аксинья Петровна получает за него пенсию и очень об нем горюет и ей радостно будет получить от него что-нибудь. Сестрам и братьям тоже...»

— Да нет же их в живых! — ахнула старуха.

— Ты молчи! — прикрикнул на нее Григорий Лукич. — Ты слухай:

«Мы, я, жена и дети, живем в колхозе, как дай вам Бог хоть десять лет пожить, чтоб без безработицы и всего такого. Ничего, много не жалуемся. И смешно думать, чтобы мы, советские колхозники, в чем-то нуждались: у нас только птичьего молока нет, но и по нем мы вас перегоним, как только изобретут его наши атомные ученые. Всем колхозом хотели мы вам продуктовую посылку послать, да ящика подходящего не нашли, не подходят малые к размерам наших продуктов, а больших ящиков нет. Нам же, если вам так уж хочется что послать нам, пошлите, очень просим, два костюма вышеуказанных размеров, посравняем качество ваших и наших материялов...»

— Да на кой леший тебе костюм? — вскинулась старуха.

— Цыц! «Во всяком случае благодарим вам за внимание. А почему просим два костюма и больше ничего, объясним в других письмах, которые отпишу, получив от вас ответ в лице посылки».

Отдышавшись от чрезмерного напряжения, Григорий Лукич вытер лоб и пояснил:

— Тут, понимаешь, такое дело. Председатель додумался, что костюмы нам, как сказать, ни к чему совсем, а кабан нужен.

— Кабан? Какой кабан?

— Ну, кабан, пудов на десять. Он говорит, что хучь меня и премировали в прошлом году часами, которых я не получил из-за порчи в дороге, а теперь премируют патефоном и я его может тоже получу, как часы, то лучше кабан. Говорит, на собрании он выдвинет скоро лозунг, догнать и перегнать Америку и прикрепит тебя на выкормку к кабану. А когда мы тее костюмы получим, то проведем премирование и кабан достанется нам, а костюм ему. Поняла теперь?

— Дак два ж костюма?

— А проводить и поддерживать будет председатель райисполкома, под его руководством пойдет, чтобы не пикнул кто, понимаешь? И один костюм ему.

— А не обдурят?

— Забожился, крест положил, председатель-то. Да и костюмы нам придут, силком не возьмут. Только бы выслал Федя.

— Какой Федя?

— Да племяш твой. Председатель сказал, что нашел в делах его заявление старое, сличил почерк — он самый! Дошлый он, твой племяш!

— Господи Ты Боже, что ж это будет?!

— А ты не бойся, хорошо будет. Он сказал, мы с Федей такой кон... контракт... иль контакт, как его там, наладим, что все культурно получится, в порядке обмена, понимаешь? Говорит, мы так дело поставим, что с помощью этой Америки колхоз подымем, из прорыва выведем, процветание устроим. Во как, поняла теперь?..

Утром письмо было отправлено.

ВЛ. БОНДАРЕНКО

ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

Нет, автор прекрасно понимает, что он несколько далеко заехал, выбрав для своего мелкого произведения такое заковыристое название. Тем более, что этот правдивый рассказ в основном относится к довольно недавнему прошлому; даже, если хотите знать, к тому, что произошло еще при жизни автора с одним из его близких родственников.

С другой стороны, как ни старался автор, он никак не мог придумать более подходящего заглавия. В голову все время лезли еще более запутанные выражения, вроде: «Рука помощи, протянутая через столетия» или «Благодарность древнего скифа» и тому подобная чепуха. Дело в том, что обойтись без ссылки на минувшие эпохи было никак невозможно. И пусть читатель не торопится качать головой и пожимать плечами. Пусть лучше сначала дочитает до самого конца, а потом уж скажет, зарапортовался автор или, может быть, имеет некоторое оправдание.

Началась наша история самым обыкновенным и, как бы сказать, даже банальным образом. Арестовали одного профессора археологии. Археология, конечно, наука о древностях и к текущей политике не имеет прямого отношения, но все-таки его арестовали. Это, разумеется, в великий исторический период никого особенно не удивило. Хватали направо и налево, — почему бы не забрать и престарелого профессора, занимавшегося скифскими древностями? Обвиняли его, кажется, во вредительстве на научном фронте и во враждебной вылазке в области развития экономических отношений дофеодального общества. В общем, 58-я статья с каким-то хвостиком.

Так или иначе, наш профессор, — назовем его Коржиковым, Николай Алексеевичем, — 18.. года рождения, ранее не судившийся и под следствием не состоявший, попал после очередной лекции не

к себе домой, а в ДПЗ, что на Шпалерной или, по тогдашнему, на улице Воинова 25: дело было в Ленинграде. Впрочем, этот адрес не имеет значения. Пока длилось следствие, гражданин Коржиков успел побывать на Арсенальной 5, в «Крестах», и на Нижегородской и в некоторых других интересных местах. По каким причинам его гоняли с места на место, сказать трудно, но, должно полагать, это помогало перегруженным работой следователям разбираться в его запутанном научном извращении. Преступного профессора то сажали в бывшую одиночку, где уже сидело пять-шесть человек, то впихивали, приоткрыв дверь, в набитую до отказа общую камеру, то заключали на несколько суток в холодный штрафной изолятор, чтобы дать возможность заблудшему труженику исторических наук на досуге обдумать всю черную глубину своих провинностей перед пролетарским государством.

Иногда, впрочем, мудрая юстиция меняла тактику и пыталась воздействовать на закоренелую душу профессора добром и нежной лаской. Следователи предлагали ему папиросы марки «Казбек» и «Северная Пальмира», бесплатно угощали сладким грузинским чаем с ломтиком лимона и даже великодушно обещали разрешить передачи с воли. В ответ на эти милости они требовали от гражданина Коржикова только одной маленькой услуги: подписать любезно составленный ими, следователями, протокол его, Коржикова, показаний. Однако профессор, погрязший в буржуазной научной методологии, не одобрял свободного полета творческого воображения и настойчиво доискивался каких-то фактов, словно в них было дело, каких-то доказательств и ссылок на проверенные источники. И категорически отказывался поставить свою подпись на предложенном ему художественном произведении. Такое неуместное упорство выводило из себя даже самых терпеливых следователей и они возвращались к более испытанным мерам.

Приходится только удивляться, что после столь бессовестного запирательства и полного нежелания сотрудничать с властями упрямого гражданина Коржикова не приговорили к высшей мере социальной защиты или, по крайней мере, к заключению в исправительно-трудовые лагеря на весь остаток его бесполезной для социалистического общества жизни. Вместо этого невидимая, но милосердная «Тройка», постановила всего-навсего выслать строптивого профессора в отдаленные местности Союза сроком на десять лет. Николая Алексеевича снова вызвали пред светлые очи очередного работника советского правосудия, прочитали ему приговор, вручили огрызок химического карандаша и предложили расписаться на соответствующем месте. На этот раз гражданин Коржиков не заставил себя упрашивать и с легким сердцем дал свой автограф.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: после приговора профессор еще месяц-другой скитался по ленинградским тюрьмам. Теперь, правда, режим был полегче: социалистическая законность не мстит, а исправляет. Провинившийся археолог был допущен даже к производительному труду, хотя и не совсем связанному с его основной специальностью. На Шпалерке он работал полотером, до блеска надраивая асфальтовые полы в камерах, а в ДПЗ на Нижегородской улице ему поручили выдергивать ржавые гвозди из гнилых досок и сколачивать фанерные ящики для неизвестной надобности. На душе у него было светло и радостно. Раз в две недели ему разрешали свидание с родными и тогда, сквозь густую железную сетку, он мог видеть заплаканное лицо жены и хмуро улыбающиеся физиономии двух взрослых сыновей. Стали поступать и передачи от родных: карманные деньги, чистая одежда и кое-какие харчи. Все это поднимало настроение, особенно же — приятная перспектива ссылки на свободное поселение в отдаленные местности. Так что старый профессор не жаловался ни на судьбу, ни на власть, а лишь с нетерпением ждал предстоящего отъезда в неизвестном направлении.

В отечестве трудящихся осуществляются самые заветные мечты человечества. Осуществилась и мечта профессора Коржикова. В один более или менее прекрасный день в камере приоткрылась дверь, кто-то хриплым и властным голосом выкрикнул его имя, перевел дух и добавил на зависть соседям: «... с вещами». Конечно, было бы слишком много требовать, чтобы гуманные власти дали возможность профессору вне очереди повидать семью перед отъездом. Никто не уведомил его близких, что Коржикова в этот день отправят из тюрьмы для «погрузки» в арестантский вагон. Кому и когда заниматься такими мелочами? И все же серая толпа женщин, ежась от мелкого весеннего дождя, стояла в предрассветной мгле у товарного склада и провожала глазами арестованных. Близорукому профессору показалось, что там была и его жена, — на душе у него стало совсем тепло.

Стучат колеса, трясутся нары, прыгают на полу окурки — специальный поезд несется по необъятным просторам страны социализма. Ехали долго. На каждом разъезде стояли часами, пропуская поезда с более важным грузом. На захолустных станциях торчали целыми сутками, неизвестно по какой причине. И пока ехали, Коржиков из археолога превратился в антрополога и этнографа, занявшись наблюдениями над жизнью и обычаями неведомого ему дотоле племени урок, уголовных заключенных, в компании с которыми ему пришлось путешествовать.

Нравы у этого племени были крутые: в первый же день урки разграбили багаж профессора и тут же, до последней крошки, съели все его скудные запасы пищи. На другой день они затеяли шумную игру в карты. Игра почему-то называлась «бура», хотя, насколько мог понять профессор, не имела никакого отношения к борнокислому натру, применяемому в технике и медицине. Сидя в сторонке, Коржиков пытался вникнуть в правила странной игры, где каждый ход непременно сопровождался трехэтажным ругательством, и мало что понимал. Но скоро выяснилось, что игра велась не из простой любви к искусству, а на ставку: ставкой оказалось драповое пальто Коржикова, в игре участия не принимавшего. Проигравший урка деловито подскочил к профессору, сорвал с него пальто, сопроводив эту операцию легким ударом по шее, и с обворожительной улыбкой передал свою добычу новому законному владельцу.

Эти перипетии бытия не слишком огорчали Николая Алексеевича. Жизнь в условиях социализма и долгое изучение темных веков седой древности давно уже приучили его к мысли о том, что в разных типах цивилизации понятия о праве и справедливости бывают различными и подчас крайне своеобразными. Неприятнее было то, что на следующую ночь у него вытащили бумажник со всеми деньгами, документами и фотографиями близких. Впрочем утром, увидев, что профессор очень расстроен, что у него трясутся руки и навертываются слезы на подслеповатые глаза, урки вдруг показали себя с другой стороны: они великодушно вернули Коржикову его бумажник. Денег там, конечно, уже не было, но все прочее осталось в полной сохранности. Только на фотографии жене подрисовали химическим карандашом длинные, как у кота, усы. Бумажник, правда, был старенький, истрепанный, еще дореволюционного происхождения, и вряд ли представлял какую-либо экономическую ценность. Тем не менее, этот акт неожиданного милосердия очень тронул старого археолога и примирил его с человечеством.

Урки больше не отнимали у профессора его ежедневный паек, — кусок черного, липкого, как мокрая глина, хлеба и половину сушеной таранки. Они внимательно слушали его рассказы о Боспорском царстве и раскопках в районе Ольвии. Их не особенно интересовали исторические даты и чисто научная сторона вопроса, но некоторые детали вызывали подлинный восторг. Они раскатисто ржали, хлопали старого профессора по плечу, когда он, например, рассказал, что однажды нашел в скифском кургане золотой обруч толщиной в два пальца, на скрюченном скелете какого-то неведомого, но, очевидно, могущественного вождя.

— Такого у самого Сталина нет! — воскликнул один из восхищенных слушателей.

Впечатление от рассказа было несколько испорчено, когда Коржиков добавил, что вместе с другими находками отдал золотой обруч по принадлежности, Императорскому археологическому обществу, от имени которого он производил раскопки. Тут урки решили, что старик явно заливает, и стали относиться к его рассказам с некоторым недоверием. Однако, дружба от этого не пострадала, и обе стороны искренне сожалели, когда им пришлось расстаться.

Высадили Коржикова на маленьком лесном полустанке. Хмурый милицейский чин в рваных сапогах с парусиновыми голенищами принял его под расписку и повел к стоявшей неподалеку телеге. Профессор пожелал узнать, куда занесла его социалистическая судьба, но не получил ответа. Тогда возница, мальчишка лет четырнадцати, сидевший на поджатых от холода босых ногах, вдруг ни с того ни с сего вызывающим голосом запел частушку:

За Тоболом, за рекой
Есть холодный водопой.
Не тако мое сердечко,
Чтоб идти на перебой!

Это дало Коржикову некоторую ориентировку.

К вечеру, проехав верст пятьдесят по узкой, пахнущей весенней хвоей дороге, профессор прибыл на место ссылки. Это была большая, разбросанная на правом высоком берегу реки деревня, о названии которой автор по некоторым соображениям предпочитает умолчать. В самой лучшей, но и больше всех запущенной избе, принадлежавшей в свое время раскулаченному эксплуататору, построившему ее собственными руками, жил теперь местный резидент НКВД. Когда Коржиков первый раз взглянул на этого представителя власти, ему показалось, что он уже где-то встречал его. Где это было? Да, конечно! Страж советского порядка и революционной законности мужественными чертами лица походил на тот реконструированный скульптурный портрет человека каменного века, первобытного неандертальца, который выставлен в одном из зал Эрмитажа. Те же выдающиеся надбровные дуги, густые волосы, начинающиеся от самой переносицы, толстые обезьяньи губы и скошенный назад подбородок. Сходство было так поразительно, что профессор инстинктивно протянул руку и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил неандерталец, не поднимая руку от стола. Он бегло перелистал «дело» Коржикова, поплевывая на толстый указательный палец, и изрек:

— Будете жить в этой деревне. Удаляться больше, чем на два километра, не имеете права. Каждый второй день, кроме нерабочих, должны приходить на регистрацию. Понятно? Можете идти! Документ получите завтра. Тогда и распишетесь. Все!

— Но позвольте, — воскликнул профессор. — Что же я буду есть? У меня совсем нет денег! Где я могу остановиться? Сейчас весна, холодно. Нельзя же спать на улице. Как я вообще буду жить?

Неандерталец наморщил несуществующий лоб, отчего у него слегка зашевелились острые уши, искоса взглянул на Коржикова и сказал, расплющивая толстые губы в улыбку:

— А откуда вы взяли, гражданин профессор, что мы в этом заинтересованы?

— В чем?

— Да в том, чтобы вы жили. Какая нам от этого корысть? Сказано вам: можете идти. Ну, и идите!

Коржиков вышел. Деревенская улица была пустынна. Только худая щетинистая свинья традиционно терлась о телеграфный столб и откуда-то доносился детский плач. Профессор пошел, чвакая ногами по глубокой весенней грязи. На высоком берегу реки улица обрывалась. Уже зеленела травка, но кое-где пятнами еще лежал бурый, пористый снег. Выбрав место посуше, Коржиков расстелил рваный носовой платок, сел и задумался.

Он долго сидел на этом диком бреге. Что делать? Как существовать дальше? Написать родным? Огрызок карандаша, кажется, сохранился. Но пока письмо дойдет... И у него нет денег даже на почтовую марку... Профессор неторопливо вынул из кармана бумажник, старенький верный бумажник, и вытряхнул на колени содержимое. Вот, все его имущество, все, что осталось от долгих трудов и дней... Протертые на сгибах справки с печатями, такие незначительные, что они не заинтересовали даже НКВД. Фотографии родных. Карточка маленькой внучки, которую ему так и не довелось увидеть в жизни. Библиотечный билет. Плоский ключ от письменного стола.

Пришло странное, горькое желание: собрать все эти следы былой, ускользнувшей жизни и бросить туда, вниз, в мутные воды весенней реки, чтобы подвести итог, чтобы остаться совсем, совсем без всего. Как это сказано? Голый человек на голой земле! Старый археолог еще раз встряхнул пустой бумажник и вдруг... Что это такое? Откуда-то из-под рваной подкладки, из самых недр, выскольз-

знула крошечная овальная пластинка и победно блеснула на солнце. Золото? Чистое золото!

И снова прошлое стало близким и живым, таким ощутимым и реальным, так тесно связанным, сотканным в одно целое с настоящим, что нельзя было различить границы между ними. Как мог он, Николай Алексеевич Коржиков, хоть на минуту подумать, что вся прошлая жизнь оставила его, обернулась пустотой и миражем, что все минувшее зачеркнуто, начисто вытравлено из жизни, как будто его и не существовало вовсе. Нет, оно снова было рядом с ним, так близко и живо, как четверть века назад, когда он еще донашивал студенческую тужурку, копая свои дорогие курганы. Да, это было в тот самый раз, когда они нашли знаменитый золотой обруч на рассыпающемся костяке скифского вождя. Как следил тогда Коржиков за тем, чтобы рабочие медленно и осторожно перетряхивали каждую лопату земли, чтобы ничего не пропустить, ничего не повредить, все сохранить для науки. На скифском вожде некогда была надета дорогая туника, расшитая золотыми блестками. Тысячелетия превратили в прах богатую ткань, но золото, нетленный металл, не поддается времени. Сотни маленьких золотых пластинок с микроскопическим узором лежали на земле, и достаточно было потереть их о рукав, чтобы они снова засверкали на солнце, как века тому назад.

После раскопок все находки, кости и вещи, бережно упаковали в ящики для отправки в Петербург. А одну маленькую круглую пластинку Коржиков положил в бумажник, чтобы показать дома молодой жене, делавшей вид, что тоже интересуется археологией, хотя она никак не могла понять разницы между скифом и сарматом, а о Трипольской культуре не имела ни малейшего представления. Как жалел потом Николай Алексеевич, что пластинка куда-то затерялась. Хотя, разумеется, никто не мог знать, что он не положил ее в общий ящик, он все же написал по этому поводу специальное объяснение в археологическую комиссию. Но в те темные, дореволюционные времена никому не приходило в голову отдавать за это под суд или хотя бы объявлять строгий выговор в приказе. Все сошло благополучно, и Коржиков основательно забыл о пропавшей пластинке. И вот — она сама нашлась здесь, на берегу сибирской реки, клокочущей от весеннего половодья.

На этом, в сущности, наша правдивая история и заканчивается. Положение было спасено. Торгсины, правда, в то время уже были ликвидированы, но граждане социалистической страны еще не утратили вкуса к презренному металлу. За кусочек золота профессор получил немного денег и кое-какую еду. И некий одинокий старичок из туземного населения, по причине своего древнего возраста

уже переставший бояться властей, пустил заблудшего археолога к себе в избушку на курьих ножках, притом даром, Христа ради. Коржиков и зажил припеваючи, получая время от времени посылки и деньги от родных. А злой гепеушник волком ходил вокруг да около, но ничего не мог поделать.

Впрочем, может быть, в конце концов он что-нибудь и придумал, но автор об этом точно ничего не знает. Случилось так, что вскоре был арестован тот родственник автора, который держал его в курсе дела, и тут уж не помогли никакие скифы. Так что новых сведений, к сожалению, больше не поступало.

ДОКУМЕНТЫ
ВОСПОМИНАНИЯ

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ БАРЕЛЬЕФ

(Памяти В. А. Жуковского)

Euridicen toto referebant flumine ripae.
Virgilii, Gerg. IV.

Шел, возвращаясь из ада, Орфей со своей Евридикой.
Все миновали преграды, и только на самом пороге,
Вдруг побежденный любовью, — простить бы! — но смерть не прощает,
Остановился и клятву забыв, на нее оглянулся,
Светом уже озаренную. «Горе! — она возопила. —
«Горе! Какое безумье тебя и меня погубило!
«Неумолимая участь обратно меня отзывает,
«Друг мой, прости же навеки! Дремой затуманились очи
«И от тебя уношусь я, объятая тьмой бесконечной,
«Слабые руки к тебе я — уже не твоя — простираю!»
Так простонала и дымом растаяла в воздухе легком.
Ловит он тень ее, с ней говорит, но ее уж не видит.

Там, на высокой скале, у пустынного Стримона, плачет
Горький певец, изливая печаль свою в хладных пещерах,
И укрощаются звери, и дубы сдвигаются песнью.
Так Филомела в тени серебристого тополя плачет,
Если птенцов из гнезда ее пахарь жестокий похитит;
Плачет она по ночам, повторяя унылую песню,
И наполняет стенящею жалобой темные дали.

Это стихотворение прислано редакции В. Злобиным из архива Д. С. Мережковского.

Раз он любил и уже никогда никого не полюбит;
В льдистой пустыне Рифейской, в вечных снегах Танаиса,
В полночи Гиперборейской, певец одинокий блуждает,
Тщетную милость Аида клянет и зовет Евридику.

Презрены им Киконийские женщины, но отомстили.
В таинствах Вакха ночных, в исступленьях святых растерзали
Юное тело и по полю члены его разметали,
Голову жалкую волны глубокого Эбра катили,
А замирающий голос все еще звал Евридику.
«О, Евридика!» — душа его повторяла и в смерти.
И отзывалося эхо в прибрежных скалах: «Евридика!»

АННА ЭЛЬКАН

„ДОМ ИСКУССТВ“

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.
Осип Мандельштам

Холодная, снежная, голодная зима 1919 года. Петербург. Солнце мы тогда еще не хоронили, наше странное северное солнце, малиново-красное в мороз и бледно-золотое в длинные весенние дни без ночей.

На улицах снежные курганы, ни одного фонаря, но от снега блеск почти нарядный. Беззвучность: ни скрипа саней, ни протяжного лязга сбегающих с мостов трамваев, только изредка желтый глаз автомобиля пугает редких прохожих напоминанием об увозах, арестах, обысках, — или неуклюжий грузовик пыхтя погружается в снежные бездны.

Тяжелые деревянные ворота хлопают, как выстрелы, а с крыш слетают жестяные трубы и глыбы снега, унося с собой куски лепных карнизов.

Мороз колет щеки, осыпает заиндевелой влагой выбивающиеся из-под оренбургского платка волосы.

На площади у Синего моста бездорожье, только перила — белые от снега — указывают путь.

По левой стороне Мойки, в сторону Невского, движутся силуэты, закутанные, как эскимосы. Движение во мраке вечерней улицы, — значит близок «Дом Искусств».

Трудно сейчас на близком исторически и далеком в личном аспекте расстоянии воссоздать хотя бы частично атмосферу в том кругу интеллигенции, которая не покидала осаждаемого всякими бедами и напастями города. Попробую рассказать, что видела молодыми глазами.

Анна Ахматова писала в 1921 году:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Все голодной тоскою изглодано.
Отчего же нам стало светло?

И так близко подходит чудесное
К развалившимся старым домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

Что это значит?

Блок задыхался, сгорал в безвоздушности и беззвучии, а Ахматова слышала какое-то приближение чудесного к развалинам старого мира; чудесного, которое обещало быть желанным.

Блок с его пророческой совестью предчувствовал гибель, крушение старого мира, конец серебряного века поэзии, конец всего того, что было любимо, и раньше всего по времени — с в о й скорый конец. Реальность близкой смерти застилала реальность новой жизни. Жизнь эта своими звучаньями, которых поэт больше не улавливал, подгоняла, торопила трагическую развязку судьбы Блока.

Ахматова ощущала без всякого пророчества, но с предельной чуткостью сегодняшний день, и в этот день, конечно, вливалось чудесное. Весь ужас того, что совершалось тогда за одни сутки, призывал, порождал его.

Может быть и Осип Мандельштам это чудесное в тогдашнем воздухе ощущал, собираясь «блаженное бессмысленное слово в первый раз произнести».

Углубляя, можно сказать, что Блок погиб оттого, что уже никакого чуда не ждал и видел впереди лишь серые будни нового мира, жестокого, пустого, бесстихийного.

Ахматову я встречала много раз, слышала ее голос, помню хорошо ее внешность, — худобу до угловатости, несколько преувеличенную на портрете Альтмана. В ее манере не было ничего располагающего к бесцеремонности, мне бы не вздумалось подойти к ней и сказать, как я влюблена в ее стихи. Выражение глаз притягивало, но и ставило преграды для общения. Очень верно описывает она сама свою походку:

И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

Такой я видела ее при разъезде из Мариинского театра, она шла отдельно от толпы, выходила очень осторожно, боясь, видимо, упасть на скользком подъезде, — я придержала перед ней дверь, но помочь идти к трамвайной остановке не решилась . . .

Одно несомненно — 1919-21 годы оставили свой отсвет не только на лицах, но и в судьбе многих.

«Дом Искусств», на Мойке угол Невского, вечера по пятницам, лекции, концерты. У вешалки уютная горничная Настя в белом переднике, ковры на внутренней деревянной лестнице, читальня с круглыми диванами в нишах.

Для помнящих сразу зажигается фонарик, освещая темную столовую, тяжелую резную мебель, стол на сорок, а то и больше, человек, на столе остатки пайковой роскоши: жидкий постный суп в белых тарелках, крошки глинообразного хлеба и кругом стола — нескончаемые споры.

Одеты все были во что попало, в какие-то вынутые из нафталина сюртуки, в военные гимнастерки последнего образца, или, как художник Замирайло, в черный романтический плащ, собственноручно сшитый грубыми белыми нитками.

Натертые старорежимным лакеем Ефимом полы темнели лужами от валенок, самых оригинальных, — иногда только что сшитых рукой Анны Андреевны Сомовой-Михайловой, которая мастерила эту обувь из ковров и портьер. Дым от махорочных папирос ел глаза, а неизменная трубка в углу иронически сжатого рта Евгения Замятина казалась напоминанием о культурной жизни, рассказанной чужеземцем, навестившим островитян.

«Дом Искусств», созданный по инициативе Горького, с помощью Луначарского и при содействии, по линии пайка, кабатчика дореволюционного Петербурга, г-на Родэ, приютил в качестве жильцов многих бездомных тогда писателей и деятелей искусства. Остальные, то есть весь интеллектуальный Петербург, приходили обедать по карточкам, слушать лекции, концерты, беседовать и встречать знакомых, — принимать у себя в нетопленных помещениях было невозможно. Кроме того, создались кружки, студии, велись занятия с молодежью, желавшей научиться мудрому механизму стихосложения у Гумилева или послушать, что думает Замятин об искусстве прозаика, читал еще Лозинский и многие другие. Разговоры в «Доме Искусств» велись тогда еще свободно, без оглядки на двери, в которые входил кто угодно, включая и представителей власти. Все помнили выступление Амфитеатрова на вечере в честь знаменитого гостя, Герберта Уэллса. Амфитеатров, исхудавший, больной, открыто поносил власть, упрекая ее в создании невыносимых условий для интеллектуального труда. Переводчица М. Бенкендорф смягчала краски, но мимика писателя дополняла его слова. Горький

– бледный — ерзал на стуле. Взаимное недоверие, страх, доносы самых близких друзей, — вся эта страшная гамма тогда еще не начиналась.

По неизменной петербургской привычке отшучивание и смелые анекдоты были формой самозащиты: всерьез говорить о происходящем, значило бы бить себя в грудь, кричать, плакать, и мы, усмехаясь, передавали очередную сплетню о новой интрижке сероглазого короля — так называли Николая Степановича Гумилева. На его холодном непроницаемом лице, похожем на дом с закрытыми ставнями, тоже маячила порой усмешка, но она поражала, как неожиданность или как вызов судьбе. Я встречала Николая Степановича почти ежедневно, и он всегда любезно со мной здоровался, но не будучи в его окружении, я не могла разгадать смысла, видимо условного, его замечаний, слов, шуток. В большом кругу Николай Степанович производил впечатление человека, играющего в какую-то не очень умную игру.

Знаю, что в беседе с ним с глазу на глаз было совсем иное: его очень любили молодые поэты, посещавшие студию, думаю, что некоторые преувеличивали свои восторги перед ним и искали около него легкой славы, хотя бы отраженной. В те годы молодежь увлекалась стихами Гумилева, он сам казался нам каким-то таинственным, овеянным горячим ветром его любимой Африки. Все это я сама себе говорила, слушая занятия в студии, куда меня два или три раза приводили молодые поэты. Я старалась настроиться, но ничего не получалось.

Тогда еще жил Блок и для меня, как для многих молодых, все было в нем. Помню его выступление на вечере Михаила Алексеевича Кузмина. Он был очень бледен и меня испугал синеватый цвет его губ (признак сердечной болезни). Других внешних подробностей не помню, но в ушах его голос. Он говорил, обращаясь к Кузмину, свое вступительное слово. Сказано было что-то очень грустное и сердечное о том, что Блок боится за Кузмина, за его беспомощность, потерянность в этом беззвучном мире; точно выражений Блока я не помню, но в словах была тревога.

Потом читал Михаил Алексеевич свои стихи — «Нездешние вечера», читал долго и невнятно. После перерыва, когда еще шумели в дверях и проходах, к столику подошел Блок, — тишина вдруг стала необычной, — он стоял и никуда не глядя, по-особому сосредоточенно и просто читал «Голос из хора».

Магия Блока действовала не только или не столько через стихотворную ткань, но и через его личность. За каждым словом, им произнесенным, стояла его судьба и хотелось защитить его. Он, только что жалевший Кузмина, стоял перед нами, как на холодном зимнем ветру, а не в освещенной люстрами гостиной, и когда он кончил

и пошел в артистическую, чуть сутуля спину, не у меня одной были слезы на глазах.

Больше я Блока не видела.

В этот самый вечер, после того, как Блок уехал, долго не расходились жильцы и привычные посетители «Дома Искусств». Задумавшись, сидела и я в конце стола, хотелось еще оставаться на людях. Неожиданно чья-то рука погладила по голове. Обернулась — Аким Львович Волынский. Именно с ним хорошо было отвести взволнованную появлением Блока душу. Его мир не был холодным и страшным, как теперь у Блока. Это был мир Эллады, солнечных виноградников, пластики, гармонии, красоты. Помню и внешность Акима, как все его тогда называли: голова не то греческого философа, не то библейского пророка, бледное лицо, сжатые губы и чрезмерно выразительные семитские глаза.

Когда Аким Львович слушал, то в глазах его собеседник мог прочесть поощрение или порицание, а когда он говорил, все слова и понятия наполнялись сгущенным смыслом. Он мало разбавлял свою мысль, подносил одно вино без воды, и это заставляло напрягаться и порой утомляло.

Его лекция «О Христе» все в том же «Доме Искусств» была по смелости и зажигательности для нас, молодых, каким-то откровением. К сожалению, все, что написано Волынским, бледнее того, что было им сказано в беседах с друзьями или на лекциях.

Аким Львович был человеком настоящей простой доброты и к лишениям физическим относился равнодушно. Пил воду или кипяток с корками черствого хлеба, а паек свой отдавал молодой девице Кате Малкиной, которая переписывала его статьи и подтапливала вечно дымящую печурку.

Помню страшное утро после расстрела Гумилева и других близких нам друзей. С одним из погибших Аким Львович был соседом по комнате. Мы собрались, как заговорщики, на светлой кухне «Дома Искусств», пришли почти все обитатели. Сухие глаза, безумные лица, каждое слово только ранило слух, — но надо было быстро посоветоваться, решить, как предупредить о случившемся вдову нашего общего друга. Аким Львович обвел всех какими-то без слез плакавшими глазами и сказал мне: «Вы должны пойти, она вас любит.» Утрата общего друга еще больше сблизила меня с Акимом Львовичем, помню его на моей свадьбе, потом нить обрывается и только недавно я узнала, что Аким Львович умер в 1930 году.

Без Екатерины Павловны Летковой-Султановой и ее сына Юры нельзя себе представить «Дома Искусств». Эта grande dame революции с легкостью и без особых сожалений переехала из своей уютной квартиры в маленькую комнату, отведенную ей и сыну в «Доме Искусств». Деятельная, энергичная, жившая всегда с людьми и на лю-

дях, Екатерина Павловна увлекалась своей собственной биографией, которая, кстати, всем была известна: встречи и переписка с Тургеневым, романтические отношения с Михайловским, дружба с Анатолием Федоровичем Кони. Окончив Бестужевские курсы, она жила идеями своего времени, стояла за эмансипацию женщин, за Учредительное Собрание и под конец, с некоторыми оговорками, за рабоче-крестьянскую республику. Несмотря на почтенный возраст, Екатерина Повловна организовывала лекции и музыкальные вечера в «Доме Искусств», была членом репертуарного комитета гостеатров, всем интересовалась, повсюду поспевала, постоянно хлопотала о пайках, командировках, больничных койках и т. д. Как никто умела обворожить, вовремя пресечь неосторожный разговор, помирить повздоривших друзей.

Присутствие Екатерины Павловны на вечере, как одной из устроительниц, было залогом успеха. В этом странном быту, где границы дозволенного и наказуемого были весьма зыбки, она великолепно плыла по течению, умно и тактично огибая подводные камни.

Какова причастность Летковой-Султановой к литературе? Она написала один забытый роман, много рассказов, а главное, переводила итальянскую писательницу Матильду Серао. В советских изданиях мелькали ее библиографические заметки и историко-литературные справки.

В «Доме Искусств» она, ничем не управляя, была как бы негласной хозяйкой; высокая, стройная, с горящими черными глазами, она красиво постарела и даже в поношенных платьях казалась элегантной.

Занятая литературно-политической подготовкой революции, Екатерина Павловна только в сорок лет родила сына. В описываемый мною период Юре было 22 года. Екатерина Павловна обожала сына, очень хрупкого, тронутого туберкулезом.

Юрий Николаевич был на редкость красив, такая красота равна большому таланту. Правильный овал лица, большие карие продолговатые глаза, тонкий нос и изумительно очерченный рот, выразительные худые руки. Художники просили его позировать, он из вежливости не отказывал, но смущался вниманием к своей внешности. Зимой носил черную куртку, подбитую беличьим мехом, и почти не выходил из «Дома Искусств». Он был связан тесной дружбой с группой «Серапионовы братья» (молодые, тогда многообещающие писатели: Елизавета Полонская, Рождественский, Михаил Слонимский и другие).

Мать и сын представляли собой нечто неделимое, и в памяти я их не разлучаю. Умерли они тоже почти одновременно.

С Екатериной Павловной очень дружил Ходасевич, державший-

ся несколько обособленно. Отдавая должное его уму, поэтическому дару (тогда вышла его книга «Путем зерна»), его не очень любили за острословие, за «шутки с злостью пополам», за некоторую заносчивость и нетерпимость в отношении к более молодым поэтам. В «Доме Искусств» его называли «Голова Адама».

Помню, как на одном вечере он читал стихи, успеха чтение не имело и присутствовавшие довольно беззастенчиво покидали зал. В перерыве Ходасевич сказал Екатерине Павловне: «Больше читать не буду, мне от этой публики скучно».

Кстати, о публике: на вечера и лекции, устраиваемые в «Доме Искусств», приходила не только своя, интеллигентская семья, — бывала молодежь совсем нового склада, так называемые вузовцы, а некоторых очень популярных лекторов приходили слушать военные и рабочие. На докладах Анатолия Федоровича Кони была просто толпа народа, сидели, как полагается, на подоконниках и на полу, слушали очень внимательно и потом осаждали усталого и уже очень древнего, хотя мыслью своей вечно юного, Анатолия Федоровича всякими вопросами, на которые он старался возможно проще отвечать. Он говорил, что от этой новой аудитории к нему протягиваются нити.

Кроме писателей, в «Доме Искусств» бывали музыканты и художники. Часто по пятницам Альберт Николаевич Бенуа, уступая просьбам молодежи, садился за рояль и играл бравурные штраусовские вальсы, под которые мы с упоением кружились, не стесняясь валенок и бот.

Были и более грандиозные вечера, в январе 1921 года устроили костюмированный бал, на котором блистала Лариса Рейснер, красавица, дочь профессора Рейснера и жена комиссара Балтийского флота. На этом балу были решительно все, кто еще оставался в Петербурге.

Порхали балерины, вытанцовывал входивший тогда в моду заграничный фокстрот Николай Эрнестович Радлов, молодежь затеяла кадриль.

Гумилев стоял в углу и ухаживал за зеленоглазой поэтессой с бантом в рыжеватых кудрях.

Николай Оцуп суетился, кого-то искал, у него было лицо подростка, чем-то радостно взволнованное, может быть близостью Николая Степановича.

Помню по «Дому Искусств», на этом или на другом вечере, Георгия Викторовича Адамовича. При нашем долголетнем знакомстве, позволю себе сказать, дружбе, впечатления от его личности в разные годы на протяжении жизни сливаются в нечто целое. Тогда уже вышла книга Георгия Викторовича «Чистилище», стихи его волновали особой простой выразительностью, каким-то заострением поэтического переживания; в его даре поражало сразу

достигнутое мастерство, без всякого искания форм, форма была великим подразумеваемым, никаких видимых усилий ради нее не делалось. Георгий Викторович, несмотря на большую молодость, даже юность, в то время казался более сосредоточенным, чем его окружение, менее развязным, не выдумывал никакой игры для других и позы для себя, а потому считался непроницаемым, неясным, от него многого ждали и тогда уже порой ссылались на его высказывания, поражавшие умом и благожелательной проницательностью.

Почти все, кто вспомнился в рамке дней и вечеров «Дома Искусств», принадлежат истории русской литературы, но есть и «цветы однодневки» и без них, без этих людей, не было бы общей картины.

Один из тех, чье имя написано на песке, но кого хочется вспомнить — Яков Максимович Каплан.

Сын видного петербургского адвоката, он получил широкое образование, окончил математический факультет, ездил до революции по заграницам, говорил свободно на многих языках. Несмотря на фундамент точных наук, нельзя было себе представить человека более противоположного всему точному. Начать с того, что он всегда и всюду опаздывал. Кто пробирался к своему месту в театре, наступая всем на ноги и вызывая раздражение и шиканье? — Яков Максимович. Кто открывал скрипучую дверь во время лекции в «Доме Искусств»? — Яков Максимович. Входил он осторожно и робко, без всякого нахальства, но обязательно не вовремя. В описываемые мною годы ему очень тяжело жилось, квартира его была заселена рабочими, и он вечно был вне дома, ходил по гостям, нося неизменно под мышкой фолианты в старинных переплетах. Собрал редкую библиотеку и теперь жил в страхе, что ее расхитят или в его отсутствие употребят на топливо. Ежедневно он разносил знакомым на сохранение изумительные книги, его любимые издания покоились неделями под чьим-нибудь столом или на подоконниках. У нас в квартире так и осталось первое издание Бальзака и какой-то томик переписки восемнадцатого века.

Яков Максимович навещал своих, отданных под опеку детей, и это заполняло его дни. Не забуду его манеру держать в руках книгу, очень близко поднося ее к своим близоруким глазам. Средств к существованию у Якова Максимовича не было, он получал паек, но питался только супом «Дома Искусств». Когда он начал зарабатывать какие-то гроши во «Всемирной Литературе» (переводчиком), то опять-таки тратил все на покупку книг, которые теперь уже запихивал во все карманы. Вижу его, примостившимся на стуле в маленькой передней «Дома Искусств», на полу около него связка книг, он показывает их друзьям, гордясь новой находкой. Из-за этих самых книг Яков Максимович как-то попал в засаду и долго сидел под арестом. За время его ареста много книг пропало и с последним

неотделимым от него грузом томов он окончательно ушел из дому. Ночевал уже где попало, а летом даже под открытым небом в Царскосельском парке, потом он пытался выехать за границу, но где-то попался, верно, опять из-за книг. Где и при каких условиях оборвалась эта странная судьба — не знаю; книги с его экслибрисом бродят, наверное, как и он любил бродить, только уже не по одному Петербургу, а по всему миру.

Мало кому, я думаю, теперь знакомо имя Федора Федоровича Нотгафта. Он и по месту жительства был очень близок к «Дому Искусств», квартира его была этажом выше и на вечера он приходил по черной лестнице. Он, кажется, состоял в каком-то организационном комитете, во всяком случае, раздача комнат и пайков его касалась. Знаток живописи и истории искусств, он служил в эти годы в Эрмитаже при директоре Тройницком. Внешность у него была бледная, в буквальном смысле этого слова: лицо, как из белой, чуть тронутой желтизной бумаги, рыжеватый пух на голове и бледно-карие водянистые глаза. Он ходил всегда с палкой и тоже перетаскивал пакеты, только не книг, а картин. Он был собирателем картин русских художников, принадлежавших к группе «Мира Искусства». Тогда было несколько таких коллекционеров, любителей картин, благодаря им в голод и холод наши петербургские художники выжили и могли продолжать творческую работу.

Одним из самых пылких собирателей был мой покойный муж, Бернард Веньяминович Элькан, который покупал картины и даже заказывал их К. А. Сомову, А. Н. Бенуа, Добужинскому, А. Головину, Е. Лансере, Замирайло, Б. Кустодиеву и многим другим. Заказывал так, что художники получали вперед деньги и этим самым приобретали возможность спокойно писать. Федора Федоровича Нотгафта и моего мужа связывала горячая дружба, они вечно говорили об искусстве, менялись картинами. На вечерах «Дома Искусств» они замыкались в кругу художников, остальные их меньше интересовали. Кроме Бенуа, Сомова, Добужинского, там бывали: вечно оживленный, готовый на любые веселые затеи Юрий Павлович Анненков, необщительный и мрачный Замирайло, скульптор князь Сергей Александрович Ухтомский, Г. С. Верейский, талантливый рисовальщик, женатый на дочери проф. Кареева, иллюстраторы Митрохин и Конашевич, умный и тонкий художник Лансере, С. Еремин, П. Нерадовский, директор Русского музея (бывший музей Александра III), всех не перечтешь.

Беседы Ф. Ф. Нотгафта и моего мужа привели к зарождению нового издательства — «Аквилон». Совершенно сознательно муж мой решил не считаться с несвоевременностью и явной убыточностью такого предприятия. Художникам предложено было выбрать короткие повести или стихи, которые они хотели бы иллюстрировать. В

первую очередь была издана «Бедная Лиза» Карамзина, иллюстрированная М. В. Добужинским, и с его же иллюстрациями — «Белые ночи» Достоевского, «Скупой рыцарь» Пушкина, «Тупейный художник» Лескова (все это на протяжении 1921-1922 года). В издательстве «Аквилон» вышли еще три рассказа Анри де Ренье, иллюстрированные Д. Д. Бушеном, избранные стихи Фета с иллюстрациями Конашевича, альбом Версаля с иллюстрациями А. Бенуа, «Русь» (русские типы) Б. М. Кустодиева.

Было много планов, но с концом Нэпа издательство прекратилось. Свою роль оно все же сыграло: помогло художникам просуществовать в одну из труднейших зим. Эти маленькие книжки давно — библиографическая редкость. По своему художественному заданию, по изяществу выполнения они удивительно не соответствуют представлению о той эпохе, когда письма писались на оберточной бумаге, а книги выходили в совсем примитивном оформлении. Появление «Аквилона» тогда радовало, как доказательство, что жива особая петербургская культура книги и любовь к ней.

Люди и дни «Дома Искусств» далеко не исчерпаны этими беглыми строками и к ним надо еще не раз возвращаться, дополняя свои воспоминания.

А. БАХРАХ

Письма Марины Цветаевой

„Âme pour qui la mort fut une guérison".

Эти письма Марины Цветаевой пролежали под спудом почти сорок лет и уцелели только благодаря почти чудесному стечению обстоятельств. Они несомненно имеют некоторый интерес, — не столько для восстановления облика поэта, сколько для характеристики человека, для оценки его взглядов на литературу, на собственное творчество, пожалуй даже, на жизнь. Нередки случаи, когда письма полнее раскрывают личность поэта, чем его стихи. Это несомненно относится и к Цветаевой. Собрание ее писем — если оно когда-нибудь будет издано — составит, наряду с ее прозой, одну из наиболее значительных — по своей неповторимости — частей ее литературного наследства.

При чтении этих писем следует, однако, помнить, что писались они в начале двадцатых годов, — на «заре эмиграции». Много воды утекло за эти сорок лет, многое изменилось не только на географических картах, но и в сфере человеческих отношений, в восприятии окружающей нас действительности, в оценке многих литературных явлений. Изменился и смысл многих, даже казалось бы самых повседневных, самых обыденных слов. Поэтому, знакомясь с эпистолярным наследием Цветаевой, надо всегда делать поправку на их дату. В устах Цветаевой, под ее пером многие слова имели не тот или не совсем тот смысл, который мы им даем теперь.

В ту эпоху, когда писались эти письма, только короткий срок отделял Цветаеву от России. В Европе она была еще как бы «новичком» и еще таила в себе заряд московского воздуха. Она еще тогда не изжила особой атмосферы московских литературных кружков предреволюционной, «канунной» эпохи, и еще не изгладились в ней нерадостные впечатления первых лет русской революции. Не будучи по возрасту, да и по своим литературным вкусам, соучастницей русского символизма, Цветаева — этот запоздалый и не вовремя родившийся романтик — росла и литературно формировалась в воз-

духе, еще насквозь пропитанном символистскими веяниями. От младшего поколения символистов она — даже не разделяя их устремлений — заразилась их отношением к слову, вернее, к тому, что каждое слово может иметь несколько смыслов, из которых многие уже утеряны и едва ли восстановимы. Во всяком случае, эти вторые или третьи смыслы ни в каком словаре не найти.

Второе, что надо иметь в виду при чтении цветаевских писем — это тот историко-географический фон, на котором они писались. Печатаемые здесь письма Цветаева писала преимущественно из Праги или из каких-то медвежьих углов Моравии и адресовала их в Берлин, который перед тем несколько раз навещала. Берлин этих двадцатых годов был парадоксальным и неповторимым явлением. В чем-то это был еще более фантастический город, чем тот, который столетием раньше описывал Э. Т. А. Гофман.

Была так называемая «эпоха инфляции». Беспрецедентное падение германской марки, когда счет надо было вести на миллионы и миллиарды, затрагивало каждого его обитателя, коренного и случайного, и в каждом эта вынужденная эквилибристика непривычными цифрами вызывала необходимость жить не только сегодняшним днем, а текущим часом. Общая неустойчивость экономического, а отчасти и политического положения германской столицы отражалась на всем укладе жизни — и на быте, и на бытии. Все и каждый, и в частности русская литературная эмиграция (кстати сказать, в те дни весьма многочисленная и богатая громкими именами), были одновременно и в разных планах и миллионерами, и нищими. Обретенное чувство свободы еще многих опьяняло и еще немногие отдавали себе отчет в том, что они утеряли оседлость, утеряли возможность заниматься привычным ремеслом.

Эмиграция... Само это понятие, особенно в приложении к литературным кругам, имело тогда несколько иное содержание, чем сегодня. По принятой в те дни лубочной формуле Берлин почитался «столицей русского рассеяния». В этой столице — или, вернее, на этом русском островке — одно за другим возникали и лопались какие-то оторванные от реальности, идущие вразрез со здравым смыслом, с какой бы то ни было «бухгалтерией», русские предприятия — коммерческие, культурные, всякие. Если бы какой-нибудь досужий статистик согласился подсчитать количество эфемерных русских издательств, которые в те дни в Берлине возникали, количество русских книг, которое было тогда этими издательствами выпущено, эти выкладки показались бы настолько неправдоподобными, что никто бы им не поверил. В расчете на что производилась эта огромная работа? На эмигрантскую читательскую массу? На сбыт в Россию? Чтобы чем-нибудь занять себя? Или вообще без всякого расчета и только для того, чтобы сохранить преемственность русской культу-

ры? На эти вопросы трудно ответить. Но, оглядываясь назад, все это представляется ничем иным, как каким-то коммерческим (а, может быть, и не только коммерческим) донкихотством.

Наряду с этим возникали тогда в Берлине различные, но столь же недолговечные литературные учреждения и организации, вроде «Дома Искусств», «Клуба Писателей», всех не запомнить. В них, в обособленных залах берлинских кафе, в определенные дни собирались, спорили, слушали, читали доклады и новые стихи. Читали с воодушевлением и слушали со вниманием. Ведь и читающие, и слушающие («иных уж нет, а те далече») были тогда на сорок лет моложе!

Между наезжающими из России литераторами и теми, кто бесповоротно решился ее покинуть, не существовало еще преград, — никаких «железных» или иных занавесов. На этих литературных собраниях рядом с наиболее «маститыми» из писателей-эмигрантов, добровольных и вынужденных (как раз тогда была выслана из России многочисленная группа писателей, философов и ученых), можно было встретить Андрея Белого, Маяковского, Есенина, Пильняка, Пастернака; можно было услышать задорный спор Виктора Шкловского, ядовитые замечания Ходасевича, «аппетитное» чтение — с утрированно московским акцентированием — Алексея Толстого; ловить ироническую усмешку Эренбурга; следить за сладострастным причмоком старичка Минского, рассказывающего кому-то о своих встречах с Достоевским. Всех не перечислить, но, кажется, «все побывали там».

А по вечерам в кафе-ресторане „Prager Diele", вошедшим в историю русской литературы благодаря Андрею Белому, который в одной из своих заостренно-полемических статей создал неологизм «прагердильствовать», под неизменным председательством Эренбурга, снова собирались пишущие и их издатели. Сидели до поздней ночи, еще и еще спорили, обсуждали новые книги, новые литературные и издательские планы, знакомились с новоприезжающими из России — беглецами и «туристами». Здесь же возникали бурные, но мимолетные романы и здесь же нередко происходила их развязка, не менее бурная.

Может показаться странным и почти непонятным, что политика, которая теперь нависает над нами, разъединяет друзей и сближает людей, не имеющих, казалось бы, никаких точек соприкосновения, отсутствовала на всех этих сборищах. Не то, чтобы она была намеренно изгнана из разговоров — нет, она просто выключалась из круга ближайших интересов. Выход нового сборника стихов Ахматовой или Мандельштама, несомненно, казался более значительным явлением, чем любое политическое потрясение.

Естественно, что жизнь в этом призрачном, «неотмирном» бер-

линском мирке и притягивала, и отталкивала Цветаеву, осевшую в солидной, как тогда казалось, степенной, скучноватой и в меру провинциальной Праге, которая в те дни была другим полюсом русской эмиграции. И в Праге нашли себе убежище русские литераторы и ученые и в еще большем количестве русские студенты, поступавшие в университет не со школьной скамьи, а после долгих лет фронтового стажа. Жилось в этой «золотой Праге» спокойнее и беззаботнее благодаря щедрости правительства Масарика, стремившегося таким способом сохранить русскую культуру за рубежом. Но что было делать Цветаевой, с ее постоянными взлетами и падениями, с ее постоянными исканиями и захождениями в тупики, в этой «среде умеренности и аккуратности»? Этим и объясняется ее постоянный, трепетный интерес к русско-берлинскому литературному муравейнику, непрекращающиеся упоминания о нем в ее письмах, ее тяга туда, которая не всегда может показаться оправданной.

Но, кроме того, в этой переписке проскальзывает еще одна черта Марины Цветаевой. Прилагаемые письма или, точнее, выдержки из них, могут показаться сугубо личными, чрезмерно интимными, чем-то вроде любовной переписки, собственно, не подлежащей оглашению. Но это только первое и едва ли правильное впечатление.

В предисловии к тому цветаевской прозы, Ф. А. Степун, говоря о любовных стихах Цветаевой, заметил, что «она никогда не писала любовных стихов так, как будто на нее глядит мужчина». Но — добавляет Степун — она и не отвечала требованию Блока — «и не писала их и так, как будто на нее смотрит Бог. Цветаева писала стихи под взорами Пушкина и Гете, Гельдерлина и Рембо». Не будет преувеличением сказать, что как и стихи, так же, под тем же «давлением», с такой же напряженностью и, может быть, с тем же отсутствием меры писала она и свои письма, которые были всегда актом литературного творчества. И единственная поправка, которую мне хотелось бы сделать к замечанию Степуна — это прибавить к приведенному им списку еще два имени: с одной стороны, Рильке, а с другой, Ростана, — увы, Ростана. Юношеское увлечение Цветаевой этим уже полузабытым поэтом, пристрастие к звонкости его строк, к его театральной патетике — к некоторой внутренней театральности вообще — она сохранила надолго, сохранила почти бессознательно, сама того не замечая или стараясь не замечать.

Что бы Цветаева сама о себе не говорила и не писала, она всегда оставалась поэтом, большим и своеобразным поэтом, но, вместе с тем, никогда не переставала быть «литератором». Литература переполняла ее, была ее главным, основным интересом в жизни, ее raison d'être, — и, одновременно, началом всех ее личных трагедий. Много ли, мало ли она любила на протяжении своей жизни — это, в конце концов, не так существенно. Важнее то, что любила она свою лю-

бовь. „Amavi amare", могла бы она повторить слова блаженного Августина. Ей менее важен был человек, к которому в тот или иной момент устремлялись ее чувства, чем излияние этих чувств на бумаге — в словах, в строках. Здесь я, конечно, несколько схематизирую. Людей, с которыми Цветаева поддерживала более глубокие отношения, она «изобретала», творила своей фантазией, создавала своей прихотью, едва считаясь с их подлинной природой. Она их для себя — и только для себя одной — выдумывала, наделяя по своему усмотрению нечеловеческими добродетелями или демоническими пороками. Повторная трагедия (или трагикомедия) ее жизни заключалась в том, что в какой-то момент судьба или, вернее, обстоятельства как бы сталкивали этого воображаемого человека с реальностью и на этом испытании «проваливались» и творец, и его создание. Это противоречие бывало тем более глубоким, что по существу Цветаева никогда не лгала ни себе, ни другим. «Единственная обязанность на земле человека — правда всего существа», утверждала она и этой обязанности никогда не изменяла. Потому-то все ее «изобретения», все ее, казалось бы, еретические высказывания ad hoc о вещах и о людях (суждения, которые она могла на следующий день забыть), в каждый данный момент шли от души. Они были предельно искренни, но всегда оставались частью ее — по неуклюжей современной терминологии — «литературной продукции».

Эти уцелевшие листки бумаги, исписанные мельчайшим, бисерным, столь своеобразным почерком следует поэтому рассматривать, главным образом, или, собственно, всецело, как созданный по классическим образцам (хоть и в особом цветаевском преломлении) «роман в письмах» или, вернее, «новеллу в письмах». Вероятно, в этом и заключается их главный историко-литературный интерес, заранее не позволяющий возможности делать какие-нибудь зазорные, никому не нужные и ничего не объясняющие выводы. Эти письма, думается мне, какой-то новой и, может быть, характерной чертой дополняют образ Цветаевой-человека. В этом — оправдание их опубликования.

И в заключение еще одно. Мы знаем очень мало подробностей о ее последних днях. Знаем только, что она покончила с собой вскоре после возвращения в Советский Союз. Знаем приблизительно дату ее самоубийства. Этим, собственно, наши сведения ограничиваются. Мы не знаем и никогда не узнаем, *что* послужило последним толчком к этому роковому шагу. Семейные ли нелады? Гнетущая безвоздушность окружавшей ее обстановки? Некий остракизм, которому так или иначе она могла быть подвергнута по возвращении на родину? Сознание своего социального одиночества? С большой долей вероятности можно подумать, что причин для последнего, непоправимого шага было много.

Но, кроме перечисленных, мне кажется, была еще одна, для нее очень веская. В своем казанском полуизгнании Цветаева безошибочно поняла, что она перестала быть тем, чем была всю жизнь, перестала быть литератором. Она поняла, что в плане советской жизни — для того, чтобы не погибнуть — она должна слепо следовать за этой жизнью, идти с ней в ногу. В нищий и по-иному уединенный парижский период она могла одновременно жить в своем Медоне и обитать среди небожителей, окруженная ею самой создаваемой мифологией. Невзирая на все материальные лишения, на все личные потрясения — она могла уноситься в воображаемые миры, в миры своей фантазии. Там, в Казани, у нее оказались подрезаны крылья. Мир и для нее сделался однопланным. Может быть, именно эта необходимость следовать норме, не выделяться из толпы, быть как все — и привела к трагической развязке не только замечательного поэта, но и замечательного человека, который никогда не мог примириться с готовыми штампами, жить в мире рутины и проповедовать прописные истины. Отдельные фразы в ее письмах теперь звучат, как роковые предчувствия.

И, в конце концов, не о себе ли она думала, когда писала:

«Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно — т а м :
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам».

— —

Мокропсы, 9-го нов. июня 1923 г.

...Я не знаю, принято ли отвечать на критику иначе как колкостями — и в печати.

Но поэты не только не подчиняются обрядам, — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме утвердить обряд благодарности: критику — поэта. (Случай достаточно редкий, чтобы не слишком расчитывать на последователей!)

Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и посему озлобленных поэтов. (И как часто они пишут омерзительные стихи!) Но хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда м и м о, н е з а т о. Так, напр,

сейчас в газетах, хваля меня, хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала все эти вырезки. Это не я.

... У Вас редчайший подход между фотографией (всегда лживой!) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности: неустанно на Вы. У Вас хороший вкус: не «поэтесса» (слово, для меня, полу-почтенное) -- а поэт.

... Живя стихами с — — да с тех пор как родилась! — только этим летом узнала от своего издателя Геликона[1]), что такое хорей и что такое дактиль. (Ямб знала по названию блоковской книги, но стих определяла как «пушкинский размер» и «брюсовский размер») Я живу — и следовательно пишу — по слуху, т. е. на веру, и это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась — я бы в с я ничего не стоила!

— Что еще? — Ах, пожалуй главное! Спасибо Вам сердечное и бесконечное за то, что не сделали из меня «style russe», не обманулись видимостью, что, е д и н с т в е н н ы й из всех за последнее время обо мне писавших, удостоили, наконец, внимания С У Щ Н О С Т Ь, то, что вне наций, то, что над нацией, то что (ибо все пройдет!) — пребудет.

— А что за «Ремесло»?[2]) Песенное, конечно. Смысл, забота и радость моих дней. Есть у К. Павловой изумительная формула:

«О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло —
Моя напасть, мое богатство,
Мое святое ремесло!

Эпиграф этот умолчала, не желая, согласно своей привычке, ничего о б л е г ч а т ь читателю, ч т я читателя.

... И еще просьба: найдите мне издателя на книгу прозы «Земные Приметы», — московские записи 1917 г. — конец 19-го г. Здесь Москва, Революция, быт, моя дочь Аля, мои сны, мысли, наблюдения, встречи, — некий дневник души и глаз. Книга большая: около 450 печ. с т р а н и ц большого формата. (Сколько листов?) Р и ф ы э т о й к н и г и: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости — полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам. Да, еще: л ю т а я любовь к Германии и издевательство над бычачьим патриотизмом (русских!) в первый год войны.

Словом, издатель, как моя собственная грудная клетка, должен вместить В С Е. Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ. --- Вот. ---

... Книгу эту будут рвать (зубами!) все ... кроме настоящих, непредубежденных, знающих, что ПРАВДА — ПЕРЕБЕЖЧИЦА. А таких мало.

---

[1]) А. Г. Вишняк — владелец берлинского издательства «Геликон», погибший во время депортации нацистами.

[2]) Сборник стихов Цветаевой.

Обращаюсь к Вам потому-что Вы как будто любите мои стихи и еще потому-что Вы наверное по вечерам сидите в «Prager-Diele», где пасутся все издатели.

Шлю Вам самый искренний привет и благодарность.

Марина Цветаева

Мокропсы, 30-го июня 1923 г.

... Незнакомый человек — это все возможности, тот, от кого все ждешь. Его еще н е т у, он только завтра будет (завтра, когда меня н е будет!) Человека сущего я предоставляю всем, имеющее быть — мое. (NB: Вы, конечно, существуете, но для меня, чужого, Вас конечно еще нет. X для Y начинается в секунду встречи, — будь ему хоть 100 лет!)

... Вы пишете человеку: дорогой. Это значит, что другой, чужой, Вам дорог. Что же на это может выразить другой? Быть дорогим, это ведь не наш выбор, и не наше свойство, и не наша ответственность. Это просто не наше дело. Это наше — в данный час — отражение в реке, страдательное (т. е. обратное действенному!) состояние. Я же не могу сказать: «я не дорогая!» Это не свойство — слово неизменное и незаменимое, я употребляю его и в сравнительной степени, так, часто, говоря о человеке: «Он такой дорогой!» (Что, кажется, основательно разрушает все только-что мною сказанное!)

Ваш голос молод, это я расслышала сразу. Равнодушная, а часто и враждебная к молодости лиц, люблю молодость голосов. Вот эпиграф к одной из моих будущих книг: (Слова, вложенные Овидием в уста Сивиллы, привожу на память:) «Мои жилы иссякнут, мои кости высохнут, но ГОЛОС, Г О Л О С — оставит мне Судьба!» (Сивилла, согласно мифу, испросила Феба вечной жизни, з а б ы л а испросить себе вечной молодости! Не случайная забывчивость!)

Так вот, о голосе, Ваш голос молод, это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, — какое-то каменное материнство, материнство скалы. Слово, за всю мою недолгую жизнь, меня как-то растравило и пронзило, не знаю как сказать. Есть такие обнаженные слова. В них говорящий сразу беззащитен, но беззащитность другого делает беззащитным и нас!

... Теперь о «Ремесле», (слове). В сознательном мире права я: ремесло, как обратное фабричн. производству, артель — заводу, ремесленничество Средних Веков — стих К. Павловой и пр., но в мире бессознательном правы — Вы. Только не орудуйте логическими доводами! Это Вас в данный час не вывезет. Впрочем, на последний из Ваших доводов я польстилась: «Вы не только ежечасно выходите из пределов ремесла, Вы в них и не входите» — это прелестно, и верно, и мне от этого весело. Хотите, я Вам скажу, в чем главная уязвимость моего названия? Ремесло предполагает артель, это начало хоровое, над хором должен быть маэстро — мастер, у ремесленника должны быть собратья, — это какой-то к р у г. Ощущение со- (мыслия, -творчества, -любия и пр.) во мне

совершенно отсутствует, я и взаимную любовь (там где только двое!) ощущаю как сопреступничество. Я и Вечность (круг!) ощущаю как прямую версту. Н ю х о м своим — Вы правы!..

...Есть в Вашем письме одно место, над которым я задумалась, маленькая вставка, «случайность». Вы спрашиваете, где же я в «Психее»: в Мариуле или в Манон[3]) — и: «Бдение — или Бессонница?» Сначала я Бдение приняла, как обр. Бессоннице, т. е. как с о н, но сон обратен бдению, где же сопоставление? И вдруг — озарение, нет, не ошибка. Вы говорите именно то, что хотите сказать, эти д е л е н и я не-спать: бдение, как волевое, и бессонница, как страдательное (стихийное). Дитя, дитя, откуда?! Люди знают: спать (на то и ночь!), иногда: не-спать (голова болит, заботы) — но б д и т ь, да еще сопоставляя с бессонницей...

Будь я Иоанном, мне бы Христос н е д а в а л спать, даже когда бы меня в постель г н а л. Бдение, как потребность, стихия Бессонницы, пошедшая по руслу бдения, — Вам ясно? Вот мой ответ. Насчет реки — очень хорошо в «Психее»[4]). — Глубоко. — У меня где-то в записках есть: «У поэта не должно быть «лица», у него должен быть г о л о с, голос его — его лицо». («Лицо» здесь как ч т о, голос — к а к.) А то ведь все сводится к вопросу «темы». X пишет о Египте, Y — о смерти, Z — о XVIII в. и т. д. — Какая нищета! — Как собака, к-ая три раза крутится вокруг себя, чтобы лечь. И хвост тот-же, и подстилка та-же, и кость та-же... (NB! Обожаю собак!)

Есть у меня к Вам просьба (пока еще не деловая!) Не пишите без твердых знаков, это безхвосто, это дает словам неубедительность и читающему — неуверенность! Пишите или совсем без ничего (по новому!) или дайте слову и графически б ы т ь. Уверяю Вас, что «белогвардейщина» не при чем, — ведь я согласна на к р а с н о писание! — только не по «земгорски» (горцы равнины!), не по «либеральному», — пишите или как Державин (с Ъ) или как Маяковский! В этом отсутствующем Ъ, при наличии Ѣ — такая явная сделка!

...Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. Все «сорвавшееся» в мире — мое, от первого Адама до последнего, отсюда полная невозможность х р а н и т ь. В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас — к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я хорошие уши но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем вздохом — (или тем поводом к вздоху! —) единственным исходом для всех наших безысходностей.

Марина Цветаева

Теперь вспоминаю, смутно вспоминаю — и это глубоко между нами! — когда я решила книгу назвать «Ремесло», у меня было какое-то неизреченное, даже недоощущенное чувство иронии, вызова.

[3]) «Мариула» и «Манон» — стихи Цветаевой из книги «Психея».
[4]) Относится к рецензии о сборнике «Психея».

— «Ну посмотрим, что за «Ремесло»! И — в ответ все фурии ада и все сонмы рая!

Голубчик, Вы глубоко-правы, только Вы не т а к подошли, не оттуда повели аттаку. Вы принизили понятие Р е м е с л а, вы же должны были вскрыть несоответствие между сим в ы с о к и м понятием — и его недостойной носительницей.

Голубчик, Вы угадали интонацию, увидали — за сто верст! — начало моей усмешки. — «Что же это за «Ремесло»?! Я сначала не угадала, подумала, что Вы просто не знаете РЕМЕСЛА ПЕСНИ. Ваш вопрос был глубже моего ответа. Вы глубоко-правы, я не могу этого от Вас скрыть, но это глубоко между нами. Пусть остальные верят и умиляются! И строят на этом — свое собственное ремесло!..

Мокропсы — Прага, 14-го — 15-го июля 1923 г.

Друг,

...Ни о чем, вообще, не надо бы писать: отложить перо, вериться в пустоту и рассказывать (насказывать!) А потом — пустой лист — и наполненная пустота. Не лучше ли?

(Впрочем пустота — прорва и никогда не наполняется. В этом ее главное достоинство и — для меня — неотразимейший соблазн!)

Но одно меня останавливает: некая самовольность владения, насилие, захват.

Помните, у Гоголя, злой колдун, вызывающий душу Катерины? Я не злой колдун и я не для зла вызываю, но я вызываю, и я это знаю, и не хочу этого делать втайне. Только это (некий уцелевший утес мужской этики!) и заставляет меня браться зе перо, верней: помогает мне, тут же, с первой строки, не бросать пера!

Я говорю правду.

Продолжаю письмо из Праги, — из другого дома и из другой души.

Пишу в рабочем предместье Праги, под нищенскую ресторанную музыку, вместе с дымом врывающуюся в окно. Это — обнаженная жизнь, здесь и веселье — не на жизнь, а на смерть. (Кстати, что такое веселье? Мне н и к о г д а не весело!)

...У меня так много слов... Это — в о л ш е б н а я игра. Это полное va banque — чего? — и вот задумалась: не сердца, оно слишком малое в моей жизни! — может-быть его у меня вовсе нет, но есть что-то другое, чего много, чего никогда не истрачу — душа? Не знаю, как его зовут, но кроме него у меня нет ничего. И вот этим «последним»...

...Вы видите сны? Безнаказанность, безответственность — и беззаветность сна. Вы — чужой, но я взяла Вас в свою жизнь, я хожу с Вами по пыльному шоссэ деревни и по дымным улицам Праги, я Вам рассказываю (насказываю!) я не хочу Вам зла, я не сделаю Вам зла, я хочу,

чтобы Вы росли большой и чудный, и, забыв м е н я, никогда не расставались с тем — иным — м о и м миром!

Ясно ли Вам? Ведь это — наугад, но иногда наугад — в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный — я Вам поверю.

... Я хочу от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров.

Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой л и ч н ы й счет то, что направлено на Ваш счет — вечный. Не заподозрить — ни в чем. Не внести б ы т а. Имейте мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир — в слепую...

Я больше года не была в Берлине, последние воспоминания плачевные (если бы я умела плакать!) — я в неопределенной ссоре с Эренбургом и в определенной приязни с его женой, кроме того меня не выносит жена Геликона (все это — между нами) — и главное — я невероятно (внешне) беспомощна. Все это осложняет приезд. Я тот слепой, которого з а в о д я т все собаки.

... Что такое слово, чтобы уничтожить ч у в с т в о? Я такой силы ему не приписываю. Для меня — все слова малы. И безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств. Я не могу не ответить Вам своим же собственным стихом (год назад, в июле:)

... Есть час — на те слова!
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь...

Все дело — в часе.
А сейчас — мой час с Вами кончен.

МЦ.

(НА ОБОРОТЕ)[5])

В глубокий час души и ночи,
Не числящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечисляющиеся в ночах

Ничьим еще... Двойной запрудой
— Без памяти и по края —
Покоящиеся.
— Отсюда
Жизнь начинается твоя.

[5]) Эти стихи были напечатаны в сборнике «После России», Париж 1928.

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящий — Рим!
Сновидящее материнство
Скалы...
Нет имени моим

Потерянностям. — Все покровы
Сняв — выросшая из потерь! —
Так некогда над тростниковой
Корзиною клонилась дщерь

Египетская...

МЦ.

14-го июля 1923 г.

Мокропсы, 20-го июля 1923 г.

Милый друг,

Давайте на совесть: ведь сейчас между нами — ни одной вражды и, ручаюсь, что пока письма — ни одной вражды не будет... (Тело отнюдь не считаю полноправной половиной человека. Тело в молодости — наряд, в старости — гроб, из которого рвешься!)

...Ведь тела (вкусовые пристрастья наши) бесчеловечны. Психею (невидимую!) мы любим вечно, потому-что з а о ч н о е в нас любит — только душа! Психею мы любим Психеей, Елену Спартанскую мы любим глазами (простите за «мы», но я тоже люблю Елену!) — чуть ли не руками — и никогда наши глаза и руки не простят ее глазам и рукам ни малейшего отклонения от идеальной линии красоты*).

Психея вне суда — ясно? Елена н е п р е с т а н н о перед судьями.

Есть, конечно, предельная (т. е. — беспредельная) любовь: «я тебя люблю, каков бы ты ни был». Но каковым же должно быть это т ы! И это я, говорящее это т ы. Это, конечно, чудо. В любовной стихии — чудо, в материнской — естественность. Но материнство, это вопрос без ответа, вернее — ответ без вопроса, с п л о ш н о й ответ! В материнстве одно лицо: мать, одно отношение: ее, иначе мы опять попадаем в стихию Эроса, хотя и скрытого.

(Говорю о любви сыновней. — Вы еще следите?)

Итак, если при встрече (ставке) мы так же оттолкнемся, а можетбыть отклонимся — друг от друга, как ныне притягиваемся, — вывода два: или душа — ложь, а «земные приметы» — правда, или душа — правда, а «земные приметы» — ложь, но ложь — с и л а, тогда как душа — правда-с л а б о с т ь. (Соединительное тире!)

*) Б е з д у ш и я!

С Э-гом мы разошлись из-за безмерности чувств: его принципиальной, сшибшейся с моей, стихийной. Я требовала чудовищного доверия и понимания в о п р е к и (о ч е видности, отсылая его в з а очность!) Он — чего он требовал? Он просто негодовал и упирался в непонимании. Хотите пример? Люди его породы, с отточенной — и отчасти порочной — мыслью, очень элементарны в чувствах. У меня мысль и чувство, слово и дело, идеология и природный строй — сплошь разные и сплошь враждующие миры. «Мыслью я это понимаю, сердцем — нет!» «Я люблю вещь в и д е е, но ненавижу ее на столе» — «Так ненавидьте ее и в идее!» — «Нет, ибо моя ненависть к ней, на столе — слабость!» — «Не обратно-ли?». Коварная усмешка и: — «Не знаю».

У меня всегда было чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает. Мои «доблести» играют у него роль слабостей, все мои + (т. е. все мною любимое и яростно защищаемое) были для него только п р о щ е н н ы м и минусами. — Вам ясно? — Он, простив себе живую душу, прощал ее и мне. А я такого прощения не хотела. Как с женщинами: любуются их пороками и прощают: «милые дети!». Я не хотела быть милым ребенком, романтическим монархистом, монархическим романтиком, — я хотела б ы т ь. А он мне мое бытие п р о щ а л!

Это — основное расхождение. Жизненное — в другом. Жизненно он н и ч е г о не простил мне — там, где как раз нужно было простить! Он требовал (теперь вспомнила!) каких-то противоестественных сложностей, в которых бы я плыла как в реке: много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!) — все в «Prager-Diele», все шуточно... Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна.

Все это — весьма бесплотно, когда-нибудь в беседе «уплотню», писать об этом не годится.

В основном благородстве его, в б о л ь н о й доброте и в страдальческой сущности ни секунды не сомневаюсь.

А Л. М.[6]) — очарование. Она — птица. И страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но — взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она — героиня, но героиня в пустую, на подобие тех красавиц, с 39° температуры, танцующих ночь напролет. Мне ее глубоко, нежно, восхищенно — и бесплодно жаль.

Б. Н.[7]) нежно люблю. Жаль, что тогда прождал Вас даром. Он одинокое существо. В быту он еще беспомощнее меня, совсем безумен. Когда я с ним, я чувствую с е б я — собакой, а е г о — слепцом! Чужая (однородная) слабость исцеляет нашу. Лучшие мои воспоминания в Берлине о нем. Если встретитесь, скажите.

Вы пишете, в Б. меня любят. Не знаю. Знают и не любят — это со мной не бывает, не знают и любят — это бывает часто. Я такую любовь не принимаю на свой счет. Мне важно, чтобы любили не меня, а мое «я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее.

---

[6]) Л. М. — жена И. Эренбурга.

[7]) Б. Н. — Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев).

...Да, кстати, Вы любите грудных детей? Детей вообще? — Любопытно. —

Каким Вы были ребенком? Был ли рост — катастрофой? Если не лень и подходящий час, ответьте. Я не из праздного любопытства спрашиваю, это просто некоторое испытыванье дна.

(С той разницей, что плохой пловец, испытывая, боится его утратить, хороший пловец — н а й т и.

NB! В реке я — плохой пловец! Надо мной все смеются!)

Пишу Вам поздно ночью, только что вернувшись с вокзала, куда провожала гостя на последний поезд. Вы ведь не знаете этой жизни.

Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовней, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две «реставрации» (так, по-чешски, ресторан.) По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы.

И вот — в каждом домике непременно светящееся окно в ночи: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки — пикники, пирушки, неделю спустя — задумчивость. Студенты в большинстве, бывшие офицеры, — «молодые ветераны» как я их зову. Учатся, как некогда — в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор, выписывают из Москвы Архангельского.

Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетень, большое чувство чистоты.

Это вроде поселения, так я это чувствую, — поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор ж и т ь. (Дожить!) — Круговая порука. —

Я здесь живу уже с 1-го авг. 1922 г., скоро будет год. В Праге бываю раз — редко, два — в месяц. У меня и д и о т и з м на места, до сих пор не знаю ни одной улицы. Меня по Праге в о д я т. Кроме того, панически боюсь автомобилей. На площади я самое жалкое существо, точно овца попала в Нью-Йорк.

МЦ.

Как мне о многом, о многом надо еще рассказать!

Мокропсы, 25-го нов. июля 1923 г.

Милый друг,

Что у Вас в точности было с Эренбургами?

...Я хочу Вас безупречным, т. е. гордым и свободным настолько, чтобы идти под упрек, как солдат под выстрелы: души моей не убьешь!

Безупречность — не беспорочность, это — ответственность за свои

пороки, осознанность их — вплоть до защиты их. Так я отношусь к своим, так Вы будете относиться к Вашим.

Предположим, человек трус. Выхода два: или перебороть — или признаться, сначала самому, потом другим. — «Да, я трус». И, если этих других ч т и ш ь, объяснить: трус потому-то и потому-то. И все. — Просто?..

...Дружочек, нарушение формы — безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моложе — только это и делала в жизни! Все поймv. Посему, будьте правдивы. Не приукрашивайте, не выгораживайте себя, не считайте меня меньше, чем я есть и моего отношения — поверхностнее.

И в вопросе моем памятуйте одно: его цель...

...Об эстетстве. Эстетство, это бездушие. Замена сущности — приметами. Эстеты, минуя живую з а р о с л ь, упиваются ею на гравюре. Эстетство, это расчет: взять все без страдания: даже страдание превратить в усладу! Всему под небом есть место: и предателю, и насильнику, и убийце, — а вот эстету нет! Он не считается. Он выключен из стихий, он нуль.

...Не будьте эстетом! Не любите: красок — глазами, звуков — ушами, губ — губами, л ю б и т е в с е д у ш о й. Эстет, это мозговой чувственник, существо презренное. Пять чувств его — проводники не в душу, а в пустоту. «Вкусовое отношение», — от этого не далеко до гастрономии.

О, будь Вы сейчас здесь, я повела бы Вас на мою скалу, поставила бы Вас на гребень: Владейте! Я подарила бы Вас — всему!

...Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет, — мне было 20, я то-же говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму:

— «Что Марина — когда Москва?! «Марина» — когда Весна?! О, Вы меня д е й с т в и т е л ь н о не любите!»

Меня это всегда удушало, эта узость. Любите м и р — во мне, не м е н я — в мире. Чтобы «Марина» значило: мир, а не мир — «Марина».

Марина, это — пока — спасательный круг. Когда-нибудь одерну — плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией. Марины нет — когда мера!..

...Ведь я для себя — полустанок, я сама из себя звук!

...Это все, потому-что Вы там, а я здесь. Когда Вы увидите меня, такую равнодушную и такую веселую у Вас сразу отляжет от сердца. Я еще никого не угнетала и не удушала в жизни, я для людей — только повод к ним самим. Когда это «к ним самим» — есть, т. е. когда о н и с а м и — есть, — ВСЕ ЕСТЬ.

Над отсутствием я бессильна.

...Ряд вопросов: 1) сумеете ли Вы достать мне разрешение на въезд и жительство в Берлине и сколько это будет стоить? (Говорю о разрешении) 2) где я буду жить? (М. б.— в «Trautenauhaus», но в виду расхождения с И. Г. Э.[8]) — не наверное.)

3) Будет ли к половине сентября в Берлине Б. Н.?[9])

---

[8]) И. Г. Эренбург.

[9]) См. примечание 7.

4) Есть ли у Вас для меня в Берлине какая-нибудь милая, веселая барышня, любящая мои стихи и готовая ходить со мной по магазинам. (Здесь, в Праге, у меня — три!)

5) Согласны ли Вы от времени до времени сопровождать меня к издателям и в присутств. места (веселая перспектива?!)

6) Есть ли у Вас ревнивая семья, следующая за Вами по пятам и в каждой женщине (даже стриженой!) видящая — роковую?!

7) Обещаете ли Вы мне вместе со мной разыскивать часы: мужские, верные и не слишком дорогие, — непременно хочу привезти Сереже, без этого не поеду.

Имейте в виду, что я слепа, глупа и беспомощна, боюсь автомобилей, боюсь эстетов, боюсь домов литераторов, боюсь немецких Wohnungsamt'ов, боюсь Untergrund'ов, боюсь эсеров, б о ю с ь в с е г о, ч т о д н е м — и н и ч е г о, ч т о н о ч ь ю.

(Ночью — только души! И духи! Остальное спит.)

Имейте в виду, что со мной нужно няньчиться, — без особой нежности и ровно столько, сколько я хочу — но неизбывно, ибо я никогда не вырастаю.

Словом, хотите ли Вы быть — собакой слепого?!

... Привезу с собой новые стихи, много. И буду Вас натаскивать по «русскому руслу». (Хорошая перспектива?!)

... Не забудьте ответ на все мои вопросы о Берлине. Жму руку.

МЦ.

Мокропсы, 25-го июля 1923 г.

Дружочек,

Пишу Вам во мху (писала в тетрадку, сейчас переписываю) сейчас идет огромная грозная туча — сияющая. Я читала Ваше письмо и вдруг почувствовала присутствие чего-то, кого-то другого рядом. Оторвалась — туча! Я улыбнулась ей так же, как в эту минуту улыбнулась бы Вам.

(NB! Минута: то, что минет!)

Короткий мох колет руки, пишу лежа, подыму голову — она, сияющая. А рядом, как крохотные танцовщицы — лиственницы. (Солнце сквозь тучу брызжет на лист, тень карандаша как шпага!)

Шумит поезд и шумят пороги (на реке), и еще трещат сверчки — и еще пчелы — и еще в деревне петухи — и все-таки тихо. (Не тихо очевидно только от людей!)

... Уйдите с моим письмом на волю, чтобы ветер так же вырывал у Вас из рук — мои листы, как только что из моих — Ваши. (О, ветер ревнив! Вот Вам, отчасти, ключ к «Царь-Девице».[10]) Постепенно расшифруем все!)

[10]) Сказка Цветаевой, изданная в Берлине в 1923 г., издат. «Эпоха».

...Милый друг, последнее десятилетие моей жизни, за тремя-четырьмя исключениями — сплошная Prager-Diele. Я прошла жестокую школу и прошла ее на собственной шкуре (м. б. на мне учились, не знаю!) Двадцати лет, великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявляла: «раз я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы у него срезали, я его все-таки любила». Фомам Неверующим я добавляла: «я бы его еще больше любила».

И десять лет под ряд, в ответ, непреложно:

— «Это Романтизм. Это ничего общего с любовью не имеет. Можно любить мысль человека — и не выносить формы его ногтей, отзываться на его прикосновение — и не отзываться на его сокровеннейшие чувства. Это — разные области. Душа любит душу, губы любят губы, если Вы будете смешивать это и, упаси Боже, стараться совмещать, Вы будете несчастной».

Милый друг, есть доля правды в этом, но постольку, поскольку Вы — цельное, а другой — раздробленность. В большинстве людей ничто не спевается, сплошная разноголосица чувств, дел, помыслов: их руки похожи на их дела и их слова — на их губы. С такими, т. е. почти со всеми, эти опыты жестоки и напрасны. Кроме того, по полной чести, самые лучшие, самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что — руки опускаются, не узнаешь: Вы-ли? В вплотную-любви в пять секунд узнаешь человека, он явен и — слишком явен! З д е с ь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которой я любовалась, которую я чтила, вдруг исчезала в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра, я не хочу такого самозабвения, вместе с с о б о й забывающего и меня. Была моложе — ранило, стала старше — ограничилась высокомерным, снисходительным (всегда страстным) любопытством. Я стала д о б р а, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь наблюдала другую душу — или ее отсутствие. Я стала записывать: повадки, жесты, словечки, — когда в тетрадку, когда поглубже. Я убедилась в том, что именно в любви другому никогда нет до меня дела, ему дело до себя, он так упоительно забывает меня, что очнувшись — почти что не узнает. А моя роль? Роль отсутствующей в присутствии? О, с меня в конце концов этого хватило, я предпочла быть в отсутствии присутствующей (это мне напоминает молитву о «в рассеянии — сущих») — я совсем отбросила эту стену — тело, уступила ее другим, всем.

Но в глубокие часы души... все мои опыты, все мои старые змеиные кожи — падают. Любя шум дерева, беспомощные или свободные мановения его, не могу не любить его ствола и листвы: ибо — листвой шумит, стволом — растет! Все эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие. О, упомянутые «Prager-Diele» этим цвели, — как и знакомая Вам «Prager-Diele». Здесь сплошной расчет. Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбления под видом «откровений». — Я просто устранилась, как устраняюсь всегда при заявлении: «то-то и то-то я в Ваших стихах принимаю, того-то и того-то — нет». Это — деление живого, насилие, оскорбление, я не могу, чтобы во мне выбирали, посему: изымаю себя из упот-

ребления вовсе, иду в мои миры, вернее вершу с в о й мир, заочный, где я хозяин!

— Ясно? — О, мой друг, как силен должен быть Бог в человеке, чтобы он среди людей не сделался или скотом или демоном!

... Вчера я Вам писала (еще на Берлин) об эстетстве «отравы ради отравы», и сегодня Ваша приписка: «Что-то в том письме было не так». Вы отвечаете п р е ж д е чем я спрашиваю, я бы Вас сравнила с камертоном, Вас не собьешь.

Но, возвращаясь к «боли ради боли», признаюсь Вам в одном. Сейчас, идя по лесу думала: «а откуда же тогда этот вечный вопль души в любви: «Сделай мне больно!» Жажда боли, вот она, налицо! Что мы тогда хотим? И не об этом ли Вы, отражая, писали?

Ведь душа — некая единовременность, в ней все — сразу, она вся — сразу. Постепенность — дело выявления. Пример из музыки: ведь вся гамма в горле уже е с т ь, но нельзя спеть ее с р а з у, отсюда: если хочешь спеть гамму, не довольствуешься иметь ее в себе, смирись и признай постепенность.

... Последние стихи Ходасевича о заумности («Совр. З.») — прямой вызов Пастернаку и мне. (Мой единственный б р а т в поэзии!) «Ангела, Богу предстоящего» я всегда предпочитаю человеку...

Вам, как литературному критику, т. е. предопределенному лжецу на 99 строках из 100, нужно быть и терпимей, и бесстрастней, и справедливей.

... Из поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего, — но авось опять подрастет!) И уже совсем по другому уже, Ахматову и Блока (Клочья сердца.)...

... Есть ли у Вас «Tristia» Мандельштама? М. б. Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений) что стихи: «В разноголосице девического хора», «На розвальнях, уложенных соломой», «Но в этой странной, деревянной — и юродивой слободе»[11]) — и еще несколько — написаны мне. Это было в Москве, весной 1916 г. и я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за жены (недавней и ревнивой) открыто посвятить не решился.

У меня много стихов к нему, когда будете в Берлине, посмотрите (предпоследний, кажется) № «Русской Мысли»[12]). Кажется, все к нему. Посвятить их ему открыто я из-за его жены (недавней и ревнивой) не решилась.

Дружочек, я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур, — а сама змея молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало.

А у вас, в Берлине, революция — или вроде? Пулеметная стрельба по ночам? Убийства из за угла? Пустые магазины? Воззвания? Карточная система?

---

[11]) Три стихотворения Осипа Мандельштама, вошедшие в сборник «Tristia». Третье из упомянутых Цветаевой начинается словами «Не веря воскресенья чуду»; строка, приведенная Цветаевой, в действительности звучит так: «Но в этой темной, деревянной и юродивой слободе...»

[12]) Журнал, выходивший в Софии под редакцией П. Б. Струве.

Так, пожалуй, весь мой приезд провалится. (NB! Тема для статьи: «Женщина и политика».) Напишите, что думаете, когда начнется и когда кончится. А что будет с дорогими издателями? Их книгами будет топить обездоленная интеллигенция!

Стоит ли мне кончать рукописи? Если это бессмысленно, лучше брошу и буду писать стихи. Ответьте на все, поскольку можете. Я искренно огорчена. Я так радовалась берлинским асфальтам, фонарям, моему дорогому немецкому говору, я радовалась — революция похожа на правду.

... Видеть мне в Берлине хочется: Л. М.[13]), Белого и одну милую немку, к-ая, кажется пропала. И еще Синезубова[14]) (знакомы?) И, боюсь обидеть, но кажется больше никого. А видеть придется: но фамилий лучше не писать! Мне бы хотелось жить там, где меня никто не найдет. До страсти не хочу споров. А разгораюсь мгновенно.

... К Синезубову пойдем вместе... И к Ремизову вместе (ах, одного все-таки забыла!) — одна я к Ремизову не могу: угнетают и одуряют игрушки, которые с детства н е н а в и ж у. Угнетает жизнь в комнате, помимо человека, угнетает комната. Придем с подарком: куплю здесь каких-нб чешских уродов, и есть у меня для него какие-то образцы старого славянского письма.

Читали ли Вы «Николая Курбова»?[15]) Начата она была во время нашей горячей дружбы с Э-гом и он тогда героиню намеревался писать с меня. (Герой — сын улицы, героиня — дочка особняка, так? Или передумал?)

Зачатая в любви, выношенная и рожденная в ненависти, героиня должна была выйти чудовищем. — Так? — Напишите.

Умиляет меня Ваше няньчание с Б. Н., узнаю себя. Думаю, что это дитя глубоко-неблагодарно (как все дети!) но неблагодарностью какой-то более умилительной. Вспоминаю его разгневанный взгляд — вкось, точно вслед копью — на дракона (Штейнера или еще кого-нибудь.) Встречу с Б. Н., как недавнюю встречу с Штейнером, расскажу. «Книга разлук и встреч» — вот моя жизнь. Вот всякая жизнь. Я счастлива на разлуки!

О Б. Н... У него никого нет, все эти поклонницы — вздор. Я никогда не была поклонницей Бальмонта, но паек таскать я ему помогала. Презираю словесность. Все эти цветы, и письма, и лирические интермедии не стоят во-время зачиненной рубашки. «Быт»? Да, это такая мерзость, что грех оставлять ее на плечах, уже без того о б р е м е н е н н ы х крыльями!

Где Ася?[16]) Что с Кусиковым? встречу — 12 л. назад! — с беловской Асей тоже расскажу.

«Расскажу»... это не значит, что я не буду слушать. Но слушаю я не речи: сердце! — как врач. И вот уже мысль: сердце можно слушать, как врач и как враг: враг, наклонившийся над спящим!)

---

[13]) См. примечание 6.
[14]) Н. Д. Синезубов — художник-декоратор.
[15]) «Жизнь и гибель Николая Курбова» — роман И. Эренбурга.
[16]) Ася — жена Андрея Белого, урожденная Тургенева.

Буду много слушать: глазами, ушами, душой. Будем сидеть вечерами в самом нищем кафэ, где никого и ничего нет, курить (Вы курите?) и непрерывно расставаться.

... Пишу поздно вечером, после бурного ясного ветреного дня. Я сидела — высоко — на березе, ветер раскачивал и березу и меня, я обняла ее за белый ровный ствол, мне было блаженно, м е н я не было.

И вдруг — слухи о Берлине, упорные, со всех сторон, с подробностями, которых и в Берлине не знают. Мир газет — мне страшен, помимо в с е г о, заставлющего ненавидеть газету, это стихию людской пошлости! — я ее ненавижу за и с п о д т и ш к а, за коварство ее ровных строк.

Беспокоюсь о Вас. Пишите.

МЦ.

17-го августа 1923 г.

Я писала Вам дважды и ответа не получила. Последнее, что я от Вас имела — Ваша открытка от 25-го июля (3 недели назад.)

Если мои письма дошли — всякие объяснения Вашего молчания излишни, равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены.

Письмо, оставшееся без ответа, это рука, не встретившая руки. Вы просто не подали мне руки. Не мое дело — осведомляться о причинах, и не Ваше — о моих чувствах.

Итак, только: д о ш л и или н е т?

МЦ.

(Окончание в следующей книге)

В МИРЕ КНИГ

Заметки о новых книгах

«БУНТУЮЩИЙ ПРОРОК». Дональд Лаури. Нью-Йорк.

Автор — американец, прекрасно говорящий по-русски. В библиотеках Москвы, Ленинграда, Киева он собрал и изучил материалы о Бердяеве. В Париже автору помогали Борис Зайцев, Алексей Ремизов, профессор А. Карташев и другие друзья и родственники знаменитого философа.

«Бунтующий пророк» — книга о жизни и творчестве Бердяева.

Творчество Бердяева уже давно вызывает широкий интерес не только в странах Запада, но и в Азии. Все книги Бердяева переведены на многие языки. Немало вышло и книг, посвященных его творчеству. Так, в Лондоне вышли книги — Кларка «Введение в философию Бердяева» и Джорджа Сивера «Николай Бердяев»; в Швейцарии — книга Поррэ «Николай Бердяев, пророк нового времени»; в Германии — книга Росслера «Мировоззрение Николая Бердяева»; в Америке — книга Спика «Николай Бердяев, пленник свободы». Наконец, в Токио, под редакцией профессора Садао Тагучи, вышел сборник статей о Бердяеве. Но никому еще не удавалось дать такой живой очерк о жизни Бердяева, как Дональду Лаури.

Лаури рисует образ Бердяева на фоне широкой картины русской культурной жизни начала этого века, когда так же, как и Бердяев, многие крупные русские марксисты ушли от марксизма к идеализму и религии. Показывая Бердяева тех лет, Лаури приводит цитату из воспоминаний профессора Федора Степуна:

«Особенно видной фигурой был философский спутник Булгакова — Бердяев. Оба они начали с марксизма, оба эволюционировали к идеализму, и вот оба горячо защищают славянофильскую идею христианской культуры... Бердяев... не только красив, но и на редкость декоративен... Иногда он невольно напоминает колоритно-страстные и все же духовно утонченные портреты Тициана... Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат».

При царском режиме за участие в освободительном движении Бердяев побывал в тюрьме и ссылке. Но самая драматическая часть биографии Бердяева относится к первым годам после революции. Лаури

рассказывает, как со свойственным ему бесстрашием и мужеством, в присутствии коммунистического цензора, Бердяев читал рабочим и красноармейцам лекции о Достоевском и христианстве. Теперь трудно даже себе это представить. Но созданная Бердяевым Вольная академия духовной культуры открыто просуществовала тогда несколько лет. Бердяев был арестован в двадцатом году, в связи с делом так называемого «тактического центра», к которому он никакого прямого отношения не имел. Лаури передает об этом по рассказу самого Бердяева из его книги «Самопознание»:

«Однажды, когда я сидел во внутренней тюрьме Чека, в двенадцатом часу ночи меня пригласили на допрос. Меня вели через бесконечное число мрачных коридоров и лестниц. Наконец, мы попали в коридор, более чистый и светлый, с ковром, и вошли в большой кабинет, ярко освещенный, со шкурой белого медведя на полу. С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин, с жидкой, заостренной бородкой, с серыми, мутными и меланхолическими глазами... Он попросил меня сесть и сказал: 'Меня зовут Дзержинский'. Это имя человека, создавшего Чека, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер: приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека Менжинский, которого я немного знал в прошлом (я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом). Очень выраженной чертой моего характера является то, что в катастрофические и опасные минуты жизни я никогда не чувствую подавленности, не испытываю ни малейшего испуга, наоборот, испытываю подъем и склонен переходить в наступление. Тут, вероятно, сказывается моя военная кровь. Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведя весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: 'Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю'. Дзержинский мне ответил: 'Мы этого и ждем от вас'. Тогда я решил говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию... Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма, вместе с тем я настаивал на том, что я человек не политический... По окончании допроса Дзержинский сказал мне: 'Я вас сейчас освобожу, но вам нельзя будет уезжать из Москвы без разрешения'. Потом он обратился к Менжинскому: 'Сейчас поздно, а у нас процветает бандитизм, нельзя ли отвезти господина Бердяева домой на автомобиле?' Автомобиля не нашлось, но меня отвез с моими вещами солдат на мотоциклетке. Когда я выходил из тюрьмы, начальник тюрьмы, бывший гвардейский вахмистр, который сам сносил мои вещи, спросил у меня: 'Понравилось ли вам у нас?' Режим тюрьмы Чека гораздо более тяжелый, дисциплина тюрьмы революции более суровая, чем в тюрьме старого режима. Мы находились в абсолютной изоляции, чего не было в прежних тюрьмах».

Лаури приводит и дальше рассказ Бердяева:

«Некоторое время я жил сравнительно спокойно. Положение начало меняться с весны двадцать второго года. Образовался антирелигиозный фронт, начались антирелигиозные преследования. Лето двадцать второго года мы провели в Звенигородском уезде, в Борвихе. Мы забывали о кошмарном режиме, он чувствовался меньше в деревне. Однажды я поехал на один день в

Москву. И именно в эту ночь, единственную за все лето, когда я ночевал в нашей московской квартире, явились с обыском и арестовали меня. Я просидел около недели. Меня пригласили к следователю и заявили, что я высылаюсь из Советской России за границу. С меня взяли подписку, что в случае моего появления на границе СССР я буду расстрелян. После этого я был освобожден. Но прошло около двух месяцев, прежде чем удалось выехать за границу. Высылалась за границу целая группа писателей, ученых, общественных деятелей, которых признали безнадежными в смысле обращения в коммунистическую веру. Это была странная мера, которая потом уже не повторялась. Я был выслан из своей родины не по политическим, а по идеологическим причинам. Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать, и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом».

За границей Бердяев жил сначала в Берлине, а с двадцать третьего года до самой своей смерти в Париже, вернее, под Парижем, в местечке Кламар. Во Франции Бердяев написал много книг. Эти книги оказали огромное влияние на целое поколение молодой французской интеллигенции, особенно на группу журнала «Эспри». Участники этой группы соединяли духовные и религиозные устремления с поисками социальной справедливости. В этом соединении Лаури видит главную особенность и философии Бердяева и всей русской мысли. Он приводит слова профессора Федора Степуна:

«Для русского мыслителя, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь... что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы».

В своей книге «Бунтующий пророк» Лаури рассказывает о ненависти Бердяева к Гитлеру и нацизму. Говоря о философских исканиях Бердяева, Лаури определяет их сущность цитатой самого Бердяева, из книги «Русская идея»:

«Мои взгляды на поверхности могли меняться, главным образом, в зависимости от моих иногда слишком острых и страстных реакций на то, что в данный момент господствовало, но я всю жизнь был защитником свободы духа и высшего достоинства человека».

«ДОЛГИЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ». Проф. Джеймс Шотуэлл, США.

Автор — известный американский историк. Его книга — это история свободы от каменного века до наших дней, рост идеала личной свободы через все века.

«Борясь за свободу, мы боремся за единственную возможную основу будущего общества, основу, которая гарантирует каждому свободу мысли и свободный выбор деятельности. У общества, которое восстанавливает древние табу и наказания для независимо мыслящих, нет будущего. Справедливость то-

же не может быть установлена казарменной регламентацией. Человеку должна быть предоставлена свобода исследования и опыта, свобода думать по-своему, по-своему выражать свои мысли. Эта свобода должна охраняться законом и традицией... Цивилизация не механизм, а жизненный принцип или, вернее, воплощение многих жизненных принципов, которые уходят корнями в различную почву и находят себе выражение в разных культурах. Цивилизация не может процветать, не может даже просто выжить, если те, у кого в руках власть, отнимают у людей основные свободы. Тирания отрицает эти свободы, и тем самым она — не форма правления, а преступление против общества. Зрелость общества определяется той степенью основных свобод, которые в нем охраняются. Значение подлинной демократии — в охране прав меньшинства и допущении оппозиции. Оппозиция должна быть признана законным органом демократического правительства. Нарушение этого принципа — фашизмом в Италии, национал-социализмом в Германии, коммунизмом в странах народной демократии — стало препятствием для дальнейшего движения человечества к свободе».

Давая в своей книге анализ тех сил, которые или способствовали или, во всяком случае, не мешали развитию свободы, профессор Шотуэлл придает особое значение современной научной революции:

«Когда наука изобрела машину, она создала человеку заместителя. Машина это нечто совсем другое, чем прежние простые орудия, помогавшие человеку в его труде, но не заменявшие его, как работника. Машина придала орудиям производства такую силу, что человеку достаточно только приспособить ее к определенной работе и снабжать ее каким-либо видом энергии. Уже одно это совершенно меняет всю жизнь как отдельного человека, так и всего общества. Машины делают производственные возможности безграничными. Рядом с человеком в мире вырастает армия роботов, работающих и больше и с большей точностью, чем миллионы самых квалифицированных рабочих. Новая научная эра, — это не временная историческая интермедия, подобная чуду Греции или Возрождения. Она обеспечивает свое собственное продолжение и развитие и никогда не остановится. Каждое новое изобретение вызывает изменения общественных условий, которые, в свою очередь, толкают к новым изобретениям... Из прошлых столетий, где господствовала рутина и неподвижность, мы вступили в эру непрерывных изменений, непрерывного роста власти над природой и необходимости непрерывных изменений общественного строя».

Профессор Шотуэлл считает, что первый, кто понял все значение современной промышленной научной революции в истории человечества, был французский философ Анри Бергсон. Шотуэлл приводит слова Бергсона:

«Больше ста лет прошло со времени изобретения парового двигателя. Но только теперь мы начинаем чувствовать глубину потрясения, вызванного этим изобретением. Революция, произведенная им в промышленности, перевернула все человеческие отношения. Родились новые идеи, новые чувства. Когда через тысячу лет будут вспоминать наше время и будут видеть только главные линии, тогда наши идеологические войны и революции покажутся исторически несущественными, но о цепи непрерывных изобретений, начавшихся с парового котла, будут говорить, как о самом главном».

Приведя эту цитату из Бергсона, профессор Шотуэлл пишет:

«Современная наука — это подлинный хозяин человеческой свободы. Революция всех условий жизни, которую она вызвала, едва только началась, но

она уже изменила природу проблемы свободы. Прежде решения этой проблемы искали главным образом на пути защиты личности от подавления и произвола. У власти была отвоевана драгоценная сфера личной свободы, личной автономии. Этот рост свободы, вошедший в 'хабеас корпус' и в 'Декларацию прав человека' — наше великое историческое достижение. Но теперь, благодаря научной и промышленной революции, возможен переход к более широкому пониманию свободы...»

«Господство науки над силами природы все растет. Но теперь наука требует и новых человеческих отношений. Она требует освобождения человека от всяких табу, от эксплуатации и войны. Правда, так же, как и все другие средства освобождения, наука при злоупотреблении властью может стать и орудием порабощения. Однако наука ставит войну вне закона, изменяя самую природу войны, превращая ее из контролируемого орудия политики в бессмысленное и преступное всемирное разрушение. Наука делает возможным постоянное благосостояние для всех людей, без которого нет социальной справедливости. Таким образом наука приводит нас к открытию подлинной природы цивилизации. Это воистину поворотный пункт в историческом процессе. Все его значение нам еще трудно осознать из-за путаницы, созданной двумя мировыми войнами. Борьба с предрассудками, эксплуатацией, несправедливостью и войной далеко еще не кончена. Но перед нами уже маячит обещание окончательной победы. Все военные авторитеты признают бессмысленность войны, и предрассудки, и разные табу отступают перед наукой. Тем не менее, остается еще самая трудная задача: это устранение эксплуатации и установление социальной и экономической справедливости. Как достигнуть этого, сохраняя в то же время наследство свободы, завоеванное такой долгой борьбой? Вот главный вопрос сегодняшнего дня. Идиллическое представление Маркса, унаследованное Лениным, что мир будет освобожден от эксплуатации, как только будут национализированы средства производства, привело не к большей свободе, чем в обществе частной инициативы, а, наоборот, к установлению новой тирании. Партийная диктатура контролирует жизнь человека, и малейшее нарушение установленных ею правил рассматривается, как государственная измена. Коммунисты все еще повторяют по 'Коммунистическому манифесту', что пролетариям нечего терять, кроме цепей. Но там, где им удалось установить свою диктатуру, они выковали для них новые цепи».

Главную ошибку коммунизма профессор Шотуэлл видит в их подходе к решению вопроса о социальной справедливости с точки зрения революционной доктрины, которая стремится уничтожить капитализм. В результате, — пишет Шотуэлл, — нарастает «холодная война с угрозой —

перейти в горячую, которая приведет к полному уничтожению цивилизации. Но история учит нас, что в определенное время при новых условиях все подобные фанатические идеологии исчезают. История учит, что наука — эта величайшая динамическая сила в эволюции человечества — создает такие новые условия, которые делают подобные застывшие догматические доктрины неприменимыми. Будущее не может быть похоже ни на современный коммунизм, ни на современный капитализм. Доктрины, конечно, останутся для тех, кто в них заинтересован. Но, как триста лет тому назад, католицизм и протестантизм под влиянием новых условий и новых представлений прекратили воевать друг с другом, так изменится в нашем вечно меняющемся мире и теперешний догматический спор между капитализмом и коммунизмом».

«ФИЗИКА И МИКРОФИЗИКА». Луи де Бройль, Париж — Нью-Йорк.

Автор — знаменитый французский ученый-физик. Он первый выдвинул идею о волновых свойствах материи, которая легла в основу квантовой механики.

В прежних своих работах Луи де Бройль писал о плодотворности новых достижений и идей современной физики для психологии, философии, социологии. В книге «Физика и микрофизика» этим вопросам посвящено несколько глав. Главу «На восходе атомной эры» автор начинает цитатой из книги философа Анри Бергсона «Два источника морали и религии»:

«Машины, которые позволяют использовать потенциальные энергии природы, безмерно увеличили наше тело и дали нам огромное могущество... Но в этом выросшем теле душа осталась прежней, слишком маленькой, чтобы руководить этим гигантским телом, которое ждет соответствующего увеличения души. Иными словами, машинизм призывает мистицизм... Человечество недостаточно понимает, что его будущее зависит от него самого. Только оно само может решить, хочет ли оно продолжать жить».

Далее де Бройль пишет:

«Эра атомной энергии может стать эрой чудесного прогресса, эрой лучшей жизни для всех. Но она может стать и эрой беспощадной борьбы, которая по разрушительности и ужасу превзойдет все предыдущие войны. При современных чудовищных средствах разрушения человечество стоит перед риском самоуничтожения. Иными словами, мы находимся теперь в положении, предвиденном Бергсоном. Окажется ли наш дух, наш разум достаточно сильным, чтобы использовать во благо наши безмерно увеличившиеся возможности действия? Только от нашей воли зависит, как мы воспользуемся неслыханным могуществом, которое дает нам наука. Мы чувствуем теперь все трагическое значение поставленной Бергсоном проблемы. Человечество недостаточно понимает, что его будущее зависит от него самого. Только оно само может решить, хочет ли оно продолжать жить...»

«Пока возможности действия человека были ограничены несовершенством его орудий, были ограничены и последствия его дурных действий. Но по мере того, как научный и технический прогресс увеличивал наши возможности действовать, пропорционально росли и возможности разрушать. Эволюция войны в наше время трагический тому пример. Каждая новая война захватывала все более обширные пространства, бросала в мясорубку все большее число бойцов и все более подвергала гражданское население таким же опасностям, как и солдат. Термоядерная война будет настоящим адом, весь ужас которого мы даже не можем себе представить. Но не только войны могут привести к таким трагическим последствиям. Легко вообразить другие катастрофы, которые еще лучше выявляют природу угрожающей нам опасности. Полвека тому назад люди, которых тогда называли анархистами, бросали бомбы в места скопления народа — в кафе, в церквах, на вокзалах и даже в палате депутатов. Эти бомбометатели вызывали тогда, понятно, общественное возмущение. Однако число жертв и материальные разрушения, причиненные их бомбами, было ограничено. Представим теперь себе, что завтра новые анархисты сумеют бросать атомные бомбы, которые будут уничтожать целые города. Здесь скрывается подлинная трагедия. Воли одного человека будет достаточно, чтобы развязать чудовищную разрушительную энергию. Вот почему огромное увеличение нашего могущества требует от человека и большей ответственности. Последствия моральной неустойчивости будут неисчислимы.

Сегодня моральная проблема приобретает гораздо большее значение, чем в прошлом. Пользуясь выражением Бергсона, мы можем только повторить: если человечество хочет продолжать жить и идти вперед, его душа должна вырасти пропорционально его гигантски выросшему телу».

В заключение этой главы де Бройль пишет:

«Однако мы не должны терять веры в будущее. Человечество уже прошло через многие трудные испытания, и каждый раз оно выходило из них победителем. Предчувствие неизбежной опасности рождало в сердцах людей мистическое чувство, которое позволяло избежать этой опасности. Поэтому необходимо до конца понять угрозу, которую представляет для всего человеческого рода применение атомной энергии в целях разрушения. Чтобы найти способы устранить эту угрозу, — нужно, пока еще не слишком поздно, чтобы выросла душа. Долг всех людей, призванных быть духовными и идейными вождями народов, — работать для такого духовного пробуждения».

Некоторые работы де Бройля были переведены на русский язык, он почетный член Академии наук СССР. Но в то же время в СССР его упрекают в тяжких грехах. Большая Советская Энциклопедия о нем пишет так: «В своих философских воззрениях де Бройль стоит на идеалистических позициях, настаивая вслед за Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом на отсутствии причинности в микромире». Официально это клеймится, как «махизм», субъективный идеализм и так далее. Утверждается, что на основании подобных высказываний распространились представления «о нарушении детерминизма» и — о ужас! — о возможности существования свободы воли.

«КОНЕЦ ИМПЕРИИ». Джон Страчи, Англия.

Автор — политический деятель. Бывший коммунист, он порвал с компартией, когда началась вторая мировая война. Служил в годы войны в противовоздушной обороне, а потом офицером связи в английской авиации. В 1945 году был избран в парламент и вошел в новое, рабочее правительство в качестве помощника министра авиации. Затем был назначен министром продовольствия, в пятидесятом году — военным министром. В пятьдесят втором году издал роман «Граница». Его книги — «Социализм смотрит вперед» и «Современный капитализм» — обратили на себя внимание серьезностью и глубиной анализа. Новая его книга — «Конец империи» — о том, как создавалась и как распалась Британская империя.

Два предка автора — генерал Ричард Страчи и сэр Генри Страчи — принимали видное участие в завоевании Индии. Рассказывает Страчи и о завоевании Южной Африки и Египта. Последующие главы книги — о конце империи. В качестве многолетнего члена английского парламента, Страчи близко наблюдал английскую политику постепенного предоставления полной независимости бывшим колониям. Говоря о последствиях этого добровольного отказа Англии от своих колоний, Страчи, на осно-

вании изучения экономических данных, приходит к убеждению, что все предсказания о том, что, потеряв колонии, Англия обязательно разорится, оказались неверными. Отказ от девяти десятых колоний не имел неблагоприятных последствий для английской экономики. В связи с этим автор подвергает сомнению правильность ленинской теории империализма.

Коммунисты считают абсолютным законом, что развитие капитализма неизбежно должно вести к обнищанию пролетариата. Между тем уровень жизни рабочих в промышленных странах Запада непрерывно растет. Тогда коммунисты придумали такое объяснение: сверхприбыли, получаемые капиталистами от грабежа колоний, так велики, что часть их идет на увеличение заработной платы, или, как писал Ленин в своей брошюре «Империализм, как высшая стадия капитализма», — на подкуп верхушки рабочего класса.

Пример Англии, пишет Страчи, опровергает эту теорию. Распад английской колониальной империи вовсе не привел к снижению жизненного уровня английских рабочих. Страчи приводит еще два примера: потеря Индокитая не имела никаких неблагоприятных последствий для французской экономики; и наоборот, упорное желание Франции удержать Алжир ведет к самым тяжелым последствиям, прежде всего для самой Франции. Война в Алжире выкачивает огромные средства, тормозит экономическое восстановление Франции и ведет ко все большим финансовым трудностям.

Еще более разительный пример — Германия. Потеряв все свои колонии Германия, несмотря на страшную разруху, в особенности после второй мировой войны, и на отрыв восточных земель, достигла небывалого экономического расцвета.

Следующую часть своей книги Страчи посвящает вопросу: не займет ли место распавшейся Британской империи какая-нибудь новая гигантская колониальная империя — американская, советская, китайская? Не попытаются ли Америка, Советский Союз или Китай добиться мирового господства, конечно, новыми формами, новыми методами и прикрываясь новыми словами?

«Коммунистические авторы обычно считают, что Америка обязательно такую попытку сделает. Сталин, например, в своей брошюре 'Экономические проблемы социализма в Советском Союзе' утверждал, что американский империализм уже поработил Западную Европу и Японию и беспощадно их эксплуатирует. В действительности же, после окончания войны Соединенные Штаты безвозмездно предоставили Европе около сорока миллиардов долларов».

Однако, пишет дальше Страчи, промышленное производство Соединенных Штатов, население которых составляет только шесть процентов всего населения земного шара, равняется почти половине всей мировой продукции. В центрах этой промышленной деятельности накапливаются огромные массы свободного капитала. Не толкнет ли это в сторону империалистической экспансии? Не последуют ли Соединенные Штаты примеру Англии девятнадцатого века? Джон Страчи приводит причины, которые, по его убеждению, делают такое предположение мало вероятным. Это, прежде всего, традиционный антиимпериализм Америки. Со-

единенные Штаты Америки родились из восстания бывших колоний против метрополии. Второе: самый характер американского промышленного развития. Внутренние просторы Соединенных Штатов все еще представляют для американского капитала более выгодные и менее рискованные возможности развития, чем какие-либо попытки империалистической экспансии. Третье обстоятельство: национализм экономически отсталых народов делает более невозможным колониализм старого типа. Маркс говорил, что у пролетариев нет отечества. О рабочих и крестьянах теперь было бы, пожалуй, правильнее сказать, что у них нет ничего, пока у них нет отечества. Четвертое обстоятельство: существование все большего числа экономически развитых, независимых государств, так сказать, среднего формата.

Джон Страчи переходит затем к вопросу о возможности создания советской мировой колониальной империи. Конечно, говорит Страчи, советский империализм — это не империализм на базе защиты экспансии частных капиталистических монополий. Но он ведет к такому же порабощению и эксплуатации. Югославы, которым удалось освободиться от советского империализма, хорошо это знают. Вот что писал в пятидесятом году в «Борбе» Милован Джилас:

«Государство, которое всеми или почти всеми считалось социалистическим, в процессе своего государственно-капиталистического развития превратилось в империалистическую державу. Характерно для этого советского государственно-капиталистического империализма то, что он сопровождается такими же политическими последствиями, как и старый частный капиталистический колониализм, а именно: военной оккупацией, установлением полицейского режима, удушением всех демократических устремлений, эксплуатацией и бессовестным обманом трудящихся масс».

Страчи пишет, что трагические события осенью 1956 года в Польше и в Венгрии и положение в других странах так называемой «народной демократии» вполне подтверждают правильность утверждений Джиласа. В результате своей империалистической политики Советский Союз оказался перед теми же трудностями, перед которыми оказывались все империалистические державы, порабощавшие другие народы. Поэтому Страчи считает маловероятным дальнейший рост советской империи. Этому будут препятствовать, кроме того, и национализм экономически отсталых народов, и возникновение второго огромного коммунистического государства — Китая, уже проявляющего тенденцию к империалистической экспансии в Азии. Результаты индустриализации Китая, по мнению Страчи, еще трудно предвидеть. Одновременное быстрое промышленное развитие Индии может заставить Китай отказаться от попытки достичь господства над всей Азией.

В заключительных главах Страчи считает, что если, несмотря на все, какая-нибудь страна — будь это Соединенные Штаты Америки, Советский Союз или Китай — пойдет по пути империализма, то в современных условиях это неизбежно приведет к катастрофе. Ни одна страна не должна пытаться навязывать силой свою идеологию и свой план мирового устройства. Человечество стоит перед выбором — или подлинной терпимости или взаимного уничтожения.

«ПЛАЧЬ, ЛЮБИМАЯ РОДИНА». Алэн Пэтен, Южно-Африканский Союз — Лондон — Нью-Йорк.

Первое издание книги вышло в 1948 году, в 1960 году в США вышло дешевое издание массовым тиражом.

Алэн Пэтен — уроженец Южной Африки, но он не бур: он шотландского происхождения. В 1934 году Пэтен был сотрудником министра народного просвещения Джона Хофмейера, одного из самых замечательных деятелей в истории Южной Африки. Джон Хофмейер, считая, что ценность человеческой личности не зависит от расы и цвета кожи, провел ряд положительных реформ; он же назначил Алэна Пэтена директором исправительной школы для несовершеннолетних негров-правонарушителей. Раньше эта школа, на окраине Иоганнесбурга, была настоящей тюрьмой. Она была обнесена колючей проволокой, на окнах — решетки и внутри — каменные камеры. При Алэне Пэтене, который был директором этой школы десять лет, все изменилось. Исчезли решетки и вместо ограды из колючей проволоки были разбиты цветники. Своим воспитанникам Алэн Пэтен, когда они кончали школы, помогал устроиться на работу. Этот десятилетний опыт еще больше укрепил в Пэтене убеждение в несправедливости и безумии политики расовой дискриминации. Это убеждение и вдохновило его написать повесть «Плачь, любимая родина».

В 1949 году на завтраке, устроенном в Нью-Йорке в честь Пэтена, он сказал, что одна из причин трагического положения в Южно-Африканском Союзе — это страх. Белое меньшинство и черное большинство боятся друг друга. Алэн Пэтен сказал: «Я верю, что единственная сила, которая может победить страх, это — любовь. Любовь обычно презирают и высмеивают, как слабость. Но я надеюсь, что в Южной Африке мы поймем, наконец, что единственно правильное решение наших трудных и важных проблем — не в применении силы, а в понимании и в сочувствии, без которых жизнь превращается в невыносимое бремя, обрекая нас на насилие, страдание и страх».

Главный герой повести «Плачь, любимая родина» — негр-священник, Стивен Кумало, глубого верующий, простой, смиренный человек, но с огромной силой духа. Его сын, Абсолом, работает в алмазных копях, чтобы заработать на ученье. Но уже год, как от него не было известий. Стивен Кумало отправляется на поиски сына. Абсолом сбился с пути. Желая помочь своей забеременевшей невесте, он связывается с грабителями и принимает участие в налете. Во время налета он убивает белого. По роковой случайности убитый белый, Артур Джервис, был как раз убежденным борцом за равноправие негров. Абсолома судят и приговаривают к повешению. В это время отец убитого белого, богатый фермер Джервис, разбирая бумаги покойного, начинает понимать идеи, которым служил его сын. В них, несомненно, выражены мысли самого Алэна Пэтена:

«Недопустимо добывать золото или производить товары, или обрабатывать землю, если успех этого связан с низкой оплатой труда. Недопустимо создавать свое благосостояние за счет других. Этому только одно название: эксплуатация. Возможно, что это было допустимо вначале, пока мы не знали, к

чему это приведет. Но не теперь, когда мы знаем, что это приводит к разрушению семьи, к нищете, к трущобам, к росту преступности. Было допустимо не мешать разрушению туземного первобытно-племенного быта, мешавшего развитию страны. Было допустимо считать это разрушение неизбежным. Но недопустимо при разрушении этого строя ничем его не заменять. Этот старый племенной строй, несмотря на его дикарские обычаи, суеверие, магию и так далее, все-таки давал моральные устои. Рост преступности среди туземцев, пьянство и проституция объясняются не тем, что у них к этому предрасположение, а тем, что, разрушив их старую племенную систему обычаев и традиций, мы не дали им взамен более человечного и просвещенного порядка. Это был наш долг. Не исполняя его, мы предаем нашу христианскую цивилизацию, которая основана на утверждении братства всех людей».

Одно из самых драматических мест книги — это встреча двух отцов, потерявших своих сыновей. Белого Джервиса, отца убитого, и негра Кумало — отца повешенного. Под влиянием прочитанного в записках своего сына, Джервис совершенно меняет свое отношение к неграм. Он понимает, что все люди братья по судьбе, и приходит к Кумало, как друг.

В 1949 году в Соединенных Штатах по этой повести Алэна Пэтена «Плачь, любимая родина», известный американский драматург Максвэлл Андерсон и композитор Курт Вейл написали музыкальную драму „Lost in the Stars" — «Потерянный в звездах». В Нью-Йорке ее поставил известный режиссер, выходец из России, Рубен Мамульян, который, кстати, ставил и знаменитую оперу «Порги энд Бэсс». Роль Стивена Кумало в драме «Потерянный в звездах» исполнял известный певец-негр Тод Данкан.

«СОВА МИНЕРВЫ». Густав Реглер, Германия.

В 1934 году Густав Реглер, вместе с Андрэ Мальро и другими западными писателями, был гостем на первом съезде советских писателей в Москве. Несколько его книг переведено на русский язык. В первом издании Большой Советской Энциклопедии ему была посвящена статья:

«Роман 'Вода, хлеб и пули' показывает Реглера, как художника, честно и безоговорочно служащего делу освобождения человечества от капиталистического гнета. 'Перекрестный огонь' — книга о классовой борьбе в Сааре. Живя в эмиграции, Реглер написал большой исторический роман 'Посев', из времен крестьянских войн в Германии, где дан замечательный, исторически верный портрет вождя крестьянских масс Иосса Фрица. 'Посев' — глубоко правдивый и яркий роман, проникнутый ненавистью к угнетателям и твердой верой в конечное торжество революции».

Во втором издании БСЭ о Густаве Реглере нет ни слова.

Эпиграфом к своей книге Густав Реглер взял слова Гегеля «Сова Минервы расправляет крылья только с наступлением сумерек». Эмблемой древнеримской богини Минервы была сова, ночная вещая птица мудрости. Гегель хотел сказать, что мудрость приходит к человеку только с годами. На пороге старости Реглер оглядывается на свое прошлое. «Сова Минервы» — это автобиография, написанная очень просто, без всяких

прикрас. Но она больше захватывает, чем самый увлекательный роман.

В 1916 году восемнадцатилетний Густав Реглер был мобилизован в немецкую армию. В семнадцатом был тяжело контужен и награжден Железным Крестом. После войны изучал философию, играя видную роль в организации социалистического студенческого объединения. В двадцать восьмом году вступает в компартию Германии. На первом съезде писателей в Москве и на Парижском конгрессе писателей в защиту культуры он сходится со многими советскими писателями и журналистами — с Кольцовым, Эренбургом, Бабелем, Пастернаком и другими.

Густав Реглер принадлежал к тому поколению западных писателей, которые, как Низан, Мальро, Кестлер, Сартр и другие, считали, что писатель должен защищать свои идеи не только в литературе, но и на деле: он должен принимать непосредственное участие в борьбе, отвечая за свои идеи жизнью. И когда вспыхнула гражданская война в Испании, Густав Реглер сражался в рядах интернациональной бригады. Он был специальным комиссаром при генерале Лукаче. Во многих книгах о гражданской войне в Испании рассказывается и о Густаве Реглере. Вот что писал о нем Эрнест Хемингуэй:

«Реглер сражался при защите Мадрида, при Боадилла дель Монте, у Арагонского моста, под Алтаре, Мирабуэно и, наконец, в Гвадалахаре. Никто не имеет больше права, чем он, писать об этих сражениях, так как он в них во всех участвовал».

Уже в Москве у Густава Реглера началось разочарование в компартии. Большие московские процессы открыли ему глаза. Это разочарование усилилось в Испании. Отвратительное впечатление производил на Реглера Андрэ Марти, организовавший в тылу интернациональных бригад настоящий террор:

«В одной из схваток около Эскуриала два моих добровольца растерялись. Видя повсюду противника, они бросились бежать. Я велел их арестовать и привести в штаб. Оба они были убежденные анархисты, участвовали в боях с самого начала. Но наши неудачи их деморализовали. Я решил отправить их в санаторий и сообщил об этом Марти. Он немедленно мне ответил, что знает подходящее местечко около Алкала де Генарес. Ничего не подозревая, я их туда отправил. А через два дня я узнал, что коммунисты их там расстреляли. Когда я рассказал об этом Хемингуэю, он сказал о Марти: 'Свинья' и плюнул. Этот жест Хемингуэя сделал меня его другом. В своем романе 'По ком звонит колокол', он рассказал потом об этом коммунистическом сифилисе: шпиономании и позорных, бессмысленных расправах».

Приехав как-то с фронта в Мадрид, Реглер попал, по приглашению Михаила Кольцова, на русскую вечеринку. В Советский Союз возвращался инженер Горкин, установивший прожекторы противовоздушной обороны. Реглер пишет, что его удивила искренность и непринужденность, царившие на этой вечеринке:

«Я не чувствовал в этих людях страха, как в Москве среди писателей и журналистов. Под фашистскими пулями они забыли о страхе перед пулей в затылок в подвалах ГПУ. Они говорили свободно и дружески. Глава советской делегации Максимович произнес тост и выпил за здоровье Горкина. У Горки-

на выступили от счастья слезы на глазах. Многое, что в последнее время меня мучило, отлегло от сердца. С радостным удивлением я видел, как вслед за Максимовичем все присутствующие целовались с Горкиным. Да, они стали здесь другими людьми, — думал я. Ветер героической Испании сдул с них московский страх...

На следующий день ко мне в Арганду приехал Кольцов. Я был на балконе, где помещался наш штаб. Увидев рядом со мной прожектор, Кольцов спросил: — А это что? — Наследство Горкина, — сказал я. Кольцов усмехнулся: — Наследство. Вот это буквальная правда. — Я спросил: — А что, разве с Горкиным что-нибудь случилось в пути? — Нет, — сказал Кольцов, — не в пути. Но кое-что с ним случится, когда он приедет. Его арестуют в Одессе. — Я был ошеломлен: — Откуда вы знаете? Что это, политическое что-нибудь? — Да, — сказал Кольцов, — но почему вы так удивляетесь? Это наверное, из-за вчерашней вечеринки? Мы все знали. Поэтому-то мы и устроили эту вечеринку. И Максимович пришел поэтому. Французы давали приговоренным к гильотине рому, а мы дали шампанского.

Я почувствовал, что меня мутит. Из цепи донесся стук пулеметов. Это Пакиарди строчил по маврам. — Я иду в цепь, — сказал я Кольцову. — Я плохо себя чувствую. — Вам, западным европейцам, трудно привыкнуть к нашим обычаям, — сказал Кольцов. Я ответил: — Да, я предпочитаю американские. Я иду к Хемингуэю. Он там в цепи с Пакиарди. Простите меня, но рядом с ним легче дышать. — Я пойду с вами, — сказал Кольцов, — может быть, мне тоже неплохо будет подышать воздухом западной демократии».

«ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ КРЕМЛЬ».
Тибор Мэраи, Париж.

Тибор Мэраи — лауреат премии Кошута, высшей литературной премии в Венгрии. Во время революции 1956 года Мэраи был близким сотрудником Имре Надя. После подавления революции Мэраи порвал с компартией и бежал в Париж. Там он написал книгу — «Тринадцать дней, которые потрясли Кремль». В ней Тибор Мэраи показывает, что восстание в Венгрии было всенародной революцией.

Восстал весь народ во главе с интеллигенцией и рабочими. Бойцы за свободу не были фашистами. Они восстали не для того, чтобы сменить одну диктатуру другой: они хотели демократического строя с гарантиями прав человека. В смысле же экономическом они хотели строя, близкого к югославскому. Всенародный характер венгерской революции был признан и венгерскими коммунистами.

И этому есть доказательства: на заседании двадцать восьмого октября ЦК венгерской партии трудящихся обратился с призывом ко всем членам партии оказывать всяческую поддержку правительству Имре Надя. На том же собрании председателем президиума ЦК был утвержден Янош Кадар.

Еще важнее для Надя была поддержка Москвы. Микоян и Суслов привезли Имре Надю декларацию правительства СССР об основах дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и другими социалистическими государствами.

Приведя эту декларацию, Тибор Мэраи пишет:

«Имре Надю и в голову не приходило, что в это же время за его спиной шли приготовления к новой военной интервенции. Тем более, что советские войска действительно были выведены из Будапешта. Но уже первого ноября стали поступать тревожные сведения, что крупные соединения советских танков и артиллерии непрерывным потоком входят в Венгрию и движутся на Будапешт».

Имре Надь немедленно вызвал к себе советского посла Юрия Андропова и попросил у него объяснений. Андропов ответил, что не располагает соответствующей информацией, но обещал запросить свое правительство. В одиннадцать утра Андропов вернулся в кабинет Надя... Он заявил невозмутимо, что движение советских войск совершенно нормально. Оно необходимо, — сказал он, — для обеспечения спокойного вывода советских войск, стоящих в Венгрии. Аэродромы же окружены танками, чтобы провести эвакуацию больных и раненых и вывезти семьи офицеров и солдат.

Посол явно скрывал правду. Около полудня Андропов передал Надю ответ из Москвы. Ответ был таков: декларация от тридцатого октября остается в силе. Венгерское правительство должно назначить комиссию для обсуждения политических проблем, вытекающих из расторжения Варшавского договора, и другую комиссию для переговоров относительно военных и технических вопросов, связанных с выводом советских войск из Венгрии.

Надь снова спросил Андропова: — А как же с торжественным обещанием не вводить новых войск в Венгрию? — На этот самый важный вопрос Андропов не мог дать ответа.

В главе «Решение Москвы» Тибор Мэраи задается вопросом: почему советское правительство встало на путь военной интервенции и отказалось от провозглашенных декларацией тридцатого октября принципов невмешательства во внутренние дела? Автор отвечает:

«В момент, когда завоевания революции были закреплены и когда возросло желание защищать социалистические основы венгерской жизни, советские войска вторглись в страну, чтобы раздавить революцию, якобы во имя тех же самых социалистических идеалов. Так же, как десять лет тому назад, когда дело шло о Югославии, Москва, видимо, не могла поверить, что кто-нибудь сможет построить социалистическое государство без помощи Кремля. Или, быть может, наоборот, Москва испугалась именно потому, что на этот раз поверила в возможность этого?»

В последних главах своей книги Тибор Мэраи описывает, как Имре Надя выманили из югославского посольства обещаниями неприкосновенности, как Надь был арестован советскими офицерами и впоследствии расстрелян.

НЕИЗДАННОЕ РОМЭНА РОЛЛАНА, Париж.

В 1942 году были опубликованы пять глав книги «Внутреннее путешествие», в издании 1960 года — девять глав и ряд отдельных отрывков.

В отрывке «Ле Перипль» Роллан пишет:

«Я против ненависти. Люди, проповедующие ненависть, — меня отвергают. Что же, я тоже не с ними. Мы, так сказать, в расчете. Гораздо труднее освободиться от объятий тех, кто говорит: 'Я вас люблю. И вы меня любите. Ваша мысль принадлежит мне. И моя мысль — это ваша мысль'. Я готов любить этих людей. Но моя мысль — не девушка на выданьи. С ней не так легко ужиться. Присмотритесь сначала к ней внимательней, прежде чем ее сватать».

Большой интерес представляют собой письма Ромэна Роллана к итальянке Софии Герриери-Гонзага, недавно впервые опубликованные в еженедельнике «Фигаро Литерер», затем вышедшие отдельной книгой. В письме от 31 декабря 1922 года:

«Вы, конечно, знаете, что у меня нет и не может быть никакой симпатии к Муссолини и к фашизму. Но не буду говорить вам о моих личных чувствах. Главное, я боюсь, что Италию ждут тяжелые испытания. Когда страна отдает свою судьбу в руки одного человека, хотя бы и очень умного, это опасный признак. Мой идеал — это не коммунистический идеал, против которого я восстаю во имя индивидуализма. Жалко, что вы не читали мою полемику по этому поводу с Барбюсом. Нет, мой идеал — это англосаксонский идеал, идеал свободного гражданина... сознательного носителя прав и обязанностей, и носителя полной ответственности за государство. Идеал гражданина, который — когда государство совершает несправедливость — старается ее исправить и, так сказать, просветить государство».

Ромэн Роллан продолжает:

«Можно восхищаться гением Наполеона, но 'бонапартизм' смертелен. Вспомните, какой ценой Франция за него заплатила: нашествие 1814 года, ненависть Германии, реставрация Бурбонов, тошнотворная Вторая империя, поражение 1870 года, война 1914 года, и самое худшее наследство — слепое восхищение военными победами. Чтобы понять степень теперешнего духовного упадка, вспомните, что думали о войне лучшие люди восемнадцатого века во главе с Вольтером, и сравните это с тем, что думают теперь. Это яд, который одинаково отравляет и революционеров, и консерваторов. Между большевиками и фашистами разница в идеях, но нет разницы в методах».

Другой литературный французский журнал, коммунистический еженедельник «Леттр Франсэз», недавно опубликовал неизданные дневниковые записи Ромэна Роллана о его встречах с Горьким в Москве летом 1935 года. Там рассказывается об ужине у Горького. Среди гостей, кроме Ромэна Роллана и его русской жены Марьи Павловны, были Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович. Ромэн Роллан пишет:

«Перед ужином все пятеро злословили по поводу нашего ночного бегства с квартиры товарища Икс. Они нас расспрашивали, как это произошло. Но мы видели, что они все это прекрасно знают. Так как мы не хотели повредить Иксу, мы сказали, что нас заставила бежать духота — его квартира под самой крышей. Сталин лукаво настаивал: 'Нет, правда, только духота? Никакой другой причины?' М. (так сокращенно называет Ромэн Роллан в дневниках свою жену) смущенно отвечает: 'Товарищ Икс принял нас очень радушно'. Тогда Сталин сказал: 'Марья Павловна, вы дипломат'. А Горький добавил шепотом: 'Клопы, может быть?'. М. кивнула головой. Все пятеро покатились со смеху. Ворошилов даже хлопнул себя по ляжке. Мы старались защитить

Икс, говоря, что он, наверное, этого не знал. 'Еще как знал! — говорит Сталин. — Но он думал: может быть, не заметят. Сам-то ведь он толстокожий'. Опять общий смех. 'Но как же это стало известно? — спрашивает М. — Ведь мы никому не говорили, а домработница обещала молчать?' Тогда Горький шепотом: 'Был еще один, кто знал — товарищ Сталин'».

Следующая запись. Пятница, пятого июля:

«Сегодня днем у М. был разговор с Горьким. Утром я получил письмо от одного несчастного юноши. Из-за его происхождения — его отец был торговцем — перед ним закрыты двери всех университетов. Эта недопустимая система доводит многих ни в чем неповинных молодых людей до отчаяния и смерти. М. страстно восстает против этой жестокости. Горький очень смущен и расстроен. Он старается доказать опасность допущения людей чужого социального происхождения. Он спрашивает: 'Если нужно делать выбор, то кем правильнее жертвовать — большинством или меньшинством?' М. говорит ему. 'Хорошо, меньшинством. Но тогда какое же право мы имеем возмущаться Гитлером, который преследует еврейское меньшинство?' Она доказывает, как неверно и как абсурдно судить людей за их происхождение. Каждого нужно судить по тому, что он из себя представляет, а не по тому, кем были его родители. Она напоминает Горькому о его собственных статьях. Особенно статью, где Горький горячо защищал князя Святополк-Мирского. У Горького испуганные и несчастные глаза, он не знает, что ответить. Сиделка и экономка его шепотом одобряют М. Они говорят ей, что она хорошо сделала, что сказала все это Горькому. В глубине души он сам так думает, но не решается об этом сказать и ничего сделать не может На его собственной даче был такой же случай. За мелкобуржуазное происхождение хотели выгнать садовника. Горький вмешался и своего садовника отстоял. Но М. говорит: 'Недостаточно помочь в нескольких отдельных случаях. Нужно изменить весь этот порядок'. Горький защищается указанием на то, что теперь работают над новой, более либеральной конституцией. Но это только отдушина для успокоения совести».

«ДЖОЗЕФ КОНРАД». Джоселин Бейнс, Лондон.

Автору новой биографии Джозефа Конрада, английскому критику Джоселину Бейнсу, удалось найти совершенно новый материал о жизни знаменитого английского писателя. В частности, он нашел письма отца Конрада, Аполлона Корженевского, и его дяди, Тадеуша Бобровского.

У Джозефа Конрада было трагическое детство. В статье о нем в Литературной Энциклопедии говорится: «Джозеф Конрад (псевдоним Теодора Иосифа Конрада Корженевского) — английский писатель, сын польского повстанца, сосланного в Сибирь»

Сведения эти не совсем правильны. Отец Конрада, Аполлон Корженевский, был действительно пламенным польским патриотом и борцом за независимость Польши. Но он был арестован и сослан еще за год до начала польского восстания 1863 года, и не в Сибирь, а в Вологду. Для больной туберкулезом матери Конрада, Эвелины, которая добровольно последовала за мужем в ссылку, климат Вологды оказался слишком суровым. По просьбе Корженевского, вологодский губернатор, Хоминский, устроил перевод всей семьи на Украину в Черниговскую губернию. Кста-

ти, он отпустил их без всякого конвоя, под честное слово. Черниговский губернатор, князь Голицын, тоже оказался добрым человеком: он разрешил Эвелине с сыном Конрадом поехать в имение ее брата, Тадеуша Бобровского, около Новофастова. Но здоровье матери Конрада не поправлялось. Маленький Конрад был свидетелем медленного умирания матери. А вскоре, после освобождения из ссылки, умер от туберкулеза и его отец. В одиннадцать лет Конрад остался круглым сиротой на попечении своего дяди и опекуна, Тадеуша Бобровского.

Из новых материалов, опубликованных Бейнсом, интереснее всего — письмо дяди Конрада, Тадеуша Бобровского, ближайшему другу отца Конрада, Стефану Бущинскому. Письмо это относится к пребыванию Конрада в Марселе. Бобровский говорит о попытке Конрада покончить с собой:

«Летом 1878 года я был на киевской ярмарке. Неожиданно я получил из Марселя телеграмму: 'Конрад ранен. Пришлите денег. Приезжайте'. Покончив с делами, я выехал в Марсель, куда приехал двадцать седьмого февраля. Конрад поправлялся, он мог уже ходить. Вот что произошло. Ему не удалось поступить во французский торговый флот, как он этого хотел. Его не взяли, как иностранца и военнообязанного другой страны. С этим совпала финансовая катастрофа. Конрад потерял три тысячи франков, которые я перед тем ему прислал. Он вложил их в предприятие контрабандного ввоза оружия в Испанию. Предприятие провалилось. Тогда он занял восемьсот франков и пытался поправить свои дела на рулетке в Монте-Карло. Все проиграв до тла, он вернулся в Марсель и пытался застрелиться. Но никому не говорите об этом. Я всем рассказываю, что он был ранен на дуэли. Но от вас я не хочу и не должен этого скрывать. Револьверная пуля прошла навылет, недалеко от сердца...»

Из критических разборов отдельных произведений Конрада русскому читателю будет особенно интересно то, что Бейнс пишет о романе Конрада из жизни русских революционеров «На взгляд Запада». Вот что пишет Бейнс:

«У Конрада было глубокое отталкивание от Достоевского. Когда Эдуард Гарнетт прислал ему сделанный его женой перевод 'Братьев Карамазовых', Конрад в ответном письме похвалил перевод, но о самом романе отозвался так: 'Роман ужасно плох и подавляет и удручает. К тому же я не знаю, чего, собственно, Достоевский хочет и что он нам открывает. Его роман звучит для меня, как дикие вопли из каких-то доисторических времен!'».

Бейнс высказывает мысль, что свой роман «На взгляд Запада» Конрад выдумал, как некий ответ Достоевскому. В этом романе Конрад писал:

«Революция, то есть не просто смена династии или реформы, а настоящая революция, выдвигает вовсе не лучших людей. Настоящая революция всегда попадает в руки узких фанатиков и лицемерных тиранов. А совестливые, справедливые, благородные, человечные и искренние люди среди участников освободительного движения становятся не вождями революции, а ее жертвами».

«ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА». Владимир Набоков, Нью-Йорк, второе издание.

Этой повестью Вл. Набоков начал свое творчество на английском языке. Первое издание вышло в 1940 году. До этого Вл. Набоков напечатал ряд романов и рассказов по-русски: «Камера обскура», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Уничтожение тиранов» и других, после войны — роман «Дар». Известен В. Набоков и как поэт. По-английски, после «Подлинной жизни Себастьяна Найта», В. Набоков написал и опубликовал книги: «Гоголь», «Бенд Синистер», «Убедительная очевидность», романы «Пнин» и «Лолита».

Переход на английский язык дался Набокову нелегко. В книге «Другие берега», вышедшей в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова по-русски, он рассказывает об этом так:

«Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня».

Ныне Набоков занимает видное место в современной американской литературе. Один из известных американских критиков, Эдмунд Вильсон, писал:

«В Набокове есть что-то, напоминающее Пруста, что-то, напоминающее Франца Кафку, что-то, напоминающее Гоголя. Но так же, как все они, он совершенно самобытный писатель. Он исключительный мастер английской прозы. Это самое необыкновенное явление подобного рода со времен Джозефа Конрада».

К словам Эдмунда Вильсона нужно сделать только одну поправку: Джозеф Конрад до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной ему польской литературе не оставил. Набоков же до того, как перейти на английский, в продолжение двадцати лет писал по-русски.

В повести «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» рассказ ведется от лица молодого русского эмигранта. После ухода на Запад он живет в Париже, а его сводный брат Себастьян — в Англии. Себастьян — писатель — умирает в возрасте тридцати восьми лет. Братья редко виделись. Рассказчик знает о жизни Себастьяна исключительно по его книгам. Но когда Себастьян умирает, рассказчик чувствует, что он потерял часть самого себя. Он начинает разыскивать всех, кто знал Себастьяна, и записывать все, что узнает о брате. В самой глубине души братья оказываются почти одинаковыми. Они одинаково и любят и ненавидят. Они как бы две стороны одной личности. Вот почему один американский критик сравнил повесть «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» с деревянными русскими игрушками: если раскрыть одну — внутри другая, а в другой еще такая же — третья. Так один за другим открываются Себастьян, за ним его брат, за братом сам Набоков. В конце книги рассказчик говорит:

«Маскарад кончен. Но маска Себастьяна пристала к моему лицу. Я — Себастьян, или Себастьян — я, или, может быть, мы оба кто-то, кого мы не знаем».

Литературный критик Ланори О'Коннор пишет: «Повесть 'Подлинная жизнь Себастьяна Найта', как все, написанное Набоковым, исполнена большой силы и красоты». Известный американский писатель Эрскин Колдуэлл говорит об этой повести: «Владимир Набоков умеет писать так, что воображение читателей втягивается в создание повести, которую он рассказывает. Только редкий романист обладает этим искусством». Литературный критик Патриция Пэтэрсэн говорит: «Никто не пишет так, как Владимир Набоков. Ни один другой писатель не подошел так близко к преодолению несоизмеримости между мыслью и ее словесным выражением».

«СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ». Пьер Шеврие, Париж.

Известное французское издательство «Галлимар» выпускает новую серию дешевых книг под названием «Идеальная библиотека». Цель этого издания — дать широкому читателю возможность составить себе представление о творчестве наиболее замечательных писателей двадцатого века. Одна из первых книг этой серии — книга Пьера Шеврие о французском писателе Сент-Экзюпери, который оказал большое влияние на свое поколение как своими произведениями, так и своей замечательной жизнью.

Сент Экзюпери был ровесником века, он родился в 1900 году. Герой французской авиации, он погиб в бою с немецким истребителем в 1944 году. Сент Экзюпери не был беллетристом в точном смысле этого слова. Его книги — это описание его полетов, его встреч с людьми, лирические философские размышления о судьбе и назначении человека, о свободе и творчестве. Книга Сент Экзюпери «Военный летчик», вышедшая в 1942 году в Нью-Йорке, была признана многими критиками самым глубоким ответом демократии на «Майн Кампф» Гитлера.

Пьер Шеврие отмечает одну особенность мысли Сент Экзюпери: он считал, что в структуре общества необходимы противоречия, что они-то и есть признак и условие свободы. Сент Экзюпери писал: «Если допускается только одна мысль, если ее не уравновешивает никакая противоположная ей мысль, она становится ложью и разъедает мир».

Из всех книг Сент Экзюпери наибольшую славу принесла ему философская сказка «Маленький принц», в которой он рассказывает, как однажды ему пришлось совершить посадку в пустыне. Там он встретил маленького принца, попросившего нарисовать ему барашка. Принц жил на далекой звезде, где он был влюблен в розу. Но роза эта была тщеславна и глупа, и принц решил искать друзей на других планетах. Так он попал на землю. В книге Пьера Шеврие из этой сказки приведен отрывок — встреча маленького принца с лисой. Лиса сказала принцу:

— Здравствуй!
— Здравствуй! Но где ты? Я тебя не вижу.
— Я здесь, под яблоней.
— Кто ты? Ты такая красивая.
— Я лиса.
— Хочешь играть со мной? Мне очень грустно...
— Я не могу играть с тобой, я не ручная.
— Прости меня, но я не знаю, что это значит — ручная?
— О, это что-то давно забытое. Это, знаешь, когда хорошо познакомятся.
— Хорошо познакомятся...

— Да. Сейчас ты для меня только маленький мальчик, как сотни тысяч других. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужна. Я для тебя только лиса, каких тоже сотни тысяч. Но если ты меня приручишь, мы будем нужны друг другу. Ты станешь для меня единственным в мире, и я тоже стану для тебя единственной...

— Кажется, я начинаю понимать...

— Ты знаешь, у меня очень однообразная жизнь. Я охочусь за курами. За мной охотятся люди. Но если ты меня приручишь, мою жизнь осветит солнце. Я буду знать тогда шум шагов, непохожих на все другие. Обычно, когда я слышу шаги, я прячусь в нору. Но твои, как музыка, будут звать меня наружу. Мы знаем хорошо только то, что мы приручили. У людей больше нет времени что-нибудь знать по-настоящему. Они покупают все готовое в лавках. Но друзей нельзя купить в лавке. И у людей поэтому нет больше друзей. Если ты хочешь друга, приручи меня.

— А что же для этого нужно?

— Много терпения. Сначала ты сядешь на траву в сторонке от меня. Я посмотрю на тебя уголком глаза. Ты ничего не скажешь. Язык — источник недоразумений. Но с каждым днем ты сможешь садиться немного поближе.

И вот маленький принц приручил лису. Когда пришел час расставания, лиса сказала ему:

— Я без тебя буду плакать.
— Ты сама виновата. Ты же сама хотела, чтобы я тебя приручил.
— Да. И я нисколько об этом не жалею.
— Но разве ты от этого что-нибудь получила?
— Очень много... Я открою тебе один секрет... Он очень простой. Мы видим хорошо только то, что мы видим сердцем. Самое важное — невидимо для глаз. Повтори.

— Мы видим хорошо только то, что мы видим сердцем. Самое важное невидимо для глаз.

X

ПАМЯТИ ПОЭТА

(Юрий Одарченко и его стихи)

Можно без большого труда доказать, что то, что в СССР называется «социалистическим реализмом», находится в резком противоречии не только с основным требованием вообще диалектики, но и с «мировоззрением самой марксистской партии» — с диалектическим материализмом, созданным, как говорится в «Кратком философском словаре», «Марксом и Энгельсом и развитым дальше Лениным и Сталиным. Мировоззрение это названо диалектическим материализмом потому, что его метод изучения явлений природы, человеческого общества и мышления является диалектическим».

Однако, что такое диалектический метод, как не попытка показать обе стороны «медали», чтобы затем из этих двух противоположных сторон создать диалектический синтез, который, в свою очередь, явится одной из сторон будущей диалектической медали? В этом отношении, как это не печально для теоретиков советской литературы и для советского искусства вообще, самым большим «диалектическим» русским писателем был столь неудобный для них Достоевский. Гениальность Достоевского в том и заключается, что он не постеснялся заглянуть в самые темные и страшные «подполья» человеческого бытия, чтобы затем, указав на другие его стороны — князь Мышкин, Алеша Карамазов и т. д. — создать еще никому не удававшийся в мировой литературе синтез, увы, далеко не всегда положительный. Но ведь литература — не пластмасса и не синтетическая ткань, требующая от синтеза химических элементов прочности и выносливости.

Социалистический реализм, кто бы его ни формулировал, — Николай Тихонов, Жданов, Фадеев, Шолохов или целая коллегия в уставе Союза Советских Писателей, — отметает возможность диалектики в советской литературе. Требования, выдвигаемые социалистическим реализмом, похожи скорее на уроки, преподаваемые заботливым учителем ученикам начальной школы: для чего ребенку знать о темных сторонах жизни? Пусть себе радуется сияющему солнцу, речке, зеленому лугу. Как воспитательный метод, «соцреализм» может быть и хорош, особенно если компартия считает художников и писателей детьми, за которыми требуется постоянный присмотр. Но при чем здесь искусство?..

Эти мысли пришли в голову, когда я думал о поэзии трагически погибшего в Париже 25 августа этого года Юрия Одарченко.

Это отнюдь не значит, что я хочу сравнивать поэзию Юрия Одарченко с поэзией, «официально производящейся» в Советском Союзе, или противопоставлять творчество Одарченко творчеству советских писателей и поэтов. Я не собираюсь ни сравнивать, ни противопоставлять. Попросту, когда я перелистывал сборник его стихов «Денек» и припоминал другие его стихи, которые печатались почти во всех больших зарубежных журналах, я невольно подумал о том, что в Советском Союзе ему не удалось бы напечатать ни одного своего стихотворения, что его там или заставили бы молчать, или сослали бы для «размышлений» в какие-нибудь отдаленные Воркуты или Колымы. Поэзия Юрия Одарченко многопланна, диалектична и никак не целеустремленна, не продиктована заранее определенным идеалом. Одарченко всегда видит и свет, и тень, и положительное, и отрицательное, которые для него всюду и всегда со-присутствуют.

Сам он писал о себе:

Куст каких-то ядовитых роз
Я взрастил поэзии на смену.
Мир земной, ведь это море слез,
Но по морю с верой шел Христос,
А вот пьяным море по колено.

Именно ядовитых. Одарченко иногда с жестокой настойчивостью напоминает об оборотной стороне «медали»:

Мышь без оглядки от кошки бежит.
Волка убьют на охоте.
Птица по синему небу летит —
Платят за птицу по счету...

Или еще: поэт видит отходящий пароход, который только что «скрылся за мыс», и ему захотелось за него помолиться:

Помолюсь за стальной пароходик.
Шепчет на ухо ангел: «не так,
Ты молитву читаешь, чудак.
Повторяй потихоньку за мной:
Со святыми его упокой
Пароход, пароход, пароходик».

Мир Юрия Одарченко — настоящий реальный мир, это не мир «социалистического реализма». В том-то и парадокс, что реализмом соцреализм никогда не был. Была мечта о лучшем, более совершенном мире, где люди превратились бы в моральных автоматов, но жизни, простой повседневной жизни, созданной наполовину (и если бы только наполовину!) из страданий и слез, в нем не ночевало.

Бердяев как-то очень верно заметил, что существование Бога доказывается наличием в мире зла, а не добра, и по той простой причине, что если бы наш мир был совершенным и в нем не было бы зла, то и Бога, за ненужностью, все бы позабыли. Именно потому, что мир зол, во всей поэзии Одарченко чувствуется его убежденность в существовании доброго Бога:

По канату слоник идет —
Хобот кверху, топорщатся уши.
По канату слоник вперед
Сквозь моря продвигается к суше
. . . . . .

Если так, то подрежем канат,
Обманув справедливого Бога.
Бог почил и все ангелы спят...
«Ах, мой слоник», — туда и дорога!

Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?
Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет.

Еще Максимилиан Волошин писал: «Страшен жребий русского поэта». Страшен, если подумать о застреленных Пушкине и Лермонтове, об убитом голодом и непониманием Блоке, о покончивших с собой Есенине и Маяковском, о скончавшемся в нищете и одиночестве Георгии Иванове...

Юрий Одарченко горько жаловался на оставленность, на одиночество, на непонимание. У него есть одно стихотворение, свидетельствующее о равнодушии, о непонимании человеком трагедии другого человека:

Я болен странною болезнью, —
Не сифилисом, не чумой.
Еще страшнейшею болезнью:
Пошел я по миру с сумой.

Встречать знакомых мне не стыдно:
— Ах, здравствуйте, я очень рад!
На бал собрались — это видно,
Но что за странный маскарад?

А я протягиваю руку,
И мне смеясь суют пятак.
Я быстро пожимаю руку,
И ухожу на свой чердак.

Там в щелях шепчут тараканы:
— Ну, что? Повесится ли он?
Заглядывают мне в карманы
И видят, денег, миллион.

На эти деньги покупаю
Вина, селедки, папирос,
И в полумгле своей читаю
Безумный гоголевский «Нос».

Интересно, что в этом стихотворении человеческую беду замечают не люди, а тараканы. Люди, те думают (или хотят думать), что поэт притворяется, рисуется. Они посмеиваются над ним. И не они почувствовали несчастье и трагедию: «Ну, что? Повесится ли он?» На этот раз поэт предпочел безумие — «Безумный гоголевский 'Нос'».

Одарченко поэт очень сложный, слишком современный, слишком израненный современностью, — поэтому и стихи его так неуютны, так беспокоят, поднимая со дна нашего сознания то, о чем мы с удовольствием готовы были бы забыть. Есть поэзия успокаивающая и есть поэзия бунтующая, встряхивающая, не дающая забыться «сном золотым». К ней принадлежала и поэзия Блока: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть», или в «Возмездии»: «Дроби ж мой гневный ямб каменья!»

Конечно, может быть два взгляда на современность и на роль в ней поэзии. Одни будут говорить, что жизнь стала настолько трудной и напряженной, что искусство должно уводить нас из этого страшного мира и из этой страшной жизни. Другие же скажут, что художник и поэт лишь тот, кто видит мир в его трагической обнаженности, кто не боится, по примеру Гойя и Достоевского, спускаться в подполья человеческого сознания, видеть и слышать, как стенает тварь, чтобы, уже зная, «где стережет нас ад и рай» (А. Блок), «глаголом жечь сердца людей». Для этих людей и писал Юрий Одарченко.

К. Померанцев

Редакционная коллегия: Г. А. АНДРЕЕВ, Н. Н. БЕРБЕРОВА, И. В. ЕЛАГИН, Ф. Т. ЛЕБЕДЕВ, Ю. А. ПИСЬМЕННЫЙ, В. И. ЮРАСОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

БОРИС ЗАЙЦЕВ: Уход Пастернака 7
Б. ПАСТЕРНАК: Рассвет 10

ПОЭЗИЯ — ПРОЗА

Д. КЛЕНОВСКИЙ: Стихи 13
ЮРИЙ БОЛЬШУХИН: Майор Иванов *(отрывок из романа)* 20
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ: Стихи 80
ИГОРЬ ЧИННОВ: Стихи 84
ВЛ. КРЫМОВ: Анатас *(рассказ)* 88
ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ: Стихи 109
ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ: Стихи 111

ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ: По поводу статьи Шестова «Творчество из ничего» 117
ЛЕВ ШЕСТОВ: Творчество из ничего 121
ЮРИЙ ИВАСК: Похвала российской поэзии 151
ГАЙТО ГАЗДАНОВ: О Гоголе 171
Я. БЕРГЕР: Написанное и недосказанное 184
П. ШЕЛЕСТОВ: Храм без божества 194

ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА

Н. А. БЕРДЯЕВ: Из записных книжек 209
К. ГЕРШЕЛЬМАН: «Бунт» Ивана Карамазова 214
В. ГЕФДИНГ: К проблеме хозяйственного роста СССР и США 230
АРТУР ШЛЕЗИНГЕР-младший: Разновидности коммунистической практики 241

САТИРА — ЮМОР

СЛАВОМИР МРОЖЕК: Предусмотрительный лев 269
ВИКТОР МОРТ: Два мира 271
ВЛ. БОНДАРЕНКО: Из тьмы веков 277

ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ: Царскосельский барельеф 287
АННА ЭЛЬКАН: «Дом Искусств» 289
А. БАХРАХ: Письма Марины Цветаевой 299

В МИРЕ КНИГ

ЗАМЕТКИ О НОВЫХ КНИГАХ: Д. Лаури — «Бунтующий пророк»; Д. Шотуэлл — «Долгий путь к свободе»; Луи де Бройль — «Физика и микрофизика»; Д. Страчи — «Конец империи»; А. Пэтен — «Плачь, любимая родина»; Г. Реглер — «Сова Минервы»; Т. Мэраи — «Тринадцать дней, которые потрясли Кремль»; «Неизданное Ромэна Роллана»; Д. Бейнс — «Джозеф Конрад»; В. Набоков — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»; П. Шеврие — «Сент Экзюпери» 321

К. ПОМЕРАНЦЕВ: Памяти поэта 341

В этой книге двенадцать иллюстраций.

« М О С Т Ы »
А Л Ь М А Н А Х
И З-В О Ц О П Э
MUENCHEN 19
RENATASTR. 77
G E R M A N Y